

Семён Гурарий БУДНИ МУЗЫКИ

Семён Гурарий
БУДНИ МУЗЫКИ



Simon Gourari
ALLTAG DER MUSIK

Literareon

Семён Гурарий

БУДНИ МУЗЫКИ

Simon Gourari

ALLTAG DER MUSIK

Рассказы

Повести

Роман

Literareon



Mix
Produktgruppe aus vorbildlich
bewirtschafteten Wäldern,
kontrollierten Merkmalen und
Recyclingholz oder -fasern
Zert. Nr. 044-COC-1320
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

„Dieses Hardcover wurde
auf FSC-zertifiziertem
Papier gedruckt. FSC (Forest
Stewardship Council)
ist eine nichtstaatliche,
gemeinnützige
Organisation, die sich
für eine ökologische und
sozialverantwortliche
Nutzung der Wälder
unserer Erde einsetzt.“

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© 2009 Simon Gourari

Gestaltung und Satz: Martin Heise
Umschlagabbildung: Anna Gourari

Printed in Germany
Literareon im Herbert Utz Verlag GmbH
Tel. 089 – 3077 96 93 | www.literareon.de

ISBN 978-3-8316-1416-5

Марии Гурарий

РАССКАЗЫ

УРОК ФОРТЕПИАНО

– Он –

Я узнаю её по звонку. Никто кроме неё так не звонит – один раз, коротко, будто мелькнувший за углом собачий хвост. Ещё её звонок похож на укус. Да, именно на укус, в меру лёгкий, но с эдакой ехидцей. И всё. Дальше молчание. Услышал, не услышал, – это её не касается. Она звонила.

Раздражаясь, иду к двери, смотрю в глазок: голубые глазки, косички. Обыкновенный ребёнок. Ах, нервы, нервы! Так нельзя, успокаиваю себя. И открываю дверь.

Она заходит робко, бочком и шепчет: «Здравствуйте». Мне становится стыдно. Стеснительная, воспитанная еврейская девочка. А я выдумываю всякие нелепости.

Прижимаясь к мебели, она идёт по комнате. Глазки опущены вниз. Нескладная, длинноногая, она подбредает к пианино и начинает устраиваться: как-то неуклюже и криво садится, поднимает с трудом крышку клавиатуры и, наконец, ставит ноты на пюпитр. Всё это она проделывает невероятно медленно, словно у нас с ней впереди, по крайней мере, часа три времени.

Но вот приготовления закончены, и ... о, чудо! Теперь передо мной уже совершенно другой человек: спокойный, самоуверенный, хитровато-ленивый. Именно тот, которого я не выношу. Сказано, конечно, резковато, но что поделаешь, если это так? И что интересно – робость и неуверенность пропадают в тот момент, когда она усаживается за пианино. Почему?

Она смотрит на меня ясными голубыми глазками. В них наивная вопросительность. Но я же знаю, что всё это ширма, всё показное. А внутри она уже смеётся надо мной и приговаривает: «Ну-ну, начнём, хи-хи ... посмотрим ...»

Делаю вид, что не замечаю её ехидства. Открываю дневник. Она посмеивается, уверенная в своей победе. Вызов принят. Впрочем, какая ерунда! Я опять накручиваю невероятности. Это у меня от мамы. Она тоже вечно умудрялась наворачивать на пустом месте.

Прошу сыграть домашнее задание. Не понимает. Спокойным, доброжелательным тоном повторяю. Не понимает. Приходится уточнить – сонатину Моцарта.

Она кладёт руки на клавиатуру и некоторое время ищет начальный аккорд. Что это? Так сказать, музыка? И за что мне это наказание?!

Однако, спокойнее, спокойнее. Попробуем разговаривать высоким слогом. Увидеть, так сказать, сии звуки в образах. Ведь в основе даже слова *образование* – о б р а з. И так ...

Ощущение несовместимости возникает с первой же ноты. Моцарт, музыка и – она ... Это всё равно, что, скажем, пустыня и море, слепота и свет, крик и тишина. Да, она нажимает клавиши, извлекает порой верные по высоте звуки, но между ней и ими огромное пространство. Она вроде бы пытается петь, но песня её не слышна. Она что-то рассказывает, но нельзя разобрать ни слов, ни смысла. Она строит, лепит, возводит здание ... пустоты.

Ах, научить бы её мыслить немного образно, ассоциативно! Хоть чуть-чуть заставить слушать себя. Она, вероятно, и сама того же хочет, раз на уроки ходит.

А вообще-то ситуация простая: да, она – *штучка*. И ты просто не можешь найти к ней подход. Потому, что занят собой. Как всегда, только собой. Даже когда занимаешься с учениками. И всё копаешься, анализируешь. Вот и живёшь как бирюк. Не зря Оля сбежала, а до неё и другая ...

Пока всё идёт без формальных ошибок. Тем не менее, я уверен, что клавиши вскоре взбунтуются и начнут мстить за

равнодушие. А как же иначе. Здесь всё не просто – в музыке. Предчувствие меня не обманывает. Через несколько тактов при смене гармоний она спотыкается и останавливается.

Растерянный взгляд на меня и шёпот: «Забыла ...». На самом деле, её беспомощность лишь видимость. Ну, хорошо, забыла. Разве в первый раз? Но нет, будет сидеть и смотреть на меня своими ясными глазками. Кстати, совершенно нетипичными. Ничего в них еврейского: ни туманной поволоки, ни лукавства, ни хотя бы занудной грусти. В кого она такая? Явно не в родителей. Они, правда, слегка затюканные, утомлённые работой люди. Но вполне живые, с юмором, нормальные ребята. Впрочем, типичные, нормальные – это чем-то пахнет. Как будто существуют типичные и нетипичные. И всё же, обидно. Всего одна еврейская ученица и такая ... Наверное, родители совсем не занимаются ребёнком. Вот детка и поблекла. Даже разговаривает исключительно шёпотом. Иногда кажется, что она вся соткана из сплошного шёпота.

Я мягко советую ей открыть ноты. Она повинуется, и посмотрев, начинает играть. Но пальцы словно ослепли, они тычутся, ищут клавиши, а те прячутся от них, огрызаются нестройными резкими звуками.

Наконец, она не выдерживает. Снова – ясный взгляд и невинное «Забыла ...» Велю играть по нотам.

Она играет, бредёт ... Разноцветные улицы прекрасного города ей незнакомы и безразличны. Она стучит в двери, но ей никто не открывает. Дома окрашиваются в серый цвет. Она продолжает настойчиво бить сапогом в двери – дома рушатся, исчезая в удушливой пыли. Фальшивые ноты гнойниками расцветают в воздухе. Она оставляет за собой руины, напоминающие Смоленск, Минск, Дрезден сорок пятого года ...

Уф! Куда меня занесло? Что за тошнотворная пошлость?! Образы ... Полный рот сладкого крема. А рядом живой малень-

кий человек никак не может пробиться к музыке. И тебе нет до него, по сути, никакого дела. Вот, казалось бы, всё понимаешь, а не можешь справиться с элементарным раздражением. Только против кого?

Я спрашиваю, почему не выучен урок. Удивление в безупречно ясных глазах. И молчание. Смотрит на меня, не мигая, и молчит. А под молчанием прячется: ну-ну ... хи-хи ...

– Отвечай! – призываю я.

– Я учила, – шепчет она.

Раздражение, словно сдобное тесто. Ещё немного, и нечем будет дышать. Я делаю усилие над собой и ... начинаю с ней заниматься. Детально, подробно работаем над текстом, аппликатурой, динамикой, – в который раз! – но дело почти не сдвигается.

Я встаю, набираю полные лёгкие воздуха и со всей увлечённостью, на которую способен, начинаю рассказывать о музыке, Моцарте, искусстве, природе ... Говорю, чтобы было понятно, но не забываю и об образной стороне: изображаю всё в лицах, пою, играю, хожу по канату, плаваю по морскому дну ...

Засмеялась! Наконец-то, – торжествую я, – откликается! Воодушевляясь ещё больше, смотрю с восторгом на неё, призывая восторгаться вместе со мной, и ... умолкаю.

Она сидит прежняя – ясный взгляд, косички. Сидит и смотрит на своё отражение в пианино. Все мои слова не оставили на её лице никакого следа. Я знаю это лицо уже шесть лет – оно неизменно. Неизменно, как ... Как что? Вспыхивает образ Дориана Грея. Нет, пожалуй, это – слишком. Просто она ровная, как эта стена, как белый потолок без наката, без единой чёрточки или линии. Она белая, одноцветная и никогда не поймёт, не почувствует своеобразие даже простейшего рисунка, самой бледной краски. Не дано. Ей это не нужно, как

не нужна книга, предположим, гусенице. Она родилась полированной, и любая капля стекает с неё, не оставляя следа.

С ненавистью смотрю на её безмятежное лицо. Она ждёт, приоткрыв рот. В желтоватом заборе зубов зияет калиткой дыра от вырванного зуба, и я внезапно ощущаю жгучую потребность вставить в отверстие карандаш и с силой повернуть, чтобы забор распался. Жуткое чувство ... Да, между нами забор. Но почему?! Почему ... Желание моё так велико, что я сцепляю крепче руки, дабы не поддаться искушению, и начинаю кричать.

Собственно, это поражение, и этим кончается каждый урок. Она, прекрасно разобравшись в ситуации, начинает складывать ноты. Я кричу о её лени, взываю к совести, спрашиваю, любит ли она музыку. Шепчет: «Люблю ...», – но в глазах у неё торжество победы.

Да, я вновь побеждён. Рука моя машинально открывает дневник и выводит «три с минусом». Меня так и подмывает написать родителям, чтобы они свою бездарную дочь больше никогда не присылали, но я не пишу этого. Так не принято.

Робко, бочком, она уходит, чтобы придти через два дня. Закрыв за ней дверь, я возвращаюсь в комнату, беру с пианино смятую банкноту и прячу её в ящик стола.

– Она –

Сейчас я нажму кнопку звонка, но он не откроет дверь сразу. Сначала посмотрит в глазок и будет изучать меня, будто никогда не видел. Ну, и пусть.

Ох! Звонок опять бьёт током. Отдёргиваю руку и весело смотрю в глазок. Его дверь похожа на профиль с прищуренным глазом. То есть, глазком.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть ... Наконец дверь откры-

вается. Он, как всегда, в засаленной куртке и невообразимых тапках с загнутыми по-турецки носами.

– Здравствуй, здравствуй, – голос у него такой громкий, что хочется при нём говорить как можно тише. По масляным его губам ясно: он только что отобедал. Мой урок на десерт, вместо сладкого.

Иду по комнате и знаю, что он наблюдает за мной: ведь, не дай бог, мебель поцарапаю. А попробуй ничего не задеть, если наткано предметов в комнате так, что остаётся лишь узкий проход к пианино.

Кое-как добираюсь до инструмента, усаживаюсь, ставлю на пюпитр ноты. Вроде бы ничего не задела, можно расслабиться.

Он грузно усаживается рядом. На мой взгляд, слишком близко. Достает дневник и до противности внятным голосом просит сыграть домашнее задание. Неужели он не понимает, что музыку Моцарта нельзя именовать домашним заданием? Спрашиваю: «Какое задание?» Но его не смущает. Уточняет: «Сонатину Моцарта».

Начинаю играть. Но пальцы не слушаются. Останавливаюсь. Не могу играть при нём. Будто тебе сдавили горло шарфиком, и нечем дышать.

Он вещает: «Играй по нотам», – и засовывает в рот зубочистку. Первые признаки раздражения.

Открываю ноты, но дело не в них. Я знаю сонатину наизусть довольно крепко. И музыка мне нравится. А при нём играть не могу. Зажимаюсь и всё.

Его холодные, всезнающие глаза убивают всякое желание. Они словно говорят – ты ничтожество и бездарь. Я останавливаюсь. Теперь он начнёт нудить, а в конце поставит в дневник «три с минусом».

– Ты почему не занимаешься? – спрашивает.

Я отвечаю, что учила. Он вздыхает так тоскливо, что хочется завыть. Вынув зубочистку изо рта, он аккуратно кладёт её в нагрудный карман куртки, и начинает объяснять мне в который раз то, что я давным-давно знаю.

Он говорит мерно, временами откашливается. Весь в ровненькую клеточку. Интересно, а смог бы он перепрыгнуть через физкультурный «козёл»? Я представила, как он летит в своих загнутых тапках, крепко зажав в губах зубочистку, и мне становится весело. Я стараюсь спрятать улыбку – ещё в дневник запишет.

Вдруг он начинает орать. Когда он орёт, мне его становится жалко. Папа говорит, что он не нашёл своего призвания. А мама добавляет, что он несчастный, потому что от него ушла жена. И что мне надо учиться терпимости. Легко сказать.

Он спрашивает, люблю ли я музыку. Отвечаю, что люблю. И это правда. Только не его, а другую музыку. Настоящую.

Он что-то быстро пишет мне в дневник, а я вытаскиваю из кармана деньги и кладу их на пианино.

Конечно, я могла бы уже давно ему сказать, что больше не приду, но папа говорит, чтобы я не смела делать глупостей. Я их и не делаю – хожу на уроки два раза в неделю.

1970

ЛЕС

Автобус, на вид новый и уверенный, при любой неточности в дороге вздрагивал и начинал трястись. Под задним сидением что-то с грохотом подпрыгивало. Пожилая женщина, соседка Кранова, испуганно оглядывалась, а затем пытливо всматривалась в его лицо, надеясь в нём, по всей вероятности, найти объяснение доносившемуся грохоту. Кранов чувствовал, что она хочет с ним заговорить, и это раздражало его. Он встал и прошёл вперёд.

Проехав последние дома, автобус вырвался в поле и стал набирать скорость. Его робкий голос постепенно крепчал, выравнивался и вскоре стал уверенным и сильным. Кранов улыбнулся и сел на свободное место у окна.

Он ощущал внутри некую дрожь, возникшую с утра и выгнавшую его из дома. Довольно долго вышагивал он без цели по городу и вдруг неожиданно для себя сел в автобус, шедший в Дергачи, словно она, эта незнакомая даже по названию деревенька, и была причиной его беспокойства. Впрочем, здешние окрестности он и не мог ещё знать, так как жил в Казани всего два месяца.

А до того долгие годы была Средняя Азия – зной, выгоревшее небо, липкий воздух и песок, песок ... В маленьком гарнизонном городке, где служил майор Кранов, от песка не было нигде спасения. От песка и зноя. Он пытался вспоминать лес. Лес часто снился ему – близкий, участливый, свежий ...

Когда становилось особенно тоскливо, Кранов играл на трубе «Романс» Шостаковича. Музыка была для него сродни лесу. Не всякая, а почему-то именно эта. После Шостаковича что-то внутри отпускало, будто он и в самом деле надышался лесным воздухом. Словом, звуки трубы отчасти заменяли Кранову лес. В самый первый раз, услышав «Романс» по радио, он замер – его обдало прохладной волной

покоя. Правда, покой и насторожил. Зачем он ему, ведь не о нём же пела труба ... и, тем не менее, в ближайший свободный день поехал в районный универмаг, купил трубу и выучился сам играть начальную тему «Романса», спешно, даже с лихорадочной одержимостью, боясь забыть мелодию.

Год назад, на учениях, у Кранова открылась старая рана на ноге. Выздоровление шло медленно и с осложнениями: после того, как затянулась рана, плохо стала сгибаться нога. Диагноз был кратким – остеомиелит, анкилоз. Эти непонятные слова оставили его равнодушным к своей болезни, но когда знакомый доктор объяснил, что у него на месте старых боевых ранений началось ограничение суставов, он встревожился. Ограничение – это слово поразило его куда больше, чем полные скрытого медицинского значения латинские определения болезни, оно взорвало, разрушило его многолетние привычки. Временами даже посещала мысль – это начало конца. Но он отгонял её, рассуждая, что, собственно, любая жизнь соткана из множества ограничений. Одним больше, одним меньше. Чем он лучше других? Вот в этом он был уверен – ни в чём.

После лечения майора Кранова признали негодным к военной службе и уволили в запас. Из предложенных городов Кранов выбрал к недовольству жены Казань. После многочисленных семейных сцен, в которых Кранов проявил несвойственное ему упрямство, – а почему, собственно, не Казань? – условились на первое время разъехаться: жена к сыну в Москву, а он на обустройство в Казань. Уложив носильные вещи, они с женой отправились в дорогу. В поезде жена, радовавшаяся перемене мест и предстоящему свиданию с сыном, не уставала повторять, чтобы Кранов сразу по прибытии добивался перевода в Москву. Что он своё отслужил, отвоевал, что пора и отдохнуть, зажить по-настоящему. Но только не в Казани, в этой дыре ...

Кранов страшился ожидавшей его, как ему казалось, бессмысленной пустоты. Институт в своё время он окончить не

успел, – ушёл на фронт, воевал, потом других обучал этому «искусству» – и теперь, в сорок восемь лет – ни образования, ни гражданской профессии, только два ранения, побрякушки орденов и плюс ко всему *ограничение*.

Эти мысли беспокоили, тревожили Кранова, но едва он приехал в Казань, всё изменилось – они не исчезли, не покинули его, а незаметно отступили, отошли, кружили вдалеке. Он по целым дням бродил, прихрамывая, по городу, радовался весенней сырости, хватал почерневший снег, с удовольствием, до ломоты в пальцах, ощущая прохладу, часами простаивал на набережной ... Наконец, простудился и проболел почти две недели. Тогда только и стал замечать дом, квартиру, двор, соседей.

Квартиру военкомат выделил в огромном, квадратно изогнутом сером доме в Приволжском районе. Дом поражал несоответствием частей распластавшегося комплекса: задорные «сталинские физкультурники» на величественных арках и порталах украшали угрюмые строгие стены корпусов, обрисовывавшие почти на весь квартал неуклюжую с неожиданными выступами линию дома-крепости.

Заболев, Кранов однако с облегчением отметил, что, проживая в этом мрачном доме, можно не выходить за пределы его двора: к услугам жильцов имелся продовольственный и промтоварный магазины, столовая, почта, парикмахерская, детский садик и какие-то ещё полезные организации, включая ЖКО.

У многочисленных подъездов с обшарпанными дверьми стояли колченогие садовые скамейки. Выздоровливавший Кранов, замотавшись до глаз шарфом, быстро проскакивал в свой угловой подъезд мимо группы жильцов, гревшихся на скамейке под апрельским солнышком.

От соседки по подъезду Нины, навестившей его чуть ли не в первый день после переезда, он знал, впрочем, не только их имена, но и некоторые наиболее живописные детали их биографий.

Негнующийся дед Василий с картинно торчащими в разные стороны длинными кавалерийскими усами, жил с безропотно-молчаливой, крещёной женой-марийкой.

Его сосед по скамейке, плотный лысый дагестанец, разговаривал хриплыми насмешливыми междометиями. Одежда не сходилась на выпиравших телесах пожилого кавказца. Согласно дворовым преданиям, он встретил свою нынешнюю сожительницу Клаву на фронтах Отечественной и после демобилизации, не заезжая в родной аул, где его ожидали в собственном доме жена с двумя детьми, аморально перебрался, так сказать, в коммуналку по месту проживания фронтовой подруги в Казань.

Скрюченный Ильдар-абы с первого этажа возвращался во двор с неизменным тюком за спиной. Старенький бабай с живыми острыми глазками жил за счёт продажи найденных на свалках вещей и предметов. Комната набожного старьёвщика, тем не менее, поражала чистотой. Она хорошо просматривалась из окна Кранова. Наблюдая за ежедневными молебельными поклонами пожилого татарина, Кранов чувствовал непонятное стеснение, будто подсматривал за недозволенным.

Одинокая тётя Дуся с четвёртого этажа занимала маленькую комнату в общей квартире. Её соседи, неразговорчивые, но приветливо улыбающиеся Гиззатовы, почти каждый день вывешивали во дворе стираное бельё. По субботам, раскрасневшаяся супружеская пара с торжественностью возвращалась из бани. Тётя Дуся с хмыкающей усмешкой отворачивалась от гордо шествовавших мимо скамейки квартирных соседей, намекая тем самым, что не всё так просто с этой гиззатовской чистоплотностью.

Круглая пожилая супружеская пара парикмахеров Гершман со второго: она – словоохотливая, весёлая, заговорщицки доверительная хранительница дворовых сплетен, он – медленно разговаривающий с местечковым акцентом пенсионер-сердечник с внешностью профессора.

Благообразный Огородников с нижнего этажа, спавший, по рассказам его жены, с открытыми глазами.

Чемпион-байдарочник с пьяницей отцом. При появлении в дверях подъезда постоянно шатавшегося под градусом отца, все дружно поворачивались в другую сторону: хмельная дружелюбная улыбка никого не могла обмануть, она означала – у кого бы из вас занять хотя бы троак.

Младшая дочка суетливо бегавших на подработки Рюмкиных крутила на виду у всего двора роман со своим школьным учителем по истории.

Древняя, почти столетняя Досис демонстрировала время от времени соседям по лавке пример неувядающей веры в вечную молодость. С врождённой грацией растёгивала она скрюченными пальцами пуговицы кружевной кофточки и, горделиво приговаривая «у меня бюст ещё свежий», вываливала одну из своих необъятных грудей на обозрение изумлённых стариков.

Молодожёны: дородный пенсионер с пивзавода и его жена, ревнующая своего четвёртого мужа к собственной дочери. Она подкрадывалась к двери и подглядывала за ними в замочную скважину. Если юная падчерица, несмотря на запреты матери, разгуливала по квартире перед отчимом в одной комбинации, то начинался концерт на весь двор.

Все трое, однако, ненавидели дружно своих верхних соседей, семью виолончелистов: маленького, бородатого-волосатого мужчину, его миниатюрную жену и их дочь первоклассницу.

Кашеперова, знаменитая лишь тем, что обожралась девять лет назад на собственной свадьбе и была увезена с праздника на «Скорой помощи».

Хромой пенсионер-бухгалтер в неизменном галстуке,

вышагивающий с клюкой по двору в ожидании собеседников на политические темы.

Медсестра Калинина с двумя взрослыми детьми, уличёнными, по слухам, в преступном кровосмешительстве.

Толстозадая нигде не работающая разведённая Вальха Тупина, проживающая в девятиметровке с подростком-сыном и принимающая по субботам, когда сын отпрашивается к отцу, солидных кавалеров не первой молодости.

Гроза детей, «не просыхающая» Галька.

Директриса обувного магазина, в прошлом артистка драмтеатра.

И ещё, ещё ... далее не хватало воздуха. Всё это от Нины. С её слов. Кранов удивлялся себе, плутая в житейских историях незнакомых людей, задавая вопросы, уточняя детали, придирчиво сверяя их с собственными впечатлениями. После ухода Нины он воспроизводил соответствующие тому или иному персонажу жесты, улыбки, покашливания. Он честно старался понять своих новых знакомцев, пережить, объяснить и оправдать импульсы их невразумительных поступков. Незаметно примеряясь к предлагаемым обстоятельствам, он менял осанку, выпрямлялся, горбился, свирепел, кокетничал, ощущал себя то стариком, то юной девушкой ...

Словом, первый раз в жизни, хоть и в воображении, но с каким-то сладострастием актёрствовал. Тем самым вроде бы восполнял долгие годы молчания. Он с наслаждением купался в затопивших его чужих звуках, невнятных шорохах, криках, смехе, гудящем говоре двигающейся людской массы. Ему стало ясно, что он полжизни провёл, отвернувшись от всех. Даже от близких. Стремился всегда быть незаметным, этаким деталью пространства. Волею ли обстоятельств, или по природе своей натуры. Но не из-за отсутствия любви. Её то как раз было всегда в избытке. Просто ранее только в нише своей незаметности (только там) он и мог растопляться в любовной теплоте ко всякой жизненной подробности.

Теперь же своё призвание растворяться до исчезновения он воспринимал, как потребность быть – многими. А если говорить начистоту – всеми, без исключения и без разбора.

Разумеется, это означало, что многое принесено в жертву иллюзии. Случайные люди становились не просто персонажами его фантазий. Этого было ему мало. Несравненно более важными казались произвольные его суетные усилия сблизить воображаемых людей из домашнего театра с их реальными прототипами. Слияния, правда, не происходило – его персонажи оказывались более жизненно независимыми, чем те двигающиеся манекены, сидящие на лавках под окнами своих квартир.

И всё же, мысль о возможном их единении не оставляла Кранова. И ещё вот что обещающе дразнило – он, Кранов, бескорыстно подарит подлинным героям знание оправдательных мотивов их поступков, и даже мыслей ...

Ну, и конечно, мало знакомый им отставной майор великодушно готовился к откровениям дружбы, к совместным размышлениям об имеющихся на его взгляд шансах на будущее.

До такой неосуществимой идеи докатился доморощенный то ли актёр, то ли драматург. И чем нелепее, невыполнимее становились фантазии, тем более они вдохновляли его. Кранов не отдавал себе отчёта в нереальности всего происходящего. И ждал торжествующего повода высказать им всем, своим уже любимцам, расположение в некоем совместном спектакле. Хотя и мысленно даже не упоминал слов – театр, спектакль, игра ...

А Нина, она ... была сама театр. Женщина без возраста. Вернее, Кранов предполагал время от времени её годы, но это не имело никакого значения, благо всякий раз ошибался – старше, младше ... Торжествовало блаженное притворство, туманная игра недомолвок, акцентов и невидимых музыкальных педалей. Нет более неискренних существ, удивлялся Кранов, чем женщины. Никогда ни говорить, ни улыбаться

просто так – во всём присутствует им одним понятная цель, просчитанная на много ходов вперёд. И как мы любим эти волны обмана, – продолжал размышлять он о себе уже во множественном числе, – как умираем от восторга и вожделиния, и не переносим на дух никакой прямолинейности.

Кранов спал с Ниной. Во всех смыслах. Её рассказы гипнотизировали, завораживали, возбуждали. С появлением Нины в его жизни началось новое диковинное измерение. С протяжённого во времени имени Нии-нни-аа. С её диковинных шляпок с бантами, с аромата горчивших духов и старинной пудры – Кранов был особенно почему-то убеждён в древности пудры – от неё першило в горле, сдавливало дыхание.

С её гортанной татарской речи. Языковые переходы не удивляли. Как он её понимал? Причём до последней невразумительной интонации? Бик кызганыч ... Ачуланма ... Буген жил юк ... Жылытты ... Он купался в чужом языке, в ласковых прикосновениях гласных, в дразнящих, покалывающих горловых звуках, в непрекращающихся мин синен ... мин синен ... мин синен ... шир ... жыр ...

Приходила, появлялась, исчезала, двоилась, множилась. Шляпы, шляпки, шапочки, панамочки не повторялись. К себе домой она его не приглашала. С улицы задира л голову и пялился на её балкон, заставленный двумя неправдоподобно огромными стульями.

Он её вспоминал. И всё что с ней связано. Лишь вспоминал. Не мог ощутить в настоящем времени. Даже слушая из её уст различные истории, он словно бы возвращался откуда-то. Вспоминал, запоминал, помнил ... Помнил её лишь обнажённой или спящей. Перед зеркалом – чуть сгорбившаяся розовая спина, стрижка под мальчика, высокие каблукы. Лежащая в озёрных водорослях в сонном забытьи на животе, раскинув ноги. Над пепельными волосами восставал дымный бесформенный куст,

заслонявший дом напротив, и без того пропадавший в туманных облаках ... Ехидно бронзовые, неожиданно квадратные скулы. Тело собиралось, сгущалось, округлялось в розовую теплоту, белые блики играли под грудью, над бёдрами и пропадали в манивших тёмных впадинах, в свободном теснении лесистых волос над головой. Да, волосы могли бурно отрасти за день и менять освещение комнаты ... Взгляд её всегда словно бы таился от кого-то. Маленькая, почти девочка с капризной короткой чёлкой на лбу, тонкие ручки из-под рукавов, нервные пальчики, теребящие засохшую розу. Ноги сплетены, приподняты, раскрыты. Красные подушки с пришитыми по углам пуговицами вытирала, выталкивали её с кровати, со сползающего покрывала, она спала на боку, тело выростало из бёдер и нежно раскрывалось, тянулось к высоко забранным волосам. На столе пустой горшочек из-под цветов, кучка шелухи от семечек, кошелёк. На полу шёлк зелёной комбинации и тюбик зелёной губной помады. Нины, по сути, и не было, она появлялась лишь в мгновенья, когда Кранову острее всего хотелось избавиться от своей воображаемой никчемности и ... заснуть. Иногда, вырываясь из её дурманящих объятий, он выглядывал в окно и видел – её же(!), сидевшую в это же самое время безмятежно на скамейке, и то ли в безысходном отчаянии, то ли в ликовании почти полубморочно падал в такие реально протянутые руки, пропадал в сладковато-пригорклом кружевном изобилии ...

Шаги на лестнице. Они могли вести только к нему на пятый этаж – Нина? Он прислушивался и замирал в ожидании. Поздние гости, однако, подымались ещё выше на чердак. Через некоторое время Кранов улавливал приглушённые звуки. Не мелодию, не ритм, а протяжные звуковые волны, то появлявшиеся, то исчезающие в ночи.

Иногда казалось, чердачная музыка может прояснить все таинства в зеленоватом ночном горизонте, на фоне которого

вырисовывались башни церквей и мечетей, изогнутые линии мостов. Кремлёвские строения грозили распасться. Белая крепость хоть и возвышалась, но не возносилась над городом. Нелепо сросшиеся на перекрёстке веков уродцы-дома спотыкались в недоуменном приплясе. Казань слоилась, напластовывалась, вся в наростах, бородавках ...

Раньше Кранов привычно переносил свои страхи и чувства на окружающих. И прятался. Он подозревал интуитивно, что его мечтательность опасна из-за своей полной беспредметности. Потому и выдерживал со всеми дистанцию. Даже с женой.

О жене, кстати, в Казани и не вспоминал. Жена? Они давно стали чужими. Читали, как говорится, разные книги. Вернее, жена листала лишь популярные журналы. Кранов не понимал, зачем он ей нужен. Чтобы было, кого кормить? Домашнее животное, безропотное существо, создающее иллюзию присутствия. Добытчик, конечно, тоже. Они спали вместе в одной постели, но давно как дальние родственники. Секс? Мерзость, патетично заявляла жена, – всему своё время. Тем не менее, он знал, что у неё были романы. До самого последнего времени. Но это его мало волновало. Вернее, он её оправдывал и даже считал себя виноватым. Ах, это постоянное чувство вины. Не от хорошей же жизни тянуло её к другим, значит, он не смог ей дать того, что она ждала от него. Она же, наверное, по справедливости считала его придурком. Однажды так и сказала ему с пренебрежительным презрением, когда он попросил её не афишировать свои шашни с этим солдафоном Тереховым, его полковым командиром. «Ты что, придурок? Он просто благосклонен ко мне и к ... тебе. Если бы не он, кстати, ты бы и паршивого майора не получил. Лучше меньше слушай сплетен. Разве я тебе когда-нибудь давала повод сомневаться?»

Он ничего не ответил тогда и вышел из комнаты. Он давно научился смотреть на неё, как бы не замечая. Ему была отвра-

тительна её лживость. И, странным образом, притягательна. С непрекращающимся любопытством и изумлением выслушивал он очередные словесные хитросплетения жены. Она, по сути, никогда не была с ним искренна, разве что когда просила его почесать себе спину. А разрушилось всё через пару месяцев после их женитьбы. Она была уже беременна. Отпросившись с вахты, Кранов прибежал в тот день домой с баночкой малосольных огурцов. Открыв осторожно входную дверь, чтобы ненароком не разбудить жену, он застыл на пороге – она извивалась на карачках с кошачьими придыханиями в объятиях маляра-сверхсрочника, делавшего у них косметический ремонт. Они не видели Кранова, но он уже никогда не мог забыть искажённого сладострастной судорогой лица своей новоиспечённой супруги, задранный подол подаренного им на свадьбу атласного халата, сжимающиеся ритмично ягодицы маляра, его красные пятерни на её бёдрах ...

Он осторожно прикрыл дверь. Мир отвернулся от него. В который уже раз. Это был знак такой муки, что выводил ум его за пределы возможного, швырял его как щенка, ставил лицом к лицу с другими. Против его же воли.

Чтобы утратить себя в других? Хотел ли он этого? Во всяком случае, он попытался всё забыть и не заметить обиду. И через несколько дней стал настойчиво разворачивать под одеялом жену задом к себе, вынуждая стать в постели на колени. Вырвавшись из рук обезумевшего в своём желании Кранова, жена изумлённо допытывалась, где он научился этому бесстыдству. В конце концов, он был пристыжен, и в наказание отвергнут от взаимности на целый месяц. А ведь он согласен был в угоду жене уподобиться её маляру, правда и желание испытал острее ...

Разумеется, он знал, что любящие черствы ко всему остальному, они отворачиваются от остального мира. Сам же он не умел любить кого-то одного или что-то одно, так как не хотел лишаться этой туманности «остального». Но и корил себя

всегда за это. Угарный дым, так сказать, земных костров не отпускал его. И, тем не менее, он готовился к иной любви, что таила в его воображении все лики мира. Неужели человеческие отношения – единственная роскошь в этом мире? И, в конце концов, он избрал *ничто* – стал молчащим существом. Вернее, как бы упрочился в своём *молчании*, не имевшем ничего общего ни с озлоблением, ни с жалостью к самому себе.

Спустя много лет, уже в Средней Азии, появилась в его бесцветных буднях Полина, или как её называли – Поля. Полная говорливая портниха проживала с маленьким сыном в гарнизонном посёлке и обшивала офицеров и их жён. Кранов явился укоротить брюки и рукава на мундире. На первой примерке она вертела им как куклой, не переставая разговаривать, вскакивала, бежала за мелком на кухню, возвращалась, снова выбегала – уже что-то выключить на плите – прибежала, садилась, широко расставив ноги, тянула нелепо стоявшего в длиннющих брюках Кранова к себе, зажимала его коленями, наклонялась, поворачивала, прижимая на секунду к своему пышущему жаром мягкому телу, смеялась над неуклюжими движениями его рукавов, вновь убегала ... Кранов вдыхал еле уловимый запах её духов, слушал безобидную воркотню и, когда она поворачивала его от себя, закрывал от наслаждения глаза. Так же, позднее, он всегда прикрывал глаза, если она принималась гладить его по животу, приговаривая: «Молчун ты мой, а молчун, ты же вовсе не такой, я же чувствую тебя всего ...»

Их тайная связь продолжалась несколько лет. Поля ничего не требовала от Кранова, просто радовалась, как ему казалось, его существованию. Двойная жизнь быстро вошла в привычку. Разбуженный Полей темперамент не привёл ни к каким действенным переменам. Втайне он мечтал к ней перейти навсегда и, играя с её слегка заикавшимся сыном, воображал даже, как он будет проводить в этих стенах свободное время. Но затем вспоминал о собственном сыне, мрачнел и собирался восвояси. Наслаждение завершалось мучительным чувством вины. Долг отцовства оказался превыше стра-

сти к Поле. Не мог же он знать, что по прошествии лет, его сын научится также презирать его, как и жена, называя за глаза «мундиром», и изберёт чуждую для Кранова профессию продавца. Ещё с детства сын поражал отца, отвергая мальчишеские игрушки, машинки, конструкторы, и часами воздвигая подобие рынков, всевозможных магазинов, торговых центров ...

Теперь же всякая дистанция между Крановым и остальным миром, как ему казалось, стёрлась. Занимало другое: могут ли меняться картины его собственного воображения? Или они застывают как дом, или скульптура?

Он был, конечно, и зрителем своих персонажей. Обходил вокруг них. Принюхивался, тянул в нужную ему сторону. Надо сказать, чаще всего они сопротивлялись. Тем более, изумлялся он их добровольным или вынужденным превращениям и ... торопился сравнить их, обновлённых, с застывшей вдалеке реальностью. Подлинные герои, однако, безмолвствовали и оставались неподвижны. Они не желали общаться по законам Кранова. Тем не менее, он не оставлял своих попыток, даже уже не надеясь на успех взаимоузнаваемости.

И чувствовал некое очищение от лихорадочно-болезненного, почти что эротического возбуждения. Не избавившись до конца от осторожности, он безуспешно старался предвосхитить поступки своих героев, но его неуклюжее вдохновение удивительным образом опережало его же расчёты.

Он словно им подтанцовывал. Самые потаённые желания обретали в движениях дозволенность. Исчезал хаос и неопределённость. И, в конце концов, торжествовала неизбывная неподвижность, когда слышались лишь удары собственного сердца. Полнота переживания замирала как на фотоснимке, запечатлевая лишь важнейшее.

Одновременно он интуитивно чувствовал нелепость ситуации и даже осуждал себя за стремительно развившуюся су-

етную страсть переживать за других, за своё упрямое стремление быть многими. Отставной майор путешествовал во времени. Без пользы, без всякой выгоды, хотя на периферии сознания и маячило тревожно-туманное знание о существующей вроде бы системе, где ему за всё его актёрское сумасбродство воздастся неким истинным *пониманием*. Но чего? Кого? Согревало – воздастся, и всё.

Повод вскоре был найден – воскресник. Апрельским ранним утром Кранов перебегал, припадая на правую ногу, по двору от одного соседа к другому, вглядываясь в лица, заискивающе заговаривал. Его почти не замечали или настолько, насколько требовала ситуация – передать лопату, взять метлу, отнести мешок с мусором ... Ему, между тем, необходимо было всеобщее внимание. И когда у кого-то из детей вырвался и застрял в ветках тополя резиновый шарик, он вскарабкался на дерево с поразительной для себя ловкостью, сбросил шарик, огляделся, (нет недостаточно), достал из кармана смятую газету и усевшись на толстый сук принялся громко нараспев читать словно бы из газеты ... стихи: *ярким солнцем в лесу пламенеет костёр, и, сжимаясь, трещит можжевельник ...*

Газета и лирические стихи? Все понимали – розыгрыш. Соседи не скрывали восхищения – это была победа. Воодушевившись, он продолжал: ... *что смущало, колеблясь умчалося прочь, будто искры в дыму улетело.*

Он неожиданно забыл и повторил с отдышкой последнюю строчку: *будто искры в дыму улетело ...*

Конечно, забраться на дерево стоило ему опьяняющих усилий. И теперь он чувствовал, что попал в ловушку. Требовался, тем не менее, завершающий штрих – он нащупал в кармане телогрейки мундштук трубы, приложил его машинально к губам и ... застыл.

Наверху было прохладно. Пахло, как ни странно, грибами. Или кладбищем. Кранов замер, держа мундштук трубы на изготовье. Он увидел их, своих соседей, как бы

сразу всех вместе. Вне времени. Они прогрызли дом насквозь и двигались где-то далеко в беспорядке по бесчисленным проходам. Но странным образом именно дымный хаос, беспорядочность придавали общему для них жилищу устойчивость. Стены не играли определяющей роли. Они менялись на глазах, исчезали, снова возвращались ... да, они всегда возвращались. Ум отказывался объяснить увиденную так конкретно картину. Однако, нагромождающиеся детали не мешали целому. Более того, пространство нуждалось в поддержке всех этих преувеличений, нелепиц, случайностей, исчезновений. Каким-то непостижимым образом одно дополняло другое. Нельзя было отвлечься, отделить необходимое от лишнего. Всё было неразрывно связано между собой: пьяный свадебный кураж Кашиперовой и молитвенная отрешённость Ильдар-абы, запои отца байдарочника и весёлое кружево сплетен парикмахерши Гершман, маниакальная страсть Досис гордиться свежестью своих грудей и ненависть ветерана труда с пивзавода к чете виолончелистов ... Всё понимал и оправдывал Кранов в своём внезапном пронзительном вневременном взгляде. Сколько же душ живёт в нём? Снизу доносились приглушённые смешки, шёпот, выкрики ... Но он слышал лишь волнующий гул контрабасов. Прошлое, настоящее и будущее, сплетённое в один призрачный миг, лишало Кранова движения. В одно застывшее мгновенье вместились все времена: ещё задолго до появления дома – болото, лес, какие-то скрипучие подводы, полчища пролетавших всадников, а затем уже на руинах дома – колонны танков, груды щебня, стаи бездомных собак ... Внезапная смерть парикмахера Гершмана прямо во дворе на скамейке, паника, растерянные лица в окнах ... Он, это он, Кранов ощутил невыносимую боль в левом под-реберье, а не Гершман, он попытался развернуться и уткнулся бессильно в отвратительно-чесночную грудь даге-станца. Это он, а не дочь медсестры Калининой, в одной ночной рубашке, шлёпает босыми ногами по прохладным крашеным доскам к кровати родного брата, ложится к

нему под одеяло и прижимается к худющей дрожащей спине. Это он, а не отец байдарочника, летит в весёлом подпитии кубарем с лестницы навстречу своей смерти, слыша несущийся за ним крик сына, легонько оттолкнувшего его за попытку примиренческого поцелуя. Это он, а не девятиклассница Рюмкина, широко раскрытыми от ужаса глазами уставилась в книгу, чувствуя холодные пальцы своего учителя, пытающегося неуклюже справиться с пуговицами её первого в жизни лифчика. Это он, а не Ильдар-абы, ковыряет палкой в груди щебня и картонных коробок, натывается внезапно на двух рыжих котят и ... плачет. Это его, а не сорокалетнюю Гальку, сидящую смиренно после недельного запоя перед окном и наблюдающую за играющими детьми, пронзает внезапно отчаяние: у неё уже никогда не будет собственных детей, она-он распахивает форточку и хрипло кричит ближайшей шестилетней девочке с ненавистью: Любка, твоя мать – блядь ...

Снимали его с дерева всем двором. Он не реагировал ни на шутки, ни на вопросы. Виновато улыбался. Он чувствовал свою вину перед всеми и шептал на иврите выплывшее из детства: «Шма ... шма ... шма ...»

Летящая извилистая дорога с размаху вонзилась в лес и потекла сразу ровно и строго. Автобус тоже притих, будто прислушиваясь. Лес стоял ещё наполовину чёрный, продрогший, не отогревшийся после зимы. Листва только-только начинала оживать, неуверенно, наощупь.

Кранову хотелось всё поточнее рассмотреть, запомнить, но деревья проносились быстро, мелькали. Устав вертеть головой, он откинулся на спинку сиденья. Взгляд его уже не останавливался подробно ни на чём и неторопливо скользил по убегающему лесу. В неубранной серо-зелёной древесной причёске изредка вспыхивала берёзовая седина. Влажные, отсыревшие берёзы не высветляли лес, а наоборот, подчёркивали необщительность старых потемневших сосен.

Затем лес сместился влево и стал уходить всё дальше и дальше, защищаясь от дороги полем. Справа неожиданно открылась Волга. Автобус остановился и Кранов в растерянности вышел.

Как ни странно, неопределённость радовала. Захотел – поехал, захотел – вышел. Свобода? Только хочет ли он её? И от кого, да от чего освобождаться? Ах, праздные мысли ... Ему не свойственно погружение в глубокий смысл вещей, уговаривал он себя. Его переполняет жизнь. После вчерашнего воскресника это стало очевидно, как никогда. А ранее? Ранее, несмотря на внешнюю упорядоченность, он перебегал в мечтах от одного к другому – он желал всегда нечто другое, был полон надежд и потому мало приспособлен к военной службе. И вот он перестал служить. Вроде бы ... Освободившееся пространство требовало заполнения. Видимость свободы охмеляла на первых порах. На самом же деле, он перешёл из одного измерения в другое и вновь стал несвободной частицей, теперь уже ... свободы.

Моросил дождь. Жадно вдохнув серого сырого воздуха, Кранов направился к реке. Волга у берега была вся в мелях. Большая вода ушла к другому берегу, высокому, гористому, похожему на верблюжью спину. В далёких впадинах сурово догорал снег. Вода казалась там чернее и беспокойнее.

Кранов долго стоял у берега, потом развернулся и направился через поле к лесу. Обрезанное справа рекой, а слева отгороженное тёмной стеной леса, невспаханное поле так далеко и просторно вырывалось вперёд, что взгляд не догонял его. Ноги увязали в глубоких скользких трещинах. Сильный, изменчивый ветер то бил в грудь, то налетал сзади, то смолкал ненадолго, чтобы затем ударить в лицо с внезапной силой, от которой сдавливало дыхание, но которая нравилась Кранову. Он медленно, не останавливаясь, шёл, прихрамывая, через поле к лесу. Серое небо летело низко над землёй и уносилось вдаль.

Кранов чувствовал, как утренняя дрожь растёт внутри него, ширится, становится светлее, радостнее, она была сродни ожиданию чуда, ожиданию, от которого в тебе словно копится и копится сила.

Чем ближе подходил Кранов к лесу, тем всё меньше он казался ему сплошной иссиня-чёрной стеной. Лес почти сразу подымался в гору и от этого выглядел ребристым и разным. Вскоре стали хорошо видны первые деревья – молодой сосняк, высаженный аккуратными рядами. Впереди полыхала жёлтыми звёздами цветов ольха.

Ветер врывается, обрушивается на молодые тонкие сосенки. Их чёрные стволы у земли казались мёртвыми – одинаковые, голые, неподвижные. Но выше, где ствол пропадал, терялся в мохнатых ветках, улавливалось их дыхание и робкий говорок. И ветру там удобнее раскачиваться на мягких иглах. Нижние ветки свисали, изогнувшись, к земле, остальные тянулись по стволу вверх, путаясь, сплетаясь друг с другом. Кранов потерял ощущение времени. Несмотря на то, что он давно уже брёл по лесу, ему всё ещё казалось, что лес маячит где-то недосягаемо впереди ... Простуженная берёзовая роща. Отливавшие серебром осины в окружении волнистого, убежавшего кустарника. И вновь сосны, но уже большие, высокие, дававшие простор воздуху. Земля, покрытая тяжёлыми сосновыми иглами, молчала, лишь иногда, хрустнув, ломалась под ногами упавшая ветка ...

Обратный путь в город Кранов совершал в одиночестве. Об окна автобуса сёкся неслышный дождь, из кабины водителя доносились грустные распевы татарской гармошки. Волнение не покидало Кранова, напротив усиливалось. Ему хотелось ехать так бесконечно долго, чтобы ощущение ожидания, радостного предчувствия, копившееся в нём, сохранялось ещё дольше и росло.

Он прикрыл глаза. Впереди иссиня-чёрной стеной стоял лес. Прохладный, манящий. Купающийся в серых облаках. Он шёл к нему, увязая кирзовыми сапогами в жёлтом песке. Он

шёл к нему – это ощущение было основным, главным. Лес казался совсем близким. Но перед ним лежала раскалённая, неподвижная пустыня под слинявшим небом. Неподвижность угнетала больше всего. Слипшийся ком – это и есть память? Неужели нечего и вспомнить? Ведь в этой пустыне он – жил. И люди его окружали. Близкие, далёкие, но окружали. Непонятно также – идёт он вроде бы вперёд к лесу, а на самом деле возвращается – вон отец с матерью и маленьким Мотей. Это ведь ещё до войны, до гетто. Конечно, все живы. Вон тётя Циля с Соней. Ах, тогда всё ясно – семейство Кранцевичей провожает дядю Натана в Испанию на гражданскую войну. То ли плачут, то ли смеются ... Или нет, уже встречают? Тогда дядя Натан должен начать вытаскивать аккордеон из футляра и Кранов, в ту пору ещё тоже Краневич, должен броситься ему на помощь и испугаться внезапно зазвучавших мехов ...

И сразу обожгло песочной душной пылью, и закружили другие лица. Лица, окликавшие его уже только Крановым и не подозревавшие о существовании некоего Кранцевича. Даже жена его и сын. Хотя нет, некоторые догадывались, он это прекрасно чувствовал. С того первого раза, когда он от страха в окружении назвался интеллигентному немецкому лейтенанту именно так – Крановым, русским, а не евреем Кранцевичем. Благо и документы при отступлении потерял. Да так и остался Крановым: и в недельном плену, и потом после побега, в партизанах, и в послевоенные годы.

Он шёл, иногда уставал, и не верилось тогда, что хватит сил дойти до леса. Но ветер доносил запах хвои, влажной земли, силы вновь росли и он, как зачарованный, опять шёл вперёд к лесу, стоявшему вдалеке иссиня-чёрной стеной. «Иссиня-чёрной стеной ...» – шептал Кранов. Он так отчётливо видел лес во всех подробностях, что не мог понять – снилось ему всё или было наяву, подлинно.

Видение не оставляло его, и он, вернувшись домой, света зажигать не стал, боясь всё нарушить. Непокойно было в тём-

ной комнате: призрачные очертания и звуки, по стенам бродили непечные тени. Кранов не мог усидеть на одном месте, ощущение ожидания исчезло и вместо него поселилось внутри видение леса вдали, пустыня перед ним и он, Кранов, неустойчиво идущий по пустыне к лесу. Видение, впрочем, время от времени вдруг пропадало, разбивалось на смутные осколки. И вновь возникало ещё выпуклее, беспощаднее, чем прежде, оно не умещалось в нём, рвалось наружу, чтобы полететь свободно, широко, подробно.

Кранов достал с полки трубу, издал первые звуки «Романса» Шостаковича. Послышалось невнятное клокотанье. Затем, наконец, выплыл неуверенно первый мотив. Он остановился, швырнул трубу на кровать. Звуки не могли заменить леса. Он сам по себе звучал – лес, его лес ... впрочем, его ли, но звучал ... каждой веткой, полусгнившим сучком звучал, каждой прожилкой на листке ... Кранов слышал. Он не мог ошибиться. Звучание росло, ширилось, заполняя всё его существо без остатка.

Он подошёл к окну. В корпусах серого дома зажглись окна. Неожиданно прямо перед собой увидел залитую красным светом комнату и сидевшую за большим столом девочку лет семи, дочь виолончелистов. На столе в беспорядке лежали листы бумаги, карандаши. Девочка о чём-то сосредоточенно думала. Кранов, затаив дыхание, наблюдал за ней. Вот она взяла лист бумаги, карандаш и, полюбив его, стала что-то рисовать. Иногда она откидывалась от стола и мечтательно всматривалась вперёд, будто разглядывала что-то. Кранов отпрянул от окна с внезапной догадкой – она видит ... лес.

Лес везде. Повсюду. И Кранов вовсе не шёл к нему. Он его и не покидал никогда. Просто не хватало ни сил, ни понимания охватить его – лес жизни. И не останавливаться. Знают ли об этом Ильдар-абы, дед Василий, Гершманы, Калинины, Кашперовы, Рюмкины ... Или тётя Циля, или его жена с сыном? А интеллигентный офицер-немец, а тот маляр, а Поля? Раз-

ницы, впрочем, никакой. Кажется только, что живём в домах со стенами. А в действительности? Но и в лесу торжествует магия запрета, невозможность преодолеть иллюзорные преграды. Хоть вроде бы и сам ты в каком-то смысле тоже – лес, а блуждаешь, мечешься, и норовишь в чужие дебри забрести, что-то там упорядочить, или хотя бы в малой малости разобраться, и говорить, и спрашивать, и петь даже. И замерзать в снежных заносах вражды, и с отвращением утолять жажду из вонючего источника, и презирать себя за трусость. И понимание, и любовь ничего не меняют, ни блаженная дремучесть прикосновений, запахов. Только, может быть, звуки ...

Взгляд его упал на зеркало – небритое, морщинистое лицо с серыми глазами, разноцветные окна дома. Он недодумал про звуки. Лихорадочно задернул шторы, подошёл к столу и на обрывке газеты накарябал дрожащей рукой: «Впереди иссиня-чёрной стеной ...» Строчка повисла в воздухе, горячая, сыпучая. Кранов облизнул моментально пересохшие губы и ощутил вкус песка во рту. Пить ... очень хочется пить ... Надо дождаться, когда вскипит чайник. А пока лечь и прикрыть глаза. Так легче дышать в этом тёплом песочном дожде. Только в висках невыносимо ломит. Чаю, глоточек сладкого чая. Зажёг ли он газ? Так долго не свистит чайник. Впрочем, и без чая вполне сносно укачивает, в сыпучую тёплую массу заворачивает, в этот игольчатый сосновый дождь. Льёт и льёт всё с этой ветки, или с той ...

Впереди иссиня-чёрной стеной ... почему всегда только впереди ... лежалые, сгнившие жёлтые ветки ... никакой ни лес ... иссиня-чёрной стеной ... и не впереди, но стеной, но стенойстенойностенойиссинячёрной ...

1972

ОДНАЖДЫ ВЕСНОЙ

Маша не сразу обратила на него внимание. Было ветрено. Она стояла на трамвайной остановке и прижимала к себе сына-первоклассника.

Внезапная тишина заставила её ощутить неловкость и обернуться. Незнакомый мужчина в светлом плаще, встретившись с ней взглядом, ничуть не смутился и продолжал смотреть на неё. Маша не без удовольствия отметила смесь удивления и восхищения в его глазах и отвернулась. В это время подошёл трамвай, и они с сыном побежали к передней двери.

Пространство вновь шумно вспенилось, залязгало, заклокотало. День был по-весеннему лёгкий. Снег оставался лежать лишь на клумбах газонов. Асфальтовые тротуары подсохли, и Маша впервые в этом году вышла на улицу в лакированных туфлях на каблуках. С непокрытой головой, в брюках и распахнутой куртке, из-под которой виднелся красный свитер, Маша выглядела гораздо моложе своих тридцати восьми лет. Она знала это, и ей было весело. Кроме того, впереди выходной день, она подтянута и элегантна. Всё прекрасно! И весна ...

Проводив сына в школу, она неторопливо возвращалась к остановке. Мужчину в светлом плаще она увидела ещё издали. Теперь на нём были тёмные очки. Он курил и поглядывал в ту сторону, откуда должен был появиться трамвай. Пожалуй, он был в её вкусе: смуглый, некрасивое, но волевое лицо, даже неторопливая манера курить нравилась ... только слишком юн, совсем ещё мальчишка, лет двадцати с небольшим.

Когда появился трамвай, Маша вначале решила его пропустить – ей не хотелось ехать в тесноте – но, увидев, что незнакомец в светлом плаще направляется на посадку, вдруг решительно пошла за ним. Сердце тоскливо ёкнуло и провалилось.

Руки их легли на поручень почти одновременно. «Пожалуйста», – беззвучно произнёс мужчина и пропустил её

вперёд. Она поблагодарила кивком головы и поднялась по ступенькам. Маша готова была поклясться, что он её узнал. Более того, обрадовался, иначе откуда эта заминка перед «пожалуйста», да и само «пожалуйста», произнесённое хрипловатым низким голосом чуть взволнованнее и поспешнее, чем следовало бы незнакомому встречному, – всё это не ускользнуло от её внимания.

Хотя, на самом деле, она не слышала ни шороха. Все звуки предательски исчезли. Мир вновь оглох. В самый последний момент в трамвай с гиканьем вломилась группа студентов – она и о гиканье догадалась лишь по открытым ртам и улыбкам – и Машу людской волной прижало к билетной кассе. Она смотрела в окно, но чувствовала, что незнакомец стоит совсем рядом. Их разделял маленький мужчина-горбун. Горбун не сводил горящего взгляда с её груди. Откровенные переживания лысоватого уродца были неприятны Маше, но трамвай был так набит, что люди не имели ни малейшей возможности пошевелиться.

Слева передали талончики на компостирование. Маша протянула руку, и незнакомец в плаще взял талончики, коснувшись её руки холодными пальцами. Воспользовавшись ситуацией, лысина горбуна беззастенчиво легла на грудь Маши. В это время сзади надавили, горбуна оттеснили в проём у кассы, и Маша оказалась тесно прижатой к мужчине в белом плаще. Она почувствовала на бедре его руку и вся сжалась. Теперь, когда они стояли так близко, мужчина смотрел в окно. Его рука лежала на её бедре, и когда кто-нибудь пробирался к выходу, надавливала. Маша ощущала, как рука незнакомца с каждым мгновеньем прижимается сильнее, чем позволяют приличия, ласково сжимает её ягодицу, ощупывает резинку и застёжку от чулка. Ей было страшно стоять вот так, не шелохнувшись, ощущать звон сердца в груди и при этом чувствовать прикосновения всё более смеловой руки. При каждом толчке трамвая застёжка от чулка впивалась в тело. Маше было больно, но она не делала никакой попытки отодвинуться, наоборот, покрасневшись, ещё теснее прижималась к мужчине. Какая-то властная, тайная сила ис-

ходила от незнакомца и заставляла тело Маши неметь и подчиняться. Оцепеневшим взглядом она уставилась в окно и ничего не видела.

И не слышала, будто летела в бескрасочном, бесшумном вакууме. Странно тихо было вокруг. И в то же время, весь мир резко обозначился, вздыбился, звучал, сверкал красками. Только она ничего не слышала. Нет, вроде бы и слышала, но не как всегда.

сейчас возьму и позову его к себе а что тут особенного всё ерунда предрассудки просто так повернусь и позову и будь что будет дома никого только в горле пересохло дышать нечем сейчас повернусь и позову если голос не пропал что со мной сумасшедшая свою остановку пропустила где это я какой ужас ...

Она резко отпрянула от незнакомца и стала пробираться к выходу. Еле дождавшись остановки, она спрыгнула на тротуар, и в лицо ударил обжигающий ливень пульсирующих вскриков, гудков, птичьих всполохов, сирен, взвизгиваний тормозов, заливистого смеха – и голоса, голоса ... Не оглядываясь, она в каком-то оцепенении устремилась по незнакомому переулку. Она почти бежала. Переулок стрекотал, задышался от звукового хаоса.

... как я, наверное, была смешна, девочка под сорок, совсем неплохо ... сумасшествие, не иначе, даже оглохла ... а он разглядывал морщинки, днём их и не скроешь, и посмеивался, наверняка посмеивался ... какая дура ... вот уж не знала за собой ... а он совсем ещё мальчишка ведь ...

Мимо прошёл старичок в телогрейке. Его глазки сузились и, как показалось Маше, подозрительно впились ей в лицо. За ним женщина, и тоже подозрительно. И двое школьников. Маша присела на скамейку, достала из сумочки зеркальце и подкрасила губы. Внимательно осмотрев лицо и причёску, она подпудрилась, слегка взбила руками волосы. «Ну, вот

теперь я похожа на себя – интересная женщина в расцвете лет», – подумала Маша. Улыбнувшись, она прикрыла глаза. – «Хоть не езди в общественном транспорте ...» Постоянно что-то с ней случается невероятное. Правда, до глухоты дело не доходило, чтобы вот так, в одночасье исчезало всё вокруг вплоть до дыхания? Ещё девчонкой как-то ехала с дачи на переднем сидении у шофёрской кабины и дремала в предвечернем полумраке салона. Сосед справа листал старый журнал и, будто ненароком, откинул страницу прямо ей на колени. Тяжёлая его рука лежала вначале без движения. Маша замерла. Затем рука развернулась под прикрытием журнального листа и заелозила вверх по её ноге. Она резко встала, сбросила журнал и протиснулась к двери ... Но звуки? Нет, она не помнит ничего такого.

Всё, хватит! Подозрительные взгляды её больше не беспокоили: рыжеватые крутые пряди над блестящими глазами, устремлённый шаг, загадочная улыбка ... «Забавно, забавно», – приговаривала она про себя, направляясь к остановке.

Его она увидела издали и непроизвольно остановилась – вновь бешено заколотилось сердце, и предательская слабость разлилась по телу. Она хотела повернуть назад, даже обернулась зачем-то, словно искала место для отступления и ... пошла ему навстречу.

Беззвучный поток мягко укутывал, заверчивал её в безвоздушную воронку. Белое пространство тишины без единого шороха завораживало её и уже не удивляло. Мужчина стоял на остановке и курил. Маша шла медленно, не смея поднять глаз. Она сдавалась в плен безмолвному океану и с каждым шагом всё острее ощущала заволакивавшее её страшное и одновременно сладостное чувство подчинения.

Подошёл трамвай. Его сильная рука посадила её на подножку. Народу было много, и вновь они стояли рядом в этой толчее. Незнакомец уже без робости сразу же предъявил «свои права». Маша чувствовала на бедре его руку и твердила про себя: *будь, что будет* ... Словно в забытии, она ощущала близкую теплоту чужого тела, руки, настойчивые прикосновения, этот стыдный язык общения, от которого

сходишь с ума и в котором незаметно начинаешь участвовать сама.

От остановки они шли почти рядом. Он отставал от неё на шаг. Но что странно, едва Маша вышла из трамвая, дурманящая слабость исчезла и она со всей очевидностью вдруг осознала, что ведёт в дом незнакомого мужчину, даже не мужчину, а юношу младше её минимум лет на десять, и что она впервые изменит мужу. К собственному удивлению, это её совсем не ужасало, напротив, она уже хотела этого, только чтобы побыстрее всё кончилось, и можно было бы освободиться от плена этой силы, что исходила от мужчины, и которой она вначале сопротивлялась, а теперь желала полностью раствориться в ней.

У подъезда дома её ждала подруга. Маша с ужасом подумала, что их надо будет друг другу представить, а она не знает даже его имени, но уже в следующее мгновение поняла абсурдность этого знакомства и выдавила из себя какое-то приветственное восклицание.

Подруга что-то оживлённо говорила, она машинально поддакивала. И вновь ничего не слышала, только видела открывающийся рот подруги, трепыхавшийся язык между ровными рядами зубов ... Когда они заходили в подъезд, Маша краем глаза увидела, что мужчина прошёл мимо, и облегчённо выдохнула. Она провела гостью в комнату и зашла в ванную.

Глянув в зеркало, висевшее над раковиной, Маша оцепенела от ужаса – мужчина в чёрных очках смотрел на неё от туда. В изнеможении Маша ждала прикосновения его медленно приближавшейся руки и в самый последний момент беззвучно повалилась на пол.

ВТОРОЙ ТУР

Ступенек четыре. Нет пять. Пять? Все девять. Впрочем, какая разница, взлетели-то они на сцену одним дуновением.

Воспарился скрипач, смело взмахнув фалдами фрака. За ним – не менее крылатый пианист. Согласно преданию, на этом полёт их и кончился, потому что сцена Малого зала Гнесинки это вам не Омфалийское поле с высокой зелёной травой, о котором мечтали музыканты.

Как обманчива лёгкость полёта – они наивно приняли её за воспарение. Куда? На заурядное, тривиальное возвышение, усеянное сплошь колдобинами, скользкими скатами, рвами ...

А тут ещё и ветер. Вернее и не ветер, а дух. Устоявшийся дух зала, шибанувший с силой в лицо музыкантам. Грузный пианист Миша страдал отдышкой. Тяжело шагая вслед за юрким партнёром Севой, он заметил, как задеревенела спина поскользнувшегося скрипача: Сева зашатался и чуть не упал в ров, где гнилостно копошились неясные звуки. Какой он всё же слизняк, подумал Миша. Это всё от зажатости, как будто ему тесно в скрипичном пространстве. Странно, в жизни такой раскованный, а как выходит на сцену – не узнать.

Словом, мгновенье было пренеприятное. Вдобавок, именно в этот момент с тонких губ их педагогини слетел, согласно воображению Миши, зевок. Красивый такой и упитанный, он не испарился, как бывало не раз на репетициях и уроках, а понёсся по залу напрямик к столу жюри. Шаркнув ножкой перед председателем жюри Альбертом Шванном, чью сонату отказались играть конкурсанты, зевок заскользил между лысынами и пухлыми руками остальных членов жюри.

Затем ринулся по рядам слушателей. Его дерзкое продвижение ошеломляло – зевота охватывала зал. Зал засыпал. В тусклых взглядах членов жюри не угадывалось никакого желания бороться с дремотой. И если бы не последние остатки чувства долга ... но от одеял и они не отказались. Что же, их

можно понять: если подрёмывать, то уж уютнее под пуховыми одеялами.

Нажав ля-фа-ре для настройки, пианист увидел в отражении пюпитра рояля, что зевок втаскивает на сцену два спальных мешка. Гневно сопротивляясь видению, Миша резко взял ещё один аккорд. Оцепеневший было, Сева вздрогнул и начал настраиваться. Возникшее видение, однако, не исчезало.

Зевок, тем не менее, полнел на глазах и продолжал своё гнусное дельце с завидной ловкостью. Теперь он быстро стегал огромное розовое одеяло. По-видимому, для всей сцены.

Неожиданно зевок устремился в дальний конец зала, где обнаружил к своему неудовольствию буйные заросли крапивы. Удобно устроившись, в ней сидел Гена Оладушкин, автор сонаты, первое исполнение которой вот-вот должно было начаться. Но только согласно конкурсной программе, а на самом деле ... Глаза никем непризнанного автора лихорадочно горели.

Зевок заюлил вокруг Гены. Как пробраться к нему? И не обжечься крапивой? Покрутившись лихорадочно вокруг да около, он, по рассказам очевидцев, помчался в панике назад к сцене. Ослабив крепления моста от скрипки, зевок заспешил к правой педали рояля и убрал всю смазку. И, срываясь на фальцет, крикнул лихорадочно вспотевшим музыкантам:

– Говорил вам педагог, чтобы играли на втором туре сонату председателя, говорил? А вы?! Эх, студентики, не пройдёте в финал, не пропустят, а могли бы ...

Суэта и путаница – будет вам и им, и всем в зале соната Шванна, благо, и музыка на удивление хорошая. Пианист Миша почему-то обречённо вздохнул. Его не удивило, что он словно бы беседует с туманным видением. Гораздо более занимало: как мог этот насквозь фальшивый, по мнению Миши, почти полностью облысевший председатель жюри сочинить нечто настоящее. С его обтекаемой вальяжностью, непроницаемо-вежливыми взглядами и снисходительно-витиеватой манерой высказываться.

А отказались вначале играть его сонату из-за Севы. Вернее, из-за его подружки Леды, завертевшей роман с Альбертом Шванном. Разумеется, они и представить себе не могли, кому, прерывая репетиции на самом неожиданном месте, бегает звонить, поправляя сползавшие подтяжки от брюк, неожиданно суетливый профессор Шванн. И даже когда появились в рукописном варианте инициалы посвящения, ничто не предвещало зловещего открытия. А потом и главная тема оказалась составленной из тех же букв.

Итак, председатель жюри влюбился в Леду, в эту недалёкую, по мнению Миши, плюгавенькую кокетку. Со свойственной ему желчной иронией, он безрезультатно пытался пару раз обратить внимание Севы на двуличность его пассивности. Впрочем, умолчав, что Леда чем-то успела околдовать и самого Мишу. Словом, лукавил пианист Миша. Скрипач же воспринимал ядовитые намёки с усмешкой – толстый увалень Миша слыл девственником.

Справедливости ради следует отметить два обстоятельства: Сева был вовсе не влюблён, в отличие от Шванна, в свою очередную подружку. Иначе бы не позволял себе со смехом рассказывать, как обустроивает Леда формы своего бюста с помощью ваты. И второе: слухи о пресловутой девственности его партнёра по камерному ансамблю явно не соответствовали действительности – с недавних пор Миша пользовался интимной благосклонностью их педагогини по ансамблю. Сорокалетняя наставница ни при каких обстоятельствах не изменяла своей привычке, прикрывая рот костлявой ладошкой, позёвывать в дурманящей истоме. Турманная улыбка вечно невыспавшейся женщины действовала на её ученика Мишу магически – он просто сомнамбулически зависал в нереальном океане страстной беспомощности. Впрочем, несмотря на своё слабование, он привык думать, что создан для неких атакующих жизненных комбинаций. В действительности же, страх перед обволакивающим эротическим неведением был куда сильнее чувства соответствовать общепринятым представлениям о мужской активности. Просто всякое доброе отношение, даже невольное внима-

ние, обзывали комплексовавшего Мишу к ответной привязанности. Ему всегда казалось, что любая нерешительность с его стороны просто оскорбительна. А уж в этом союзе с педагогиней, тем более.

Итак, когда тайное увлечение председателя жюри стало явным, и конкурсанты сменили по настоянию возмущённого Севы уже готовую и отрепетированную во всех деталях для исполнения сонату Шванна на свежеиспечённый опус их сокурсника Гены Оладушкина, Леда пропала. Педагогиня, позёвывая, заявила о несерьёзности их решения, прозрачно намекая на естественную рутинность композиторского увлечения – а как же иначе сочинять, уж она то знает, сама училась в своё время у Шванна, он по-другому никогда и не умел ...

Творение Оладушкина оказалось прямолинейным и сухим, но отступить было уже некуда. Да и времени оставалось до конкурса совсем немного. К неизвестному сочинению придраться не будут, успокаивали себя конкурсанты.

Когда после первого тура конкурса Леда появилась с надменным видом в репетитории и вызвала Севу на переговоры, Миша с изумлением отметил, что она изменилась до неузнаваемости: в ней исчезла суетность, она не вертела глазками и от неё исходили манящие флюиды властной чувственности. Более того, она показалась ему настолько неожиданно прекрасной, что он даже с легкомысленностью позволил себе в душевной мимолётности сравнить Леду с Музыкой. И тут же ужаснуться собственному кощунству.

Неудивительно, что выяснение отношений с Севой затянулось на всю ночь. Наутро Сева предложил вернуться к сонате Шванна. У Леды ничего с престарелым композитором не было и быть не могло, убеждал он уверенным тоном. Панист, обозвав партнёра в душе в очередной раз слизняком, не возражал и с видимым удовольствием отложил в сторону ноты сонаты Гены Оладушкина. Промолчал он и о случайно увиденной, не далее как неделю назад, пухлой руке Альберта

Шванна, слозившей по коленкам Леды в тёмном предбаннике гардероба.

Первый низкий унисон рояля. Ёжась от холода, открывает глаз председатель жюри Альберт Шванн. За ним и прочие его коллеги зашуршали бумагами, картонными папками, программками.

Сумрачны и тревожны предрассветные контуры земли. От судорожных порывов ветра раскачиваются и постанывают верхушки молодых сосен. Но вот аккорды просвечиваются. Светлеют. Теплеют дуновения скрипичных пассажей. Распахиваются окна. Хвойный сквознячок побежал по залу.

Заёрзали, завозились спящие – поддувает. Ничего не подозревающий зевок наготове: одеяльца подтыкивает, а членов жюри ещё и в пледы импортные закутывает.

И, тем не менее, кое-кто уже проснулся. Толкнул соседа в бок. Оживает, оживает зал. Жмурясь от удивления, люди показывают на ажурный мост через реку. На тот берег. А там ... Никто не знает, что – *там*, но оттуда доносятся запах свежей хвои, мелодии птичьего хора. Туда! Конечно, все – *туда!* Люди устремились к мосту. Зевок, взвизгнув от испуга, вспрыгнул на нос педагогине.

Громко каркнула ворона, но никто не обратил внимания на её банальные поползновения. И зря. Неожиданно на сцену что-то упало. Пианист глянул вправо и с ужасом увидел на полу мост от скрипки. Самое начало второй части, что же делать? Скрипач не останавливается. Решил играть без подставки?

Тупая, кондовая сила механистично давит, зажимает, пригибает – застонали женщины, изнывают от бессилья старики и дети. Ах, какой ажурный светился мост на тот берег, так заманчиво пахло хвоей ... Прочь фраки, в окопах сподручнее в простых гимнастёрках. Стонущие интонации выпрямляются и наливаются силой. Гигантская схватка – никакой альтернативы. То ли молнии, то ли вспышки орудийных залпов.

Вьюжит, метёт по залу позёмка. Холодно. Но никто и не думает укрываться одеялами, пледами, шубами, дублёнками. Да их и нет. Есть озноб *сопричастия*.

О зевоте забыли и думать. Все, кроме Миши. Его тошнило от спёртого дыхания председателя жюри и драматических затактов его музыки. Он ненавидел всякого рода схватки. Станным образом, увлечённо соучаствуя в разворачивании вздыбившегося звукового ландшафта, он им же и тяготился. Мало того, видел, ощущал, слышал всё, что происходило словно бы по ту сторону рампы: вон зевок, усталый, сладкий зевок, сводивший его с ума, съёжившись, затаился рядом с родинкой у правого уха дремавшей педагогини. Только на ней и осталось одеяло. Плохонькое, рваненькое, но одеяльце. Вот туда бы – к ней в темноту – уткнуться щенком в эту тёплую родинку ...

Из пепелища, между тем, неуверенно пробивается стебелёк травинки. Хрупкую тему скрипача бережно подхватывает пианист – мелодия начинает покачиваться в лёгком танцевальном движении: тихая справедливость вальса торжествует ...

Омфалийское поле зашелестело листвой. Это боги, прикрыв лысины венками, аплодируют. Робкий поклон. По условиям конкурса аплодировать не полагается. Конкурсанты прекрасно помнили о наказании Марсия, потому и сонату сменили. Но жюри ... Боги сами хлопают, так сказать ...

Музыканты слетели за кулисы и успели в молчаливом одиночестве выкурить по сигарете.

– Как же ты играл без моста? – спросил пианист.

Но тут появилась педагогиня. Влетела на ковре-самолёте. Она пела, счастливо улыбаясь: «А я иду, шагаю по Москве ...» Голос её слегка дрожал. Из каждой складки её платья торчало по зевочку.

Скрипач с пианистом переглянулись.

– Победа! – сорвалось у педагогини. – Теперь считайте, что мы прошли на третий тур. Победа!

Студентам приятно было слушать педагогиню. Они и не

заметили, как оказались рядом с ней на ковре-самолёте, который, на самом деле, был вовсе и не ковёр, а уж тем более, не самолёт – обыкновенное пуховое одеяло розового цвета. Педагогиня, позевывая, ерошила музыкантам волосы, щекотала за ушами. Да, славная, ласковая педагогиня, ничего не скажешь. *Океан-и-и-лен-и-ности-и-и-неги* обволакивал недавних конкурсантов.

Они мчались. Мимо них пронеслись вихрем Орфей, Паганини, Рахманинов ... Впрочем, кто мимо кого пронёсся, было не совсем понятно. То ли они мимо других, то ли те мимо них. Скорее всего, это они мимо прочих пронеслись, уносились, обгоняли даже. Промелькнула вальсяжная фигура всемогущего председателя жюри, композитора Шванна за ручку с Ледой – скрипач и бровью не повёл. Он наслаждался в нежных объятиях педагогини, умудрявшейся, впрочем, одновременно столь же нежно поощрять и пианиста.

Музыканты возлежали на львиных шкурах. Стены были оклеены стёгаными одеялами. Зевок от гордости едва не лопался. Давно он слился с педагогиней в одно расплывчатое пятно, маслянистое, как растаявший студень.

Вдруг раздался дикий вопль – пятно, опрокинутое страстным скрипачом, придавило голыми ягодицами страницы несыгранной сонаты Гены Оладушкина.

Скрипача с пианистом сорвало с одеяла и понесло вниз. Разом очнувшись, они прокричали обескураженному пятнышку нечто вроде торжествующего прощания.

Приближаясь к густым зарослям крапивы, они увидели упрямый кочан головы Оладушкина с немигающими глазками. Мстительно покрякивая, он рвал аккуратными движениями авторский экземпляр несыгранной сонаты. Негнущиеся линии его музыки, тем не менее, не исчезали, а превращались в вибрирующие ветви диковинной лесной чащи. Звучание нарастало, застилая горизонт, и уносилось то ли в будущее, то ли вглубь уже почти исчезнувших симфонических пауз. Пугающие хоровые всплески манили растерянных конкурсантов.

Они с бессмысленной отчаянностью побежали по затоптанной миллионами ног траве вслед уносившемуся прохладному водопаду звуков, но уже через мгновение поняли, что не бегут, а кружатся и будут вечно кружиться на месте в зеленовато-прогорклом вальсе из сонаты Альберта Шванна. И сам композитор, расправив в изнеможении белоснежные крылья, обречён на безуспешные попытки освободиться от золотистого ремня, накинутаго ему на шею преображённой Ледой – куда же девались её повседневная заурядность, жеманный взгляд? Облачённая в летящие красновато-белые одежды, Леда вовсе и не стремилась привлечь к себе ни мятущегося в смертельной агонии Шванна, ни, тем более, скрипача с пианистом. Она вся уже была во власти западного ветра: с вдохновенной смиренностью прислушиваясь к уже невнятным лебединым клокотаньям композитора и возносясь над плотоядными толпами слушателей, угрожающе обступившими звучащий сад желаний всё ближе и ближе – разрасталась, заполняла без остатка бесконечное пространство, вмещая в себя смрад нарождающихся в истоме обугленных мотивов Шванна, пчелиный гул струнных Оладушкина, зевотно-сладкие валторновые ухабы педагогини, сурдинное презрение скрипача Севы и растерянную жертвенность пианиста Миши.

1974

ОЧЕРЕДЬ

Трудно сказать, кто принёс в консерваторское общежитие эту новость. Повсеместно слышалось примерно одно и то же: «Ты уже был? Нет? Надо обязательно сходить. Говорят, выставка необыкновенная ...»

Эка невидаль, выставка, однако ажиотаж поднялся изрядный. Да и открылась она в соседнем с общежитием здании. Занимаясь в репетиториях, студенты видели из окон взволнованно дышащую очередь на выставку. Тихая улочка за какие-то пару дней преобразилась: уже с раннего утра к ней тянулись толпы людей.

Всеобщее возбуждение невольно передалось и обитателям общежития. Самые нетерпеливые, забросив дела, уже простаивали в очереди. Другие же, в том числе и флейтист Панин, выжидали. Хотя внутри и свербило – выставка, выставка ... Итак, общежитие залихорадило. Нарушился общепринятый порядок проживания в общежитии. Покинувшие общежитие, создавали в некотором роде даже хаос. Благо бы они были все с первого этажа, где жили по три человека в комнате. Так нет, находились отступники с более высоких, с «двухместных», и даже «одноместных этажей». Словом, началось тревожное переселение по другим комнатам. Возможно, и мне в скором времени повезёт, думал Панин, передо повыше, не надо будет тогда простаивать часы в ожидании свободного репетитория.

В то утро, позавтракав, он закурил сигарету и подошёл к окну. Внизу уже, как всегда к этому времени, змеилась и кипела очередь. Энтузиастов не остановил даже сильнейший ливень, пронёсшийся на рассвете. Люди всё шли и шли. Лиц не видно, одни зонтики под морозящим дождём.

Вот из-за угла показалась девушка в красном плаще. Её глаза светились радостью. Без сомнения, она направлялась на выставку. Панин надел куртку и, не сказав никому ни слова, вышел на улицу. У него было ощущение, что эту незнакомую

девушку он и ждал каждое утро, прежде чем на что-то решиться. Тревожный красный цвет плаща, морось, сигарета ... Словом, сошлось каким-то необъяснимым образом всё вместе и ... вот он уже в очереди.

Ему удалось встать вслед за девушкой. Она с интересом вглядывалась в колышущуюся ленту очереди. Видимо, перспектива долгого ожидания её несколько не пугала. Панин её уже где-то видел. Может даже знаком был ... Но где? Так, по алфавиту ...

аргентинка нет армянка капризничала особенно во время беременности в постели всё делала взахлёб с надрывом башкирка стояла в буфете в меховой шапке пахло яичницей и кофе она взглянула узнаваяще из-под шапки и опустила глаза на длинных ресницах дрожали таявшие снежинки разговорились он помог отнести незнакомке покупки до комнаты кофе по сигарете шапка оставалась на голове появилось вино стемнело в постели она по-лягушачьи поджимала ноги потом он долго слушал рассказ о неудавшейся жизни задремал на следующий день в её комнате подружка готовилась к экзамену они долго стояли прижавшись в полутёмном холле мимо пробежали тени припозднившихся студентов бесстыдность её рук лишала рассудка пристроились на подоконнике оборвали занавес на следующий день она уехала или нет пропала а объявилась уже весной тот день запомнился с утра до приезда башкирки он стаскивал почти вечность томительную вечность трусики с удмуртки она стояла перед ним в мини он сидел на кровати удмуртка поощряюще перебирала волосы на его голове соски её маленьких вспотевших грудей сладко горчили башкирка изменила причёску от короткой стрижки голова её вытянулась в постели тонко взвизгивала после её ухода он лежал в постели пахло меховой зимней шапкой заснул очнулся от стука в дверь казашка принесла книгу спросила почему он в постели не болеет ли дотронулась до лба он потянул

её за руку она чуть упираясь легла под одеяло казашку в тот день желал более всего это его удивляло её тоже она ему совсем не нравилась более того казалась отталкивающей крещёная татарка молчаливо красилась вышагивала по полям солнце не хотело садиться забрели на стройку полезли по стропилам вверх целовались у него ничего не получалось повела его домой тоже без успеха прошептала я поняла тебе надо сказать что люблю я тебя люблю ты можешь не отвечать получилось но как-то вымученно потом привык получалось сразу на неё возбуждающе театр действовал придумывала пьесу переодевалась по сюжету и признавалась ему в любви в соответствии с интригой постепенно и ему стало нравиться немка носила в сумочке презерватив на всякий случай он выпал случайно с губной помадой кошельком связкой ключей не смутилась он от презерватива отказался разговаривала в постели об умирающей подруге благодарила за понимание русская была месяц замужем муж оказался девственником училась любить на стороне хотела чтобы её раздевали и говорили комплименты жеманно уходила потом в ванную с кипой белья желала оставаться женственной каждое мгновенье но не получалось торопилась до прихода мужа еврейка деланно смеялась вызывалась его провожать до метро после семейных вечерних трапез с настороженной роднёй поцелуи на прощанье в подворотне у молочного магазина утомляли он мямля затянутые в скользкие материи огромные груди с трудом находил вялые соски она тут же прощалась продолжая смеяться украинка шарила руками ух-ты какой но только около да рядом по животу не раздевалась не целовала он кончал в трусы она снимала с него под одеялом перепачканное бельё и шла в ванную стирать тогда только и замечал катящееся бесполое существо литовка повторяла люблю шампанское особенно в большие дни белозубо улыбалась облизывала потрескавшиеся губы снимала бюстгальтер подзывала его пальчиком мурлыкая расстёгивала ему молнию на брюках корейнка

предупреждала, что убить может и уходила писать в шкаф дрожа от страха и возбуждения он перебежал в её постель и закрывал глаза она возвращалась и с молчаливым остервенением громоздилась сверху

По алфавиту не получалось. В другой раз. И не существенно. Только и осталось в памяти: деталь, другая. Имен даже не помнил. Кстати, очередность букв в алфавите хаотична, подумал Панин. Смысл появляется только при определённых комбинациях. А так, можно тысячи раз повторять одну букву за другой.

Вскоре Панин уже жалел о своём необдуманном поступке. Ледяные струйки дождя затекали с непокрытой головы за воротник. Из окон общежития доносилась музыка. Его товарищи занимались. Дотрагиваясь до флейты, опрометчиво забытой во внутреннем кармане, он думал, что мог бы сейчас тоже сидеть в тёплом репетитории и заниматься. Кроме того, его беспокоило, не промокнет ли флейта. Покинуть очередь? Если бы, конечно, не девушка ... Да и уж если решился, Панин, так не суетись, уговаривал он себя. Некое чувство обречённости, впрочем, тоже не позволяло возвратиться. Откуда оно только и взялось.

Девушка, между тем, с удовольствием вертела головкой. Очевидно, она бы ещё долго наслаждалась своим радостным одиночеством, если бы не одна из двух школьниц, стоявших перед ней.

– Скажите, вы не знаете, что это за выставка? – спросила она.

Нет, девушка понятия не имела. Просто ей очень советовали посетить эту выставку, вот она и приехала. Её приветливость вызвала у школьниц ответную симпатию. Они защебетали, перебивая друг друга. Да-да, представьте, и им сказали, что побывать на этой выставке просто необходимо. Правда, вот что удивительно – у кого бы они ни спрашивали, никто толком не знает ничего о выставке.

Удобный момент вступить в разговор.

– Видите ли, выставка очень интересная, – сказал Панин.

Все трое с любопытством уставились на него.

– Дело в том, что я живу в этом общежитии и вижу, что народ буквально ломится на неё.

– Что же это за выставка? – поинтересовалась девушка.

Панин предположил, что живописи, но пожилой мужчина в кожаной шляпе возразил, мол, ему доподлинно известно, что не живописи, а уникальных керамических изделий. Постепенно в общий разговор включились ещё несколько людей, уверявших кто что: один настаивал на плакатах, другой на финских куклах, третий на прикладном искусстве, четвёртый на художниках-анималистах ...

И вдруг один такой лысенький и кругленький, заговорщицки оглянувшись по сторонам, произнёс простуженным голосом, что там, на выставке ничего нет – обман. Просипел и ... исчез. Пропал, будто его и не было.

Тут началось! Крик, ругань. Возмущение охватило всех, даже растерянно молчавших. Двое вызвались найти лысого и принять соответствующие меры. Единодушно отметили также какой-то странный акцент лысого и нетипичную внешность. Прозвучало предложение об исключении возмутителя спокойствия из очереди и передачи его места более достойному. Словом, событие это ещё долго обсуждалось с необходимой обстоятельностью: кто? с какой целью? почему исчез? И так далее.

Как ни странно, но лысенький всех участников дискуссии в какой-то степени объединил. Можно сказать, даже сплотил. Они решили познакомиться и держаться по возможности далее вместе. Мало ли что. Стоять предполагалось, судя по всему, ещё довольно долго, и каждому из них может понадобиться дружеская поддержка. Впрочем, вскоре они обнаружили, что, собственно, уже вся очередь разбита на подобные группы. Вероятно, сближение людей характерно для любой очереди.

Девушку звали Света. Панин радовался: теперь её хоть можно окликнуть по имени. Не дотрагиваться же каждый раз до безмянной спины в красном плаще. Спины, спины ... Лиц впереди стоящих никто как следует не видел и, оказывается, это очень мешало. Во всяком, случае Панину. Он слышал обрывки смеха, доносились отдельные слова, но всё оттуда, из-за спин, где, казалось, кипит настоящая жизнь, но куда и заглянуть невозможно. Интересно, что стоявшими за ним Панин и не интересовался, более того топорщил, выпрямляя неосознанно спину, словно бы загораживался.

Света была не очень-то разговорчива. Скорее, даже замкнута. Но всё же через какое-то время они с ней познакомились поближе. Панин почему-то с радостью узнал, что она не замужем и не имеет никакого отношения к искусству. Обыкновенная, так сказать, студентка-строитель. Узнав о его профессии, она пригласила Панина встать под зонтик. Странно, конечно. Знак расположения не к нему, а к музыке. Впрочем, не всё ли равно, зато дождь был Панину уже не страшен.

Правда, начали возникать другие непредвиденные проблемы. Очередь оказалась щедрой на них. Скажем, холод. Никто и не предполагал, что придётся всерьёз столкнуться с ним в мае месяце. Да, с обыкновенным холодом, когда промерзаешь до кончиков ногтей. Как ни странно, первыми стали страдать от него молодые девушки. Светина рука так дрожала, что она с готовностью согласилась на предложение Панина перенять зонт. Сама же быстро засунула руки в карманы плаща и передёрнулась от озноба. Когда Панин робко обхватил её за плечи, она благодарно прикрыла глаза.

Удивительно, но очередь никто не покидал даже на короткое время. Несмотря на пронизывающий холод. Впрочем, большинству и греться было негде. В этом отношении Панин находился в более выгодном положении. Не воспользоваться близостью общежития было, по меньшей мере, глупо.

Словом, он набрался смелости пригласить Свету выпить чаю в общежитском буфете. Она смущённо согласилась, оговорив, что да, можно выпить чаю и погреться, только ненадолго.

В общежитии отовсюду звучала музыка. Панину казалось странным, что ничего не изменилось в его отсутствие. Ведь совсем рядом продолжалась иная жизнь – в очереди. Одновременно радовала возможность параллельного существования в двух мирах. А ещё говорили, что покинувших общежитие выселяют.

Они пили чай. Света грела пальцы о стакан и благодарно улыбалась Панину. Время от времени она замирала, прислушиваясь к доносившемуся из репетиториев сонму звуков. Подойдя к окну, они увидели, что очередь почти не сдвинулась. Панин предложил зайти к нему в комнату и выкурить по сигарете. Сняв плащ, Света села на краешек стула. Он заметил, что она всё ещё дрожит, и достал из шкафа серый свитер. Она долго отказывалась надеть его, но, в конце концов, ей пришлось согласиться с его доводами: если она не утеплится, то не сможет достоять до выставки. Аргумент подействовал сразу. Она сняла незабываемым плавным движением жёлтые янтарные бусы и натянула поверх своего чёрного батника грубошерстный свитер флейтиста.

В это время без стука вошёл сосед Панина по комнате.

– Отдыхаете? Ну-ну, не будем мешать. А я, кстати, переезжаю завтра наверх. Вовка уже сегодня перебрался, так что ты теперь пока здесь один хозяин-барин, – ухмыльнулся он и, положив скрипку на кровать, вышел.

Света заторопилась. Уже у двери Панин обнял её.

– Останься, – сказал он.

– Нас же ждут.

– Нас никто не ждёт, – Панин щёлкнул задвижкой на двери.

– А как же выставка? – В её голосе не слышалось уверенности.

– Ну её к чёрту ...

Панин тянул её к кровати. Она не сопротивлялась.

– Я хочу от тебя ребёнка, – сказала она, когда всё кончилось. Панин закурил.

– Что ты молчишь, – повторила она, – я хочу от тебя ребёнка.

Панин не знал, что ответить. Он был первый мужчина в её жизни. Башкиркаеврейкаудмуртка и весь остальной ряд знакомых ему женщин улетал, испарялся во мгле.

Их возвращению в очереди искренне обрадовались. Они остались верны, не бросили, вернулись, так сказать, в стройные ряды стоящих. На них стали смотреть даже как-то ласковее, будто взаимная симпатия молодых помогала остальным переносить всевозможные тяготы. А Панин не на шутку всё больше привязывался к Свете. Казалось уже чем-то естественным находиться постоянно около неё, предупреждать её желания, заботиться, оберегать от слишком назойливых собеседников.

О выставке и не вспоминал. Это само собой разумеющееся – достойм как-нибудь когда-нибудь. Чего торопиться. Тем более, что Панин вообще не выносил выставок. Нечто на показ, искусственно собранное, противоприродное. Выхваченное из ряда, особый род хвастовства, насилие над смотрящим, мелодия сплошных акцентов. В конечном счёте – магазин на продажу. Не ты предпочитаешь, выбираешь, а некто за тебя. Можно дойти до маразма и выставлять губы, носы, улыбки. Для чего ты выставляешься? – вправе мы задать вопрос тщеславному автору. При этом, невольно как бы примеряя и себя в качестве то ли воображаемого автора, то ли экспоната. Потому и добровольно встаём в очередь на очередную выставку, где нас ждут толпы таких же как мы сами, бредущих по выставочным залам людей. Моментально глупеющих, не умеющих ни на чём сосредоточиться. Не зря кто-то сравнил выставки с кладбищами.

Есть вещи поважнее. Света хочет от него ребёнка. Вот в чём необходимо разобраться. Только времени нет. Холод, холод ... Очередь продвинулась самую малость и втиснулась в узкую полосу асфальта между большой глубокой лужей и мокрым колючим кустом акации. Не пошевеливаться. Внутри всё заледенело. Света мёрзла особенно сильно, у неё совершенно

промокли ноги. Она шутила, что может безболезненно стоять и в середине лужи.

В репетиториях общежития стали зажигать свет. Панин узнавал знакомые силуэты. Студенты занимались. Музыка, правда, слышно не было. Всё заглушал мерный шум дождя. Впрочем, желавшие послушать хотя бы приглушённые звуки музыки, могли подойти вплотную к окнам общежития, но меломанов в очереди почти не оказалось. Это и понятно, не очень то большое удовольствие наслаждаться музыкой под дождём. До музыки ли, когда холод пронизывает всё твоё существо. Одно желание – согреться. Тут уж так: или очередь, или музыка. И всё же радостно было сознавать, что музыка звучит где-то совсем близко.

В окнах появились любопытствующие физиономии. Панин вспомнил, что из окон общежития очередь выглядела обманчиво привлекательной, змеилась, искрилась сквозь морозящий дождь: разноцветная комета, уносящаяся вдаль, словно начальная мелодия из Итальянской симфонии Мендельсона. Кто же знал, что в действительности она прожорливо набухла изнутри, причмокивая и втягивая всё и вся под почти неслышимый прыгающий ритм. То вдруг выталкивала с искорёженным оскалом лишних. Благо, одурманенных тошнотворно сладким запахом неведомого не убавлялось.

Положение, между тем, становилось критическим. У многих начался насморк, поднялась температура. Но никто очереди не покидал. Они приближались к первому барьеру. Казалось, стоит его проскочить, и ... там уже недолго. Панин пытался согреть Свете руки, дул на пальцы, но это почти не помогало. Сейчас бы попрыгать, элементарно подвигаться. Так эта проклятая лужа ... Оставалось ждать. Они с завистью смотрели издали на тех, кто уже обошёл лужу и прыгает, согреваясь.

Кроме того, многие приспособились греться в стеклянном вестибюле общежитского клуба. В сам клуб никого не пускали, там шёл концерт камерной музыки. Покупать билеты? Да кто пойдёт на концерт, если можно прозевать свою оче-

редь. Можно было бы по студенческому пройти. Но оставить Свету одну? Нет, у Панина и мысли такой не возникало.

Как только они выбрались из плена лужи, то отправились греться. В стеклянной коробке вестибюля люди стояли вплотную друг к другу. От тепла и усталости Свету разморило, она положила голову на плечо Панина и уснула. Флейтист вдыхал слабый запах её духов, прислушивался к едва слышному посапыванию и чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Вот она вздрогнула, открыла глаза и ласково улыбнулась ...

Вдруг толпа качнулась, и сразу же раздался звон стекла, за ним сдавленные крики. От напора людской массы в одной из стен выдавило стекло, и в образовавшуюся дыру упал мальчик лет шести. Верхняя громада стекла угрожающе нависла над ним. Люди расступились в немом ужасе. В образовавшемся коридоре лежала в обмороке мать мальчика.

И вот тут Света, робкая нежная Света, в одно мгновение оказалась около стены, просунулась в дыру, и, приподняв окровавленную голову мальчика, вытащила его оттуда. В наступившей тишине послышался треск разорвавшейся ткани плаща, а через пару секунд обвалилась верхняя часть стекла. Толпа повалила на улицу. Судорожные попытки Панина прорваться сквозь охваченную паникой массу закончились плачевно. Через стекло лишь увидел, что растерянно оглядывавшейся Свете перевязывают рану на ноге и уносят в клуб.

Раскрыл зонтик, закурил. Вот она какая, Света, удивлялся Панин. И что важно – она теперь в безопасности. Вход в клуб, правда, завалило, но не беда, можно через общежитие. Рука невольно потянулась к флейте. Самое время зазвучать музыке. И слов не надо. Забрезжит ре мажор и ... дождь истает.

Неожиданно очередь подалась вперёд. Панин бросился в толпу и едва нашёл в двигавшейся массе своё место. Очередь! Разве можно потерять своё место. Света подлечится и вернётся. Она так хотела на выставку. Флейту он вновь спрятал.

Сыграть можно будет потом, вся жизнь впереди. И жизнь, и музыка. Лишь бы Света скорее вернулась.

Между тем, в очереди что-то изменилось. Сразу и понять было нельзя. Люди стали вроде бы менее откровенны друг с другом. Всё молчком, да с недомолвками. Подозрительные взгляды, тревожные настроения. Перекошенные лица. Да, лица изменились, вытянулись, исхудали что ли. А вскоре начались и ссоры. Вспыхивали они из-за появления в очереди совершенно незнакомых людей. Взаимообидное выяснение правомерности их пребывания на том или ином месте разрушало бывшее единство.

Масла в огонь подливали и нелепые, порой чудовищные слухи: так, кто-то сказал, что видел мужчину в кожаной шляпе за первым барьером. И пошло-поехало ... Если это правда, – нам то он сказал, что идёт греться, – то каким образом ему *это* удалось? Ну, и так далее ... Достаточно стало любого пустяка.

Новое ЧП – пропала одна из школьниц. Версия такая: не выдержала холода и покинула очередь. Или попросту, отказалась от мечты попасть на выставку. Заплаканные глаза другой школьницы явно свидетельствовали о её готовности последовать за подругой. Панин сжал понимающе её холодную ладошку. Она вцепилась в его руку и уже не отнимала ни на секунду. Надо признаться, Панину нравилось ободряюще тискать её узкую ладошку.

Уже давно стемнело. Света всё не возвращалась. Но Панин всё меньше и меньше вспоминал о ней. Иногда, впрочем, он принимал школьницу за Свету. Они стояли тесно прижавшись. Какая разница, кто рядом, если тебе теплее. К тому же, она была значительно миниатюрнее Светы. Панин часто брал её на руки как ребёнка. Вспоминал о желании Светы родить. Школьница хотела тоже детей. Что за напасть такая у женщин. Зачем им плодить себе подобных? Чтобы гнить потом в очереди? Надо бы вначале в самой очереди разобраться. Что за слово *очередь*? Очи? Очень? Черёд? Мысли путались.

Теперь уже школьница теряла силы на глазах. Надо было что-то предпринимать. Но что и как? Передав её, едва стоявшую самостоятельно на ногах, в руки молодого человека в беретке, болтавшегося без места в очереди, Панин направился на разведку. Громко, конечно, сказано – разведка. Всё его хождение имело только одну примитивную цель – найти впереди в очереди знакомых. Однако поиски оказались безрезультатными.

Возвратившись, Панин с ужасом обнаружил исчезновение школьницы. Да и вообще не мог найти почти ни одного знакомого лица. Все поменялись. Ничего не оставалось, как побрести вперёд, к первому барьеру. Начинало светать. К его удивлению, у первого барьера сновало много таких же, как и он, отчаявшихся неудачников. Некоторым удавалось из-за неразберихи пристроиться в очередь и проскочить барьер, охраняемый милиционером и женщиной-добровольцем в глубоко, до бровей надвинутой кепке. Женщина проверяла проходящих с гораздо большим рвением, чем милиционер. Практически он лишь чисто символически присутствовал, стоял в сторонке и безмятежно прикладывался время от времени к бутылке. Около них кружил мальчонка ещё дошкольного возраста. Мальчонка-то на самом деле и был пружиной контроля. Подбегал к женщине, шептал ей на ухо и – начиналось ... Мальчишка был омерзительно вёрткий, скалящийся. И кого-то очень напоминал Панину. Он мог даже поклясться, что его знает. Или знал раньше. Все его увёртки, ужимки, внезапно останавливавшийся взгляд ... Благодаря его помощи, женщине удавалось не раз излавливать внеочередников. Невозможно было смотреть на их лица, когда безжалостная толпа выбрасывала их из очереди. Да, всё делала толпа. Женщине оставалось лишь указывать на жертву.

Видимо, Панина ждала подобная участь, но другого пути не оставалось, как только попытаться влезть под непрекращавшийся шумок в очередь. Но как? Лица людей так суровы.

Неожиданно Панин увидел в двигавшейся очереди спасённого некогда Светой мальчика. Он превратился уже в юношу. Но голова его была по-прежнему забинтована. Их взгляды встретились. Парень что-то шепнул матери, и она взглядом показала, чтобы они становились к ним. Панин обменялся со своей спутницей улыбками, – да, он вновь держал за руку какую-то женщину, – они его узнали! Откуда? Всё странно в этом мире. Удивительно, но никто не стал шуметь и возмущаться. Пожалели? Или сделали вид, что ничего не заметили. Пронесло, пронесло, всё чудесно ...

Показался заветный проём в барьере. В это время мальчишка подбежал к матери и стал ей что-то нашептывать. Женщина обернулась и направила указующий перст на Панина и его спутницу. О боги, это была Света ... Невидящим быстрым взглядом она оглядела спутницу Панина, затем его самого и ... отвернулась. Не узнала. Неужели он так изменился? Между тем, поднялся крик. Панин доказывал надрывно, что они стояли. Милиционер, отложив бутылку, флегматично закрыл проход. Сзади продолжали надавливать, образовалась пробка. Послышался призыв ломать барьеры. Возмущались всё дружнее и решительнее. Очередь приходила в неистовство. В разных местах вспыхивали драки. Воспользовавшись суматохой, люди, стоявшие, как и Панин, в стороне, смело кинулись в толпу. Очередь расползлась в неуправляемую хрипящую массу. Послышались милицейские свистки, топот сапог.

Панин почувствовал, что уже не сжимает пальцев своей спутницы. Она пропала. В отчаянии он попытался выбраться из свалки, но ему это не удавалось. Милиционеры ударами резиновых дубинок восстанавливали порядок, выстраивая очередь по два человека в ряд. Панину в пару попала полная мулатка. Как ни искал он глазами, как ни оглядывался вокруг, прежняя его спутница будто сквозь землю провалилась. Что делать, пришлось взяться за руки с мулаткой. Самое смешное, что из очереди теперь выйти было невозможно. Толпа бы его растерзала. Оставалась надежда, что ей, – Свете ...

школьнице ... спутнице? – им ... удалось уже проскочить барьер, и они подождут его у выхода с выставки.

Выставка ... многие уже забыли о цели своего пребывания в очереди. Лишь бы выстоять. Любой ценой. А мальчишка тот уже не мельтешит у барьера. И Света вновь исчезла. Какая она стала жёсткая, другая – в этой кепке мужской. А когда-то ведь хотела от него ребёнка. И школьница хотела ... Стоп! Ребёнок ... этот мальчишка, нет, не может быть, такой отвратительный ... но ... неужели ... да, всё сходится ... не знал, что его ... сын ... конечно, оттого и узнаваемо было в нём всё, словно в зеркало смотрелся ...

Вот и первый барьер позади. Настроение явно изменилось. Послышались вновь шутки, даже смех. Неужели это те же самые люди, что недавно бились озлобленно друг против друга? А теперь костры разжигают, одежду сушат. Дождь кончился, и хоть глубокая ночь, но тепло, даже парко. Пахнет рекой. Люди разоблачались бесстыдно, до нижнего белья, началась постирушка всеобщая, купанье в реке. Кто мёрз то недавно? Жарища. Так приятно по влажной траве босиком ступать. И не дышит больше никто в спину. Всё больше круги выписывают вокруг костров, шашлыки жарят. Круги пересекаются кольцами, распадаются, вновь сплетаются. «Всё так просто, всё так просто ...», – не устаёт, восторженно смеясь, кричать милиционер, перебегая вприпрыжку от одного костра к другому и обнимая встречаемых. Он уже без погон, без форменной фуражки. Эйфория, так сказать. Правда, какой-то чудака, стоявший позади Панина, предложил в знак протеста не ходить на выставку. Но после неопределённой возни и каких-то сдавленных хрипов, голос чудака стих. Панин даже не обращивался. Неимоверная усталость обрушилась на флейтиста. «Устал, устал, устал ...», – твердил он про себя, с трудом переставляя ноги.

Мулатка оказалась поактивнее Панина, она без слов, одним движением причмокивающих толстых, ярко напояженных губ, указывала направление. Всё-таки они двигались, каждый на своём месте, со всеми их неурядицами, дождями,

кострами, кругами и спинами ... По существу, конечно, двигалась очередь. Но и он вместе с ней, на своём месте, которое уже и выбирать не надо, она сама всех по местам распределила. И не обидно ни капельки: действует невидимый закон равноправия – сегодня-завтра-сегодня-завтра. Они и сами стоят друг за дружкой, только попробуй, разберись с ними – завтра-сегодня-завтра ...

Жизнь в очереди, между тем, и в самом деле клокотала. Вспомнили даже, что Панин флейтист, попросили сыграть. Людям захотелось музыки. Панин вытащил флейту. Она отсырела и, несмотря на все его попытки, издавала какие-то кошачьи звуки. Тем не менее, люди слушали, и даже с удовольствием. Это было, по меньшей мере, странно – принимать кошачьи звуки за музыку. Панин играл и думал о башкирке, удмуртке, корейке, русской, татарке, мулатке, еврейке, латышке, украинке, о спутнице, о школьнице, о Свете ... Для Светы в своё время он не сыграл ничего. Тогда и мог по-другому, и музыка была музыкой ... Ни для кого, впрочем, не сыграл. Даже для себя, всё готовился, приготавливался к чему-то. Учился составлять звуки, наивно мечтал о самовыражении. А теперь всё внутри застыло, никаких чувств и желаний. Света оказалась мудрее. Робкая, нежная, жестокая? Конечно, она выполняла долг, чтобы ... чтобы не порвалась некая последовательность? И всё превратилось бы тогда в хаос ... а так вначале спасла одного, затем расправилась с другими. С помощью его сына ... хаос, хаос ... цепь, цепочка, цепи ...

Второй барьер находился уже непосредственно у входа на выставку. К всеобщему удивлению сбоку от второго барьера имелся ещё один вход на выставку. По специальным пропускам. Обладателей пропусков было значительно меньше, чем прочих, но тоже вполне достаточно. Некоторые из них с жалостью поглядывали в сторону очереди, однако, большинство будто и не замечало основной массы людей. Разумеется, этот дополнительный вход был несправедливостью по отношению к ним. Но удивительно, что люди в очереди уже

не так злобно реагировали на несправедливости, словно со временем обрели терпение. Кроме того, казалось, уже совсем немного осталось ждать.

Наконец-то, наконец, Панина с мулаткой пропустили через второй барьер и подвели к заветной двери на выставку. По лестнице они спустились в полуподвальное помещение, оттуда тёмный путаный коридор привёл в тесную комнату. Там им объяснили по радио, что на осмотр даётся пять минут.

Перед входом в выставочный зал лежала тряпка, о которую все вытирали ноги. Машинально посмотрев вниз, Панин вздрогнул – это был его серый свитер, грязный, затёртый сотнями ног. Значит, Света уже была здесь? С сыном? С их сыном?

Сзади толкнули в спину и Панин, чуть не упав, оказался в выставочном зале. Это была выставка зеркал. Овальные, круглые, квадратные, каких только форм не было. Зеркала развесили на высоте человеческих лиц. В зале стало тихо. Ошеломлённые посетители, растерянно оглядываясь, рассматривали поневоле зеркала, но видели в них только самих себя, своё отражение. И Панин тоже. Из всех зеркал смотрел на него седой, измождённый мужчина с лицом его сына. И для этого, значит, стоял, ждал, надеялся ... Теперь смотри на мерзкого старика-ребёнка, любуйся, узнавай ... что это? Зачем ... Вспыхнуло молнией лицо светыбашкиркудмурткикорейки ... И погасло.

Вначале прыснул кто-то тихо, робко. Его подхватил истерический смешок в другом конце зала. Вскоре смеялись все, но как-то странно, на опасном пределе, когда смех перерастает в спазматическое клокотанье. Дикое невообразимое буйство понеслось по залу. Многие со злорадным ликованием обнаруживали в форме зеркальных рам контуры звёзд царя Давида, другие – линии распятия, третьи – мусульманский полумесяц ... Люди скидывали с себя одежду и в остервенении швыряли её в зеркала, ударяли по ним зонтиками, портфелями, шариковыми ручками, губной помадой ... Панин

запустил в ближайшего сына-старика флейтой. Но странным свойством обладали зеркала – они не бились.

Внезапно погас свет и над выходом, как в самолёте, зажглись буквы, указывавшие направление. Одним из первых Панин выбежал на улицу. Вновь дождило. Многих рвало. Никто его не ждал. Вот и хорошо. Одно желание – прочь!

Перед входом в общежитие ровные ряды ожидающих. Теперь уже и в прежнее его общежитие просто так не попасть. Ну и дела. Кордоны, барьеры. Подошёл к своему бывшему окну. На форточке висели забытые Светой янтарные жёлтые бусы. Обманчивая размеренность бусин напоминала очередь. Куда же идти? Ах да, из репетиториев доносились звуки. Не угодно ли музыки?

1977

РУКИ

Рояль притаился в зыбкой синеве осенних сумерек. Большой и осторожный, он казался чужим в этой комнате. Тусклая темнота закрытой крышки пустынно пропадала в совсем уже почерневшем углу. Бесчисленные статуэтки, фарфоровые вазы, хрусталь, фотографии, кружившие по стенам, полированным столикам, сервантам, полочкам только подчёркивали его нелюбимость, отдельность от всего остального.

Вагин дремал на диване возле огромной вьетнамки Мин-Мин под фотографией, где он был снят во весь рост за дирижёрским пультом. Почти на всех остальных снимках тоже был запечатлён он, ещё молодой, улыбающийся. Лишь взгляд хранил затаённое недоверие перед злополучным щелчком фотоаппарата.

... он прогуливался по парковой аллее. Встречные прохожие, одетые, как и он в смокинги, непременно обращали внимание на мальчика, лежавшего животом вниз на поляне. Маленькие его пальчики сжимали нежно шелестевшие сухие листья. Вокруг мальчика в беспорядке стояли стулья.

Вагин открыл глаза и долго смотрел на муху, торопливо ползавшую по его налившейся теплом руке. Пальцы изогнулись в свободный полукруг. Невесомое существо в беспокойстве добиралась до самого кончика указательного пальца, переползала на другой, вновь настороженно приостанавливалась, крутилась на одном месте, замирала, колдовала лапками.

А ведь вправду, скоро зима. Чувствует муха свою близкую кончину, чувствует. Только зачем же суетиться? С достоинством, с достоинством ... Впрочем, что это он о мухе, чушь какая-то. Муха как раз преодолевала вздувшийся бугорок вены на кисти, когда Вагин шевельнул пальцем, и она пропала в густеющем воздухе. «Свалка никому ненужных костей!» –

внезапно рассердился Вагин и сжал в отчаянии пальцы. Вид собственных разморено застывших рук неожиданно возмутил его. Вялые, безвольные, они будто укоряли Вагина в чём-то постыдном. Он знал, что вскоре, как только он встанет, пальцы начнут мёрзнуть – всё тепло ведь только от Мин-Мин ... Холод обычно пробирался от кончиков по фалангам вверх к ладоням и тогда подступала слабость, омерзительное состояние беспомощности.

Вагин слышал, как гудят мухи, по-осеннему бешено бросаясь из стороны в сторону. Сбросил с себя тяжелые руки вьетнамки, опустил ноги на пол, нащупал тапки и, опёршись руками о диван, отчего широко распластались ладони, шагнул, оттолкнувшись, к роялю. В сумеречном воздухе этих тварей не разглядеть. Вагину казалось, будто движется вся крышка инструмента. Он взмахнул рукой – покружив в воздухе, мухи вернулись на рояль. Вагин взмахнул решительнее, а потом ещё и ещё.

Как черви! Черви и есть ... Они чуют. Ах нет, какие там черви, мухи ... По его рукам ползали, проклятые ... неужели он так плох? ... Вагин стоял у рояля и не давал садиться на него ни одной мухе. Если бы кто-нибудь заглянул в комнату, то подумал, что маэстро разучивает современную партитуру без метрических указателей. Он устало присел на стул у рояля, положил руки на закрытую клавиатуру, опустил голову на руки.

Так сказать, дирижёр, иронично подумал о себе Вагин. Разницы почти никакой – мухи, люди ... И рояль какой-то враждебный, молчащий в этом сонме летающих струн, в пустыне иссохших листьев.

... мальчик лежал на листьях и наслаждался шелестящими голосами. Вагин видел, как подрагивает спинка мальчика. И рояль не рояль – осенний лист, не более. Вагин потянулся рукой к вспыхнувшему рыжиной, исчезающему в дымном гуле роялю.

Звонок заставил Вагина вздрогнуть и вытащить затёкшие руки из-под головы, осмотреться. Тень Мин-Мин промелькнула на кухню. У входной двери он ещё некоторое время прислушивался, хотя мог почти с полной уверенностью сказать, что рука, нажавшая кнопку звонка, принадлежит его аспиранту Кузовкину, ибо только она могла родить из резкого дверного звонка эдакое прерывистое как икота дребезжанье. И пришёл последний предложить своему обожаемому учителю скромные услуги по части поддержания оногo во время прогулки, дабы оный не упал по причине своей слабости, что грозило бы ученику незаконченным образованием ...

Вагин дождался ещё одного робкого звоночка и сразу же, рывком открыл дверь, пытаясь застать посетителя врасплох. Ну, конечно, так и есть – на лице Кузовкина застыло испуганное выражение. Вагина это не удивило: он видел на лице своего аспиранта чаще всего именно это выражение. Можно было подумать, что, приближаясь к своему профессору, тот всякий раз ждал подтверждения собственной незначительности, которую и не пытался скрывать под маской хотя бы застенчивости или на худой конец – нахальства. Напротив, он подчёркивал со всем старанием свою случайность, – да-да, случайность, ни больше, ни меньше, – в этом пугавшем его мире музыки, где отважность, на взгляд Вагина, была нормой поведения, а профиль таланта напоминал прочерк молнии. Старого маэстро раздражало постоянное самоуничужение ученика, и он в сердцах частенько ему всё высказывал, чем приводил бедного аспиранта в паническое состояние ужаса. Мертвенная бледность покрывала лицо Кузовкина, когда буревший от гнева Вагин кричал: «Вы обязаны чувствовать себя конгениальным, да-да, конгениальным Моцарту, Бетховену и иже с ними! Иначе нечего брать в руки дирижёрскую палочку!» И тут же, замешкавшись, менял тему. Сам то он так ни разу и не посмел себя ощутить конгениальным Моцарту, легко ляпнуть – сравнись ...

Вагин понимал, что дирижёра из Кузовкина не получится. И не только из-за отсутствия ловкости при работе с партитурой. Кузовкин проявлял неслыханную наивность в общении

с оркестром, вернее с оркестрантами. А с этими головорезами, этими бестиями нельзя простодушничать. Даже если ты и на самом деле простачок. Он через это всё прошёл, испытал миллион раз на собственной шкуре. С того первого раза, ещё в гражданскую, когда его, шестнадцатилетнего валторниста, комдив заставил махать руками перед оркестром. И попался Вагин комдиву, что называется, случайно под руку: в панике ожидали верховного главнокомандующего Троцкого, а вахмистр-дирижёр с перекошенным лицом метался второй день у дальнего леса с приступами дизентерии. Вот судьба поносная и развернулась к юркому валторнисту. Будешь просто отбивать такт, это приказ, – отрубил комдив. С тех пор пошло-поехало, хотя и не нравилось никогда. К каким только ухищрениям не прибегал поначалу Вагин, чтобы не вставать за пульт. Ничего не помогало: уловки странным образом укрепляли его репутацию. А потом еврейского сироту и сына революционного полка послали учиться в консерваторию.

Разумеется, он слышал всё дьявольским образом, каждую подробность, малейшие нюансы, не говоря уже о фальшивых нотах. С той недели во время погромов, проведённой им в погребе соседского дома. Тогда он и научился, четырёхлетний, не только отличать звуки реального мира – душераздирающие вопли, надрывные стенания, криканы, придыхания, осторожные поскрипывания – от угрожающей, засасывающей тишины. Осознал раз и навсегда и слитную неразделимость звукового хаоса со страхом, голодом, равнодушием, надеждами ... Ощутил неохватность, безмерность этого хаоса.

И когда впоследствии, удивляясь собственному умению привести в единство разнородную оркестровую массу, – заставляя её двигаться в необходимом направлении, или пускаясь с ней в рискованные авантюры, или затаясь в паузах и затем сострадаельчески жалуясь, – он всякий раз вспоминал свой «недельный университет». Иллюзорная власть, впрочем, его мало радовала. Если бы только управлять звуковыми линиями, переплетать, переплетаться, проваливаться в почти бездыханное безмолвие, замирать, вновь захлёбываться в экстазе, но ... без жалких этих оркестрантов, не понимав-

ших своей истинной свободы – быть частью целого. Он и выучился играть почти на всех инструментах в надежде спрятаться, остаться одним из них, однако приходилось управлять, приводить во временное согласие враждебные жизненные орбиты, несовпадающие ритмы, настроения, взгляды, спёртое дыхание оркестрантов. Невозможно, тем не менее, привыкнуть к холодной отстранённости чужих глаз, вливающихся в тебя. И всякий раз преодолевать или недоверие, или чрезмерную успокоенность, или нежелание общаться, или равнодушие, или усталость ... Профессионализм, конечно, рутина. Но за ним не спрячешься, оркестрантам нужен театр, примитивные преувеличения, эмоциональные силки, обманый восторг, и ... точная репетиционная тактика.

Нет, Кузовкин пропадёт на первой же самостоятельной работе. Но учить его приходится, так как он поступил в аспирантуру по целевому месту откуда-то из провинции. Справедливости ради следует отметить, что учеником он оказался весьма прилежным и, что самое неожиданное, – преданным товарищем. Кузовкин и раньше ходил за ним по пятам, просиживал все репетиции, бегал по пустяковым поручениям в филармонию, подавал под насмешливыми взглядами оркестрантов пальто, но всё это казалось Вагину не всегда искренним. В последнее же время, после внезапной смерти жены, когда Вагина свалила с ног болезнь, Кузовкин оказался тем незаменимым человеком, что так необходим каждому в минуты горя и слабости. Он приходил к Вагину ближе к вечеру, терпеливо помогал одеваться и осторожно вёл его под руку на улицу. Они словно поменялись ролями: шатавшийся от слабости Вагин теперь сам нуждался в поддержке, однако неожиданное изменение сил в пользу Кузовкина не сказалось на его отношении к своему учителю. Кузовкин по-прежнему с пугливым обожанием смотрел с высоты своего роста на маленького сухонького профессора, благодаря судьбу за счастливую возможность помогать этому, как он был уверен, великому человеку.

Вагин предпочитал его молчаливое общество всем своим многочисленным коллегам, ученикам и знакомым с их бес-

конечными соболезующими интонациями. Он никого не хотел видеть, отключил телефон и общался по необходимости только с врачом и вот с Кузовкиным. Ах да, Мин-Мин, её вроде бы привёл тоже Кузовкин. Или она появилась до Кузовкина? Да-да, намного раньше. Вагин не понимал, в каких она отношениях с Кузовкиным, знакомы ли они, любовники ли ... Впрочем, он и в своих отношения с Мин-Мин никогда не мог разобраться. Она просто находилась всегда рядом с незапамятных времён. С того жёсткого толчка материнской руки, заставившего его скатиться в соседский погреб во время погрома. Руки прежде всегда такой ласковой ...

Сегодня Кузовкин был явно взволнован более обычного. Его на редкость красивые, длинные пальцы теребили нервно пластинку. На узкой, почти всегда бледной ладони, впрочем, никогда, даже после активного дирижирования, не взбухали голубоватые вены. Кровь будто не доходила до подвижных пальцев, постоянно что-нибудь сжимавших или перебиравших. В них не ощущалось и холёной уверенности, позволившей бы им иногда спокойно в праздной лени лежать на коленях, или быть небрежно засунутыми в карманы брюк. Или, предположим, так же небрежно вытащить из пачки сигарету и поднести к ней усталым привычным движением зажигалку. Даже быстрота, с которой Кузовкин застёгивал по обыкновению собственное пальто, была какая-то извинительная и не под силу его пальцам, ломавшимся о петли и пуговицы.

Вагин знал, что руки выдают человека в гораздо большей степени, чем лицо или глаза. Они честнее, не скрываются под масками различных выражений, не могут спрятаться, даже если бы захотели. Вагин любил разгадывать характеры людей, наблюдая приспущенными раскосыми глазами за их руками: как они держат чашку, пишут, жестикулируют, приветственно взмахивают ладошкой, или протестующе защищаются, слушают, скучают, потягиваются, обнимают, прикасаются с нечаянной нежностью – бесконечная череда оттенков, тончайших модуляций.

А уж игра на музыкальных инструментах: тут маэстро до-

статочно было лишь взглянуть на руку, державшую виолончельный смычок, на приподнятый крючком мизинец пианиста, на зажатое запястье тромбониста – ещё до первого звука – чтобы уже предвосхитить жёсткий или округлый тон. Пухлые, узловатые, с утончёнными кончиками пальцев, с сухой ладонью, с пальцами-сардельками, мягко-витиеватые, жёстко-сухолявые – руки таили в себе готовность к преобразению – они менялись в самое последнее мгновение перед извлечением звука. Дирижёров руки выдавали ещё больше. Не спасала и мимика. Учеников на экзаменах он старался слушать, прикрыв глаза, тем не менее, никогда не ошибался: обязательная симфония Гайдна преображалась до неузнаваемости. Вот расхристанная скрипучая вольница Бенедиктова, а это – правильные округлые затакты Васильчикова, теперь зазвучали астматические несовпадения Наумберга, за ним вязкая тягомотина Зубаирова, углы и синкопы Ахмерова, согбенное осторожничанье Утятинина ...

Вагин часто повторял своим ученикам: недостаточно самим верно ощущать музыку, важно сделать её ощутимой для других. То есть набрести на нужные пути-дорожки, опереться на тот или иной акцент, накопить градусы недовольства в запертом динамическом пространстве, чтобы затем выпустить на иллюзорные просторы свободы сонм опьяневших пассажиров и ... оставить их одних. Перестать дышать, двигаться, как бы перестать ... Словом, подарить пространству счастливые мгновенья энергетического коллапса, мираж стихийного всевластия, когда каждый и на сцене, и в зале ощущает не только долгожданное единство со всем сущим, но и ещё более вожаделенное, и всё же всякий раз неожиданное авторство нарождающейся звуковой реальности. Разумеется, до поры до времени, до поджидающего вдали дирижёрского жеста – и вот уже безудержный экстаз покорно завис в ностальгически светлом тумане ...

Пальцы Кузовкина теребили пластинку, которую Вагин сразу же узнал по обложке. Он записал её ещё до войны, и волнение Кузовкина было ему понятно: как это его учитель, знаме-

нитый симфонический дирижёр, объездивший полсвета, мог снизойти до «лёгкого жанра», до эстрадного оркестра? Нет, он ему ничего объяснять не станет, что можно объяснить словами? Но почему невыносимо видеть эти сумасшедшие, бегающие по пластинке бледные пальцы?

– Да, это моя запись, – сказал Вагин и тут же рассердился, что это у него прозвучало как признание чего-то такого, что надобно скрывать.

Прошёл в комнату, сел, помолчал. Голая Мин-Мин ходила, потягиваясь, по комнате. Обняла одной рукой задрожавшего Кузовкина, другой поглаживала Вагина. Какая же она огромная, подумал Вагин. Кузовкин как ребёнок в её руках ...

– Можем послушать, – пробурчал он. И опять как-то не так сказал и почему-то в растерянности опустил глаза на колени, прикрытые толстыми пальцами.

В его одной ладони могли бы свободно уместиться обе Кузовкина. Когда после концертов ему дарили цветы, то, взяв их в руки, он прятал там почти всю длину стебля. Вагину трудно было даже предположить сейчас в этих огромных кистях с устало распластавшимися пальцами на коленях хотя бы малейшую способность к собранности дирижёрского жеста. Вагин смотрел отстранённо на свои руки и удивлялся, как это его колени выдерживают такую тяжесть. Руки, где в каждой морщине, как кусты в ложбине, прятались годы и годы, где каждая перепонка между пальцами кричала о так и не достигнутом совершенстве, а пульсирующий бугорок вены безучастно провожал мгновенье за мгновеньем в немоту.

Пока Кузовкин возился с проигрывателем, Вагин пытался вспоминать. Вроде бы только в его власти вытаскивать из неких тайников города и лица, или, с осторожностью коснувшись того или иного события, пройти мимо, сдерживая от волнения дыхание. Однако, он не чувствовал себя хозяином в сумятице лет и событий, точку отсчёта в которых можно было отыскать теперь, по истечении времени, лишь благодаря музыке. Воспоминание подчинялось лишь определённым

ным звуковым фрагментам, они становились призмой, сквозь которую он вглядывался в прошлое, и где всё связывалось с этими отрывочными эпизодами уже навсегда. Поразительно, что сама музыка, звуча неким ориентиром, окрашивалась в новые тона, вернее в ней раскрывалось нечто ранее недоступное, суть произведений обнажалась с неожиданной стороны, укоряя Вагина в былой легковесности, которую он принимал тогда за талант.

Наблюдая за приготовлениями Кузовкина, Вагин волновался. Тяжёлые, неподвижные пальцы, лежавшие до этого устало на коленях, с необыкновенной ловкостью и поворотливостью нашли друг друга и скрестились в напряжённом объятии. В стихию звуков старый дирижёр мог погружаться без остатка только организуя себя вот таким положением рук для некоего ритуала, когда всё должно быть объединено и подчинено единому пульсу исчезновения или неприятия, и не могло быть ничего отдельного, состоящего из частей тела, а уж тем более – ботинок, пуговиц, манжет ... И не имевшего никакого отношения к рутинно-оценочному слушанию вполуха.

В тот далёкий вечер гобоист оркестра повёл его после концерта в маленький ресторанчик в центре Львова, обещая сюрприз. Этим сюрпризом оказалась Эми, или как её тогда объявили: «Эмилия Лимбург в сопровождении инструментального ансамбля!» Она пела еврейские народные песни.

Львов совсем недавно «осоветился», и Вагин гастролировал там впервые. Он в то время был уже знаменит и, когда Эми получила приглашение к его столику, матовое её лицо зарделось от удовольствия. Она вообще не умела скрывать своих чувств. Он до сих пор помнит улыбку, с которой она шла к его столику: в ней смешались растерянность, любопытство, а может и тщеславие начинающей артистки. Трудно разобраться в улыбке незнакомой женщины, если она едва дрожит на лице, грозя исчезнуть при малейшей опасности.

Эми смотрела на Вагина без всякого кокетства и желания понравиться и от этого нравилась ещё больше. Да что там,

он влюбился. Сразу и бесповоротно. Словом, через полчаса знакомства он, к изумлению гобоиста, положил свою здоровенную ручищу на прохладную, тонкую ладонь Эмилии Лимбург, и сказал:

– Давайте, Эми, поработаем вместе, а? Это будет замечательно. Мы с вами должны обязательно подготовить какую-нибудь программу. У нас может неплохо получиться. Вы согласны?

Подобное предложение означало для Вагина высшую похвалу.

– Я вижу, вы согласны, не так ли? Тогда скрепим наш творческий союз шампанским?

Вагин наполнил бокалы и ... улыбка застыла на его лице: он натолкнулся на презрительный взгляд Эми. Замешательство продолжалось считанные секунды, а потом Вагин всё понял и громко рассмеялся – Эми приняла его предложение за розыгрыш скучающей знаменитости. В самом деле, что может спеть эта девочка с миндалевидными глазами в сопровождении симфонического оркестра? Уж не Татьяну ли? Или Розину? Разумеется, она и представить себе не может, что он готов аккомпанировать ей любым оркестровым составом, писать для него аранжировки, играть на скрипке, гитаре, на чём угодно, лишь бы только следовать за её голосом.

В тот вечер она пела повернувшись к Вагину. Потом они вместе пили шампанское, шутили, смеялись ... Ночью отправились с музыкантами ансамбля бродить по пустынным улицам Львова.

Месяцы совместной работы Вагин помнил подробно, но странно, что именно всё то, что с такой отчётливостью сохранялось в памяти, восставало теперь против копанья, рассматривания, вытаскивания на свет из глубин почти неправдоподобного прошлого. Тот год требовал лишь эмоциональной доминанты, и она звучала аккордом нетерпения. Снедаемый безумной страстью к беспредельному обладанию, он запоздало желал Эми девственности и даже ... исчезновения. Не всамделишного, а вроде бы для остального мира.

И вовсе теперь не радостно, по прошествии стольких

лет, перебирать, бродить по знобящим звукам и не узнавать сквозь слёзы приметы любви. Терзаясь тоской по ушедшему, он не губил себя попытками преодоления реальности вполсилы. Он жаждал воссоздать иллюзию прикосновения к руке Эми ... Что звуки? Разве могут они заменить всеокрушающую ярость или нежность человеческих рук.

В мае сорок первого он видел Эми в последний раз. Всю войну он не знал, что она погибла. Потом разыскал её родную сестру, чудом спасшуюся от смерти. Он женился на её сестре и прожил с ней почти тридцать лет. Теперь и она ушла вслед за Эми, нет ни её, ни Эми ... Мин-Мин только осталась. Её присутствие жена всегда терпела. Да и все другие допускали её существование. Кроме Эми. Она и не догадывалась о Мин-Мин, которая тогда просто исчезла из жизни Вагина. Чтобы через год вернуться уже навсегда.

И вот – пластинка осталась. Маленький чёрный диск. Всего один маленький диск, больше Эми записать не успела. Ей было только двадцать два года. Один траурный кружочек, хранящий её голос. Один траурный кружочек от миндалевидных глаз, матовой шеи, тонких пальцев ... Зато он, Вагин оставит после себя много таких пластмассовых свидетельств.

Кузовкин опустил иглу на диск. Вагин вздрогнул. О боже, он всё помнит.

– Да, я ... это я, – пробормотал Вагин, поймав восхищённый взгляд Кузовкина, – дальше я, голубчик, ещё и на гитаре, и на гобое ...

Скрипка замерла, почтительно склонившись, и голос Эми вошёл, обнял свободно пространство, наполнив его собой без остатка.

Постоянно ускользавший мираж *существенного* – нечто лишённое внятных очертаний и сделавшее его жизнь безмускульной. Что-то безуспешнодвигающееся в погоне за собственными контурами, более ничего, – вот чем была его жизнь. Движение, аморфное, случайное движение ... Конечно, была и музыка. В ней он, раздираемый этими проти-

воречиями, столь же тщетно искал форму, некие пределы, в которых чувствовал бы себя если не властелином, то хотя бы свободным подмастерьем. Частенько думал в отчаянии: если хотя бы одно знакомое ему живое существо соответствовало собственному желанному формату, то он, пусть и на короткое время, но примирился бы с миром.

Его коллеги Равинский-Лерман-Тимеркулов-Сыпнов-Мартынкин упивались иллюзией власти и сливались в единый многорукий образ некоей мельницы. Он их хорошо понимал, так как сам не раз использовал ничтожные уловки и манипуляции для управления оркестрантами. Ничего не было легче, как создать дистиллированную палитру нюансов «а ля Равинский», и радоваться затем обезличенной слаженной работе запуганного оркестрового механизма. Или, с животным сладострастием Лермана, затыкать рот униженному оркестру в угоду новоявленной пассии-солистки, согласившейся утешить престарелого дирижёра. А уж квадратно-потливое подражанье пластинкам Тимеркулова, растерянно-заносчивое оригинальничанье Сыпнова, конструированье трудяги Мартынкина – рутина, рутина ... Скука. Конечно, он не бегал в пьяном угаре ни за толстушкой-альтисткой, ни за смазливый кларнетистом, как это ничтожество Ватов. Не сидел, затихнув, в вонючей кабине туалета после концерта, подслушивая разговоры расковавшихся оркестрантов, как невзрастник Путин. Чтобы потом отомстить недовольным.

Правда, и Вагин пережил однажды месть оркестра – летел с метрового подиума в зал, усевшись на подставленный кем-то стул на трёх ножках. Дождавшись в обрушившейся тишине робкого оклика инспектора, Вагин прохрипел: «Блядь! Молчать! Всем потом уходить на х ...!» И пополз на четвереньках из зала ...

Вагин знал, что любая интерпретация это эфемерная скульптура, создаваемая лишь единожды. Мираж овладения звуковой стихией – прежде всего неуловимое ощущение собственных пределов (вот о чём заботиться надо), а не муляж подвластный копированию. Какая там власть! Ничего кроме

воскресших внутри тебя голосов. Непостижимо другое – каким образом опыт, привычки, тайны, пороки, стыд, надежды аккумулируются в предлагаемых звуковых комбинациях, нуждающихся в несовершенных усилиях ничуть не менее, чем сам дирижёр в оживающем тексте. Что за химическое звуковое облако услаждает или терзает наивные, любопытные, изощёренные уши случайных слушателей.

Не зря стонала скрипка: воздух изрыт ямами печали. Как трудно дышать пылью средневековых улочек, упирающихся в стены. Взгляд наталкивается на тупики. Они стерегут идущего, то есть живущего – стенки, стеночки, стенания. Каменные тупики, впрочем, вот уже сотню лет как не в моде. Теперешние создатели тупичков очень изобретательны. Разве вы не встречали такой голубенький, ласковый тупичок с вежливой улыбкой на лице? А в кружевной платице, сотканном из округлых петель для ... виселиц? Однако Гитлер вновь вспомнил о простом сером камне, простом и понятном даже ребёнку, чью голову разумнее размозжить об него ещё в детстве. Тогда не надо будет потом, подчиняясь тошнотворной гуманности, придумывать, сооружать невидимые тупички, через которые эти бестии всё равно умудряются проскочить. А так всё понятно – серый камешек гетто, потом ... потом выбор большой. И мелодии нетрудно, ей даже привычно ползти, обрываясь в кровь о колючую проволоку, по тесным улочкам гетто. Это ничего, что её путь извилист и неровен, но зато она жива. Прерывистое биение сердца нельзя заглушить, можно лишь запретить ей ходить по общепринятым дорожкам звукокоряда. Так появились увеличенные интервалы, хроматизмы, осторожные, как шаги беглеца и прекрасные, как человеческая благодарность, на них взбираешься, словно на лёгкие холмы, откуда просторность долин поражает взгляд ещё больше. И долго не подозреваешь, что эти, покрытые высокой травой забвения, холмы, не что иное, как могильные надгробья.

Нет, Вагин не любил эту музыку, она замуровывала надежду, смирялась со страданием. Он слушал, судорожно сцепив руки: от напряжения щит кисти сделался ещё шире, упираясь в побелевшие, ощерившиеся косточки первой фаланги пальцев, левая задыхалась, пытаясь освободиться от объятий правой, но правая сжимала до боли пальцы левой и не давала ей свободы.

Последний раз всплакнула скрипка, уронив горький звук на землю. И вот, застывший воздух безнадежности прорезал спасительный звук трубы. И вновь голос Эми начал с осторожностью разматывать неведомо уж кем запутанный клубок печали. Откуда столько жизни и огня в этой совсем ещё юной девчонке с миндалевидными глазами? Что же вокруг все поникли и, ещё живые, готовятся к гибели ... Правильно, девочка. Ах, как пружинится гитара в твоих руках. Так гребцы взмахивают вёслами, так появляется надежда, голос наливается силой, полу развалившиеся подвалы гетто начинают напоминать баррикады.

Вагин смотрел на свои руки, на узловатые пальцы старика. Он ожидал колыбельную. Он знал, что сейчас должна быть она, но всё равно вздрогнул, когда скрипки на свободном дыхании взяли затакт. Руки, не находя места, беспокойно задвигались. Этой пьесой он не мог никогда дирижировать, хотелось делать всякие немислимые движения, воздевать руки к небу, ломать тело в фигурах, только бы поймать, разгадать собственную первопричинность, открывавшуюся в звуках этой мелодии.

Когда за Эми пришли двое с автоматами, она пела колыбельную. Слёзы катились из глаз, голос дрожал. Но она, оглядываясь, продолжала петь. А потом, оставшиеся услышали выстрел.

Пластинка змеилась в темноте и вскоре, через пару тактов упёрлась в шипящее многоточие. Выстрел, колыбельная ... И кто из нас светлее, темнее в этом ненавистном оркестре постоянно возвращающихся голосов-оборотней: то вечно гонимых за своё неисчезающее еврейство, то торжествующе упивающихся бесстыдно декольтированным венским вальсом ... Вселенная, где уживаются смрад могильных ям с прозрачностью речных восходов. Оркестр бесчисленных гетто, запретов, преследований, унижений, надежд.

После ухода Кузовкина Вагин долго ходил по пустой квартире. Вот и всё, и он вновь один. Мин-Мин не в счёт. Наедине, так сказать, с молчащим диском. С отзвучавшим. Как отзвучавшая жизнь. Диски, диски, афиши ... Неоспоримые свидетельства его существования. Все хотят иметь доказательства – был, существовал ...

Вагин прошёл мимо спящей Мин-Мин к застеклённому шкафу, достал пластинку, покрутил её в руках, подошёл к раскрытому окну и неожиданно швырнул её в ночь. Раздался хруст разбившегося стекла. Стекло? Пластинки из стекла ... Вагин увидел метнувшуюся к дому с трамвайной остановки фигуру Кузовкина и почему-то злорадно ухмыльнулся. Он устремился к шкафу, вытащил кипу дисков, с трудом дотащил до окна и, поднапрягшись, сбросил вниз. В доме напротив, в окнах появились удивлённые лица. Вагин отправился за очередной стопкой пластинок, но на полпути остановился, вернулся к окну, глянул вниз – Кузовкин растерянно перебирал, поглаживал, составлял осколки.

Вагин посмотрел на свои руки, такие бесполезные в этой квартире. Когда они наконец-то перестанут существовать отдельно от него?

Без всякой связи вспомнил как совсем ещё недавно, лет тридцать назад, жена президента республики приветственно помахивала ему ручкой, таким крендельком из правительственной ложи. И таким же крендельком поздравляла после концерта. Впрочем, негнутым крендельком эта маленькая

ручка оставалась и во время их любовных утех. Неслышащие руки женщин – самое ужасное, что может быть на свете.

Жена, бедная, тоже не слышала, у неё были руки собира- тельницы, шершавые, смахивающие пыль с полированной мебели, чтобы разложить приобретённые броши, кольца ... Он ошибся тогда, полагая, что она хоть отчасти заменит ему Эми. Более того, жена бессознательно вытраивала образ погибшей сестры: её рассказы чудовищным образом не совпадали с его Эми. А потом эти ворчливые комментарии ни к месту, добавления, исправления, едкие замечания ... Бедная, она не слышала собственного голоса ...

Мин-Мин не разговаривала, молчала, улыбалась. Он ча- сами мог тискать, перебирать её слышащие руки, огромные, пахнущие каким-то диковинным маслом. Она не отнимала их, как другие. Он знал, что о его связи с Мин-Мин известно в оркестровой среде, но это его мало занимало. Никто ведь и не видел, не ощущал её непосредственного присутствия в ор- кестре, где елозила она по струнам с отвлечённым взглядом. Или била ритмично по литаврам, елеино свистела флейтой. Тем не менее, почему-то сразу все невзлюбили двухметровую вьетнамку – на поверку, впрочем, она оказалась вовсе не вьет- намкой – словно бы заранее знали о своей неизбежной от неё зависимости. И в то же время, ничего не ощущали, когда она без труда проникала в лёгкие, окрашивала улыбки, ласкала мясистыми своими пальцами малейшие интонации каждого без исключения оркестранта – вечнозелёное, рукастое дерево Мин-Мин в оркестровой аллее.

Унисоны, расходящиеся линии, прыгающие, хромающие, нелогичные, сумасшедшие, мечущиеся между тональностями и стилями – всё, так или иначе, обретало форму звукового мифа, вырвавшегося согласно подспудным желаниям, по- хотливым смешкам и всезатопляющей нежности оркестра, мечтающего и, без сомнения, могущего звучать без всякого дирижёра. Покинутые на время оркестранты, разумеется, не в силах скрыть своей растерянности, но чтобы навсегда дерз- новенно покинуть привычные границы оркестровой взаи- мозависимости? Нет-нет, всё должно, верят они, все должно

вернуться на круги своя. Вагин любил эту готовность голосов слушать друг друга. Даже в ненависти. И в иступлении последней схватки всё равно лелеять неизбежность примирения. Потому и хотел всегда быть лишь одним из голосов, а не дирижировать. И примириться, наконец-то ...

Но не исчезает нестерпимое чувство вины перед Эми – бессознательно он желал ей исчезновения, чтобы она не могла быть никем любимой. Вина перед мальчиком, лежащим на земле и сжимающим осенние листья ... перед Кузовкиным, перед Мин-Мин, перед всеми оркестрантами мира.

Вагин неожиданно понял, что ему больше уже никогда не удастся искупить свою вину несовершенными, но страстными звуковыми построениями. Он прикрыл глаза. Парковая аллея. Мужчина на страшной скорости вез Мин-Мин в инвалидной коляске. Пробежала перед колёсами бездомная собака, промелькнула, оглянулась.

Лирические интонации, прерываемые нарочито бессмысленными, бесцельно летящими легкомысленными мажорными пунктирами. От их малейших прикосновений возгорались паузы.

Вагин с неожиданной лёгкостью вскарабкался на подоконник и, увидев искажённое ужасом лицо Кузовкина внизу, оглянулся на Мин-Мин. Как же можно было забыть о тишине. О пустотном светящемся океане тишины. О нас, устремлённых навстречу свету, наполненного пока ещё суетящимися звуками мира. Нас, понимающих, что мы, наш путь к светящейся бесконечности и она сама – это одно и то же. И что кроме желания постигнуть свет ничего и не существует. И кто из нас светлее, темнее ...

Поддерживавшие руки Мин-Мин исчезли. И своих рук Вагин уже не ощущал. Он облегчённо улыбнулся – безрукый? Значит, и не заставит его никто более дирижировать ... И он сможет лежать на куче нежно шелестящих осенних листьев и не отрываясь смотреть на пляшущие тени деревьев.

КРУГ

Константину Кедрову

Представляю на суд читателей коллективную рукопись неизвестных авторов, найденную в одном из вагонов столичного метрополитена. Странная история некоего Галкина изложена в рукописи разными почерками без должного стилистического единства. Явно нарушена и композиционная целостность этого, в жанровом отношении неопределённого сочинения. Тем не менее, искренность высказываний, вероятно, вызовут, несмотря на многочисленные изъяны, некоторый интерес читателей.

А может и нет его вовсе, Галкина этого, а?

Может и нет.

Свет обтекал пространство синеватым посвистом. Посвист истончался, превращаясь в звуковую пыль.

Эх, убить бы Галкина ...

Спихватился, да поздно. Сходил бы ты лучше за бутылкой – полегчает.

Кто это – Галкин?

Что за кретины! Бог мой, с кем мы рядом живём, где живём!

Убить надо было, я согласна.

Невозможно, пробовали и не раз ...

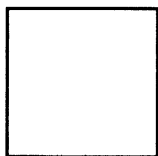
Позёмка хаоса гудела где-то снаружи за невидимыми пределами. Звуковые потоки разрастались, приводя Галкина в неистовство от невозможности охватить, отдалиться всем подробностям сразу. Он чувствовал, что внутренние пружины ритма уже не в состоянии уместиться в отведённом им пространстве. Изнемогая от желания сравниться со всем слышимым, они пытались избавиться от своей неизменности. Эти капризные бесстии множили себя самих в неподвластном ему кружении,

и привычный мир пространственного взгляда постепенно отстранялся и застывал в отдалении.

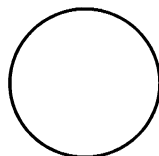
Кончайте выпендриваться! Это всё домыслы. Художественные вариации на тему Галкина.

Вот именно, если бы его всамделишные рассказы или стишки раздобыть. А то ...

Где ты их раздобудешь, если его самого и не было в помине. Одни апокрифические тексты.



+}~



То есть фальшифки?

Что это за значки появились?

Кто-то нас водит за нос, издевается!

Кто-кто, сам наверное.

А я люблю марши.

В каком смысле? И при чём здесь марши.

Можно со стороны, конечно, наблюдать за военным парадом, но просто так, просто так, так, так.

Где живём – ужас!

XXXXXXXXXXXXXXXXXядь

Эй! Живём в литературном общежитии, понятно?

Сволочь ...

Вот именно.

А что? Общежитие, как общежитие – коридоры, комнаты, вахтёры. Не тюрьма, жить можно. И выйти и войти.

Так ли?

Ну да, выйти вроде легче: оставил запись в журнале о том, куда пошёл – и двигай на все четыре стороны. Только запись эта – штука тонкая.

Пошлая.

Подлая.

Что за хреновину развели!

Лучше не врать. Можно, скажем, черкнуть в журнале туманно «по надобности» и ... прочее. Однако, лучше того ... этого ...

Графоман чёртов!

Правильно, лучше не врать. Неведомо, как слово наше отзовется.

Неведомо как, но даже самый невинный обман раскрывается в общежитии с лёгкостью. И сразу тебя на заметочку и так далее ... писать противно.

Если противно, напишут другие.

Да, если на заметку, тогда – хана.

Хана?

А как же, начнут морду выворачивать. А с вывернутой физией, как пить дать, – потеря самобытности.

Литератор без лица – почерк подлеца.

Общежитие, пристанище наше. В нём мы за пределами всего что существует.

Какие ещё пределы, если сама общага – беспредел, ясно?

И всё же войти в общежитие легче. Сидит вахтёр – документы проверяет. Пиши себе. Ну, как положено, допустили – живи, коечку выделяют, белье, полотенчик. Туалет, правда, один-единственный на весь этаж. Но не это главное. Главное, допустили. Пишешь? Поселяйся на здоровье. Твори.

Ага, побаловался разок перышком и в общежитие. Примут ...

Дом – красавец. Вот и манит.

Эй, братцы, а сколько этажей в нашем общежитии, кто знает?

Никому ещё сосчитать не удавалось, и тебе, остряк-самоучка, не удастся. Кстати, не кажется ли вам, что пахнуло Блаженском? ...

Давить их надо, блаженчан!

А почему сосчитать то нельзя?

Попробуй! Днём верхушка здания общежития светится, спит солнечными лучами, а в сумерки туман наползает – всё скрывается от глаз.

Это не туман, а завершённый смысл единства всего, что нас окружает. И объединяет. Нас разбудят, и мы придём в этот кружащийся мир.

Кто тебя будить станет? И без тебя хватает жильцов на этом свете.

А нам и первый этаж хорош.

Ясно, выше не прыгнуть.

Этаж для тупиц.

И для новичков. Выше ведь начинающих не пускают.

Ха-ха, не пускают! Откуда же литературные классики вышли? Из нашего чернозёма!

Эй ты, чернозём! Слил бы, да проветрил! А то такое скопление ... не задохнуться бы от твоего уже почти классического образного мышления.

Скотина!

Первый этаж – клоака.

Гнусь, но приятная.

Привычная.

Все мы просто ненавидим первый этаж, но с нежностью относимся друг к другу.

С затаенной, с затаённой нежностью.

Нежность – основной закон общежития.

Все другие – есть безымянные мы, кружащиеся под куполом жирной вечности +}~

Не жирной, а пьяной. Основной закон – питье. Всяк знает, что непьющий – враг литературы.

А вне словечек мы себя не мыслим.

Как же без словоблудия.

В общежитии пьют все.

Непьющие тоже.

Но, разумеется, на почве литературы и личных переживаний. Если не пить, значит отказаться от многих важных компонентов литературного творчества: самоутверждения, веры в будущее, взаимообразования, единства взглядов на жизнь и литературный процесс, фольклорных истоков творчества и так далее.

Не пить просто невозможно.

Непьющий подвергается насмешкам, его подозревают, ему не доверяют. Кончается всё полнейшим остракизмом, т.е. общественной изоляцией. Практически, карьера непьющего литератора завершается с первых же шагов. Ведь вне общения с себе подобными нет и творческого роста. Поэтому проблема номер один для новичков – научиться пить.

Что это за эксперт хреновый выискался?

Между прочим, большое это искусство – пить.

Ерунда, надо только усвоить чётко: КОГДА, С КЕМ, СКОЛЬКО.

Важно научиться другому – пить постоянно.

ПОСТОЯННО – это такое лохматое чудовище.

Очень даже лохматое.

Не каждому по плечу.

Но для пользы дела, для продвижения, оно незаменимо.

Скоты!

Несчастных слабачков жалко. Им приходится переходить в другое общежитие. Нелитературное.

Таких в природе нет, чтобы без слов, да предложений. Лично я не видал.

Там меньше пьют что ли?

Нет. Просто называются вроде для вида по-другому и питье там с работой не связано. А в остальном – всё одинаково: куда же без слабо-творчества.

Не по делу треплетесь. Не пить нельзя, потому что непьющим литераторам не прощают ни малейшей слабости, ни крохотной странности. А какой же пишущий без странностей. Вот я, например, матерщинник, бя.

Тля, ты, бя.

Кстати, о странностях. Кого только не встретишь на первом этаже общаги: шпагоглотателей, любителей сырого мяса, резчиков по мослам, коллекционеров похабщины, энтузиастов нецензурного хорового пения, голодарей, сдавателей пустых бутылок, кулачных бойцов, половых гигантов и половых лишенцев, плагиатчиков ...

Любителей маршей. Помните, как мы пытались пройти строем по коридору? Кстати, это вовсе не странность.

А знаете ли вы, что тень может быть не только чёрной, но и пурпурной?

Ещё один.

Милые чудачества.

И все они прощаются за трапезным столом. Как любят шутить в общаге: застолье – великий двигатель литературы.

И всё-таки, самый прекрасный этаж общежития – первый. От застолья к застолью по тускло освещенным коридорам витают тени первых гениальных книжек и крупных гонораров, намечаются столбовые пути развития литературы, низвергаются всем опостылевшие дутые кумиры, немедленно сотворяются новые. Казалось ...

Мало ли что кажется и мерещится собутыльникам с первого этажа.

Их судьбы складываются по-разному. Часть из них, весьма ничтожная, быстро взбирается вверх по этажам.

Гении, таланты!

Подонки!

Талантливые подонки.

Часть надолго оседает в нескончаемых закоулках первого этажа.

Хорошее слово, блин, – оседает. Как пыль. Это – мы ...

Это – вы, кристально честные гении, не пропейте только свои бесценные рукописи. Или того лучше, не заверните в них с похмелья остатки плавленого сырка. Подумайте о грядущих поколениях.

Ух, сволочь, подлюга небитая!

Битая ...

Мало битая.

Конечно, логики в судьбах литераторов обнаружить трудно, особенно логики творческой. Во всяком случае, Галкин её не видел.

Галкин в растерянности бродил по некоему замкнутому своду, путая времена и события.

Так он же из г. Блаженска!

Эх, если б не Галкин ...

А что? Таланту бы тебе прибавилось?

Убить его давно бы надо, а заодно и тебя! Чтоб не ёрничал ...

Уж сразу и убить.

Выходя на Тверской бульвар, Галкин сворачивал в какой-то переулочек, вставал на лыжи и, устремляясь вслед за своим школьным другом Юркой, кружил по темневшей лесной дубраве. Юрка пытался что-то, заикаясь, крикнуть, но его рот застывал в мучительной гримасе. Махнув обречённо рукой, Юрка исчезал за деревьями. Галкин же обессиленно опускался на сиденье троллейбуса, несшегося на огромной скорости мимо Новодевичьего кладбища. Всё происходило помимо его воли – ночь, пустынная Москва, вздыбившиеся штанги, немигающие глаза фар опьянённого бешеной гонкой троллейбуса и он, Галкин, невольный соучастник беспричинного сумашествия, единственный пассажир ...

При чём здесь Галкин? Он и не видел вокруг себя ничего.

Просто видеть не хотел.

Когда возник этот недоделанный в общаге, кто помнит?

Он появился как все, осенью.

Гриб грёбанный.

С чёлочкой невинной и с портфельчиком в руках. Литератор, как литератор.

Неприметный такой. Даже жалкий.

Разжалелись. А про горбинку забыли?

И всё же в целом неприметный.

Стояла дивная пора. Пожелтевшие листья медленно ...

Оставьте в покое листочки. Не до пейзажей. В общем, поселили новичка в общежитие.

Не надо было допускать! Пресечь на корню!

Это ни в чьих силах. Пишет человек и пишет. Не запрещай ведь.

И всё же, надо запрещать блаженчанам заниматься литературой! Спокойнее жить будет. Пусть занимаются чем угодно, но в литературное общежитие надо постараться их под любыми предлогами не допускать.

Не изобретайте, граждане, велосипед.

Вот именно, многие пытались, да сломались. Это не путь.

Итак, Галкин попал в комнату к Орде.

Орде?

Для непосвящённых: Орда – это вечнообновляющаяся группа многообещающих литераторов, пьющих за чужой счёт. Время от времени Ордынцы совершали и сейчас ещё совершают опустошительные набеги на другие комнаты. Но основной источник их доходов и творческих радостей – зелёные новички, наивные и доверчивые.

В Галкине наивности было, хоть отбавляй. Лопух!

Ладно, давайте теперь я расскажу. Как сейчас помню – к вечеру кошелёк его был пуст, а сам он в своём клетчатом пиджачишке валялся с обезумевшим взором в углу на матрасе. Пьёт и не пьянеет, скотина. Блаженчанин, одно дело. А мы на дух не выносили жителей Блаженска. Не пьянеть от вина! Можно было лопнуть от злости. И этот изумлённый взор ...

Кстати о его портфельчике. Естественно, ордынцы вытрясли из него рукописи, спрятали их под матрацом, а сам портфель набили пустыми бутылками и прицепили на оттопыренные пальцы Герцена.

Какого Герцена?

С Тверского бульвара.

Причём здесь Тверской?

А Литинститут где стоит? Куда мы бегали из общаги? Не всегда же в пивную.

А, это где писать учат, понимаю.

Писать и сливать.

Пимены нашей литературы, так сказать.

Пипименты бровастые. В бровях вся сила и была. Их специально выращивали в спецпитомниках.

Отстойниках для пипиментов.

Да уж, ментов хватало, особенно этих, ну ... по текущей литературе, как их, выходцевых, расходцевых что ли ...

Текуще-растекающейся жиже.

Ну и всех этих пузырей, лопавшихся от своей великости.

От розового Трауберга до траурного Розова.

Столпы, так сказать, умельцы-удальцы.

С-толпы или стол-бы? Или просто брёвна?

Словом, нарост.

Тюремный нарост на чистом, вымытом литературном теле.

Вы ещё Мандельштама с Платоновым вспомните, как же мол, двор мели, страдали.

Чего не скажешь о некоторых.

Словом, литинститутский остров.

Институт оцепеневшей неизменности.

Универсальный инструмент нивелировки индивидуальностей. Вот я раньше мог сочинять зигзагами ...

Если мозги зигзагом ...

А что, как думаешь, так и пишешь.

А меня картавить отучили.

Я в темноте всё мог видеть, а теперь и при свете ...

Сплошные индивидуальности.

Полноте, что переживать о потере какой-то индивидуальности, если они в большинстве своём нелепы, ничтожны. Ведь сам Литинститут не терял при этом некоей своей надлитературной индивидуальности. Зачем принижать значение непрекращавшегося процесса исправления, выпрямления, разгибания досадных ошибок природы. И кто из нас не ограничен в своих возможностях? И кто из нас не желает лучшей жизни? Институт вам предлагал изменения без лишней: скучайте, стройте, будьте гибкими к новым веяниям жизни.

Правильно, надобно было главное усвоить – жизнь существовала до института. Значит и после оно обозначится.

То есть отдельно.

Жизнь? Институт-то стоит. А мы где?

И всё-таки, где начало, продолжение и конец всей этой бодяги?

В общаге.

А кафе «Казбек»? Или как там – «Арарат»? Там начало и конец.

Может, еще и Пушкина с Гоголем приплетёте?

Вернёмся к Галкину. Не отвлекайтесь.

Вот была потеха: бегают Галкин вокруг памятника и пыта-

ется понапрасну достать портфель. Александр же Иванович, наш Герцен каменный, вроде как сдавать бутылки собрался. Вся Москва сбежалась поглазеть на это зрелище.

Галкин кольцевал столицу по-своему. Вниз по Тверскому до улицы Герцена, налево до консерватории, там по Неждановой на Горького до Пушкинской и восвояси в дом номер двадцать пять на бульвар. А иногда до Калининского и на Арбат, мимо Вахтанговского театра и музея Скрябина, скоренько пересекал враждебные развалы Калининского проспекта и наверх к Гнесинке. Или через Страстной мимо старого МХАТа на Кузнецкий, там зависнет на время и назад на Тверской.

Галкина видели часто под балконом Алисы Коонен на Бронной.

Чего он там делал?

Стоял с затуманенным взором.

Не скажи, просто придуривался. Однажды вечером он в самом деле стоял там, разинув хлебальник. Это мне барыга Вовчик рассказал. Ну тот, который за башли проводил с заднего двора желающих на в Пушкинский театр.

Зачем?

На спектакли, блин, зачем ещё. А давали в тот вечер «Гамлет». Словом, Вовчик ведет по наезженной схеме двоих к воротам, стучит тихонечко. Оттуда голос спрашивает: сколько вас? Вовчик отвечает: двое. В это время Галкин подходит сзади и говорит: я с вами. После тихих препирательств его включили в группу безбилетников. Поднимать шум было нельзя, – театр был наводнён милиционерами в штатском, – по слухам ожидали дочь Брежнева.

Ну, и ну, была в самом деле дочка?

Распрягай, была, конечно, но не это было самое интересное. А то, что когда Гамлет улёгся на сцене на Офелию и дочка вождя возмущённо покинула ложу, наш Галкин умудрился бешено захлопать.

Ваш Галкин.

Мрак полный. И ничего непонятно. Чему захолопал?

То-то и оно: относился сей восторг театральной сцене или демаршу дочки Брежнева. Кстати, за наследницей вождя по-

тянулись десятки сопровождавших сию персону. А потом ... потом Галкина видели после спектакля в компании Офелии, то-есть акрисы. Они вместе вышли из артистической и заблудились во дворе Литинститута.

Как это?

Загадка. Их искали два месяца.

Враки.

Сам видел Галкина обросшим, с бородой, но счастливым.

А Офелия? Сошла с ума?

Точно. Возвернулась в театр.

Херня.

Но так и было. Их заперли, говорят, по приказу дочки воядя во дворе института, а сам институт на время вроде бы на ремонт поставили. Устроили им датское королевство. По всем законам. И без всякой литературы.

И что? Не понимаю.

Наблюдали кому надо.

Я слышал, сама Офелия по полочкам и раскладывала. Все мыслишки галкинские сортировала. Сочиняла словом, оперу. И между делом, вовлекала.

И что, скурвился?

Кто знает.

Вот тебе и простачок.

Он мог, кстати, как другие и в строе шагать.

В шеренге?

В ширинке.

О, блин, оговорился – в строю. В струе ... Или как там, в строевых рядах. Сам видел.

Верно, однажды Галкин неуклюже промаршировал целых сорок минут в колонне студентов Литинститута, направлявшейся в Колонный Зал на юбилей Союза писателей. Взгляд его невольно упирался в спину Игоря Клайна. Охранник тюремного лагеря особого режима и будущий советский прозаик отмерял вразвалочку шаг, скрипя начищенными кожаными сапогами. Правая его ладонь покоилась на талии смешливой переводчицы из Риги Линды Булдурис. Этой же ладонью, судя по всему, Клайн и проводил по ночам воспитательные акции над своей

подругой, о чём возвещали на всё общежитие пронзительные крики переводчицы.

И ни одна сволочь не встала на защиту.

Ваш Галкин, кстати, тоже зажался.

Когда дружные построения студентов распались в фойе Колонного зала, будущие литераторы должны были проявить инициативу в поисках свободных мест. Галкину удалось, не без некоторого стеснения, устроиться на свободное кресло между легендарным комсомольским поэтом Долмаписаковским и не менее легендарным автором драматургической ленинианы Шатровко-Ельманом. Кажущееся везение обернулось фарсом. Во время основного доклада Долмаписаковский с такой одобрительностью встряхивал седой гривой, что постоянно обсыпал ближайших соседей перхотью. Галкин брезгливо прикрылся программкой. Возмущенный же Шатровко-Ельман не выдержал и через некоторое время стал пробираться к выходу, мстительно кашлянув в лицо Долмаписаковскому. Комсомольский глашатай поперхнулся и непроизвольно вытянул правую ногу. Споткнувшийся драматург потерял равновесие и стал валиться на Галкина. Да, если бы не Галкин ...

Спаситель наш и вся литература.

А надо было просто выкинуть его отовсюду! Из института, из общаги, да и ... из Москвы.

Тогда нравы были ещё не те.

Да и Борода за него заступился. Это он, кстати, и показал Галкину впервые другие пути-тропиночки. Познакомил с Лобачевским, Достоевским, Фрейдом.

Лично что ли?

И это называется – другие пути?

Другую Москву, корневую да туманную.

Чушь, Москва есть Москва.

Эх, кто его просил, блин.

Мало того, ещё и потащил Галкина за собой по переулочкам, да по проходным дворам.

Завораживал байками.

Заступник выискался, блин.

Сам ты Блин Блинович Блиновадце.

Вскоре Галкин настроил против себя всех Ордынцев. Прожив с ними в одной комнате три дня и разделив с ними, хоть и невольно, тяжёлое бремя кутежей, он не только не проникся творческой атмосферой поившей его среды, но посмел выразить сомнение в высокой профессиональной состоятельности своих новых знакомых.

Кто это таким «высоким слогом» выражается?

Какая разница. Что дальше то было? Так и не осознал, Галкин?

Скотина неблагодарная!

Он оскорбил нас вопросом: «А когда же вы, братцы, пишете?»

Каково?!

Братцы мы ему!

Как вы только терпели?!

Галкин мог и не знать, что подобный вопрос не принят в общежитии.

Допустим. Но интуиция! Должна же быть хоть капелька интуиции у литератора.

Интуиция у Галкина отсутствовала. Не получив вразумительного ответа на свой исполненный скрытой враждебности вопрос, он к вечеру третьего дня своего пребывания в литературном общежитии вынужден был под давлением Ордынской общественности переселиться в комнату к Славику.

К тому самому?

К нему. Хотя, как свидетель тех событий, могу сказать, что давление на Галкина осуществлялось вполне безобидное – через анекдоты о Блаженчанах. Ихнему брату много не надо – они же чувствительные. В общем, после двух анекдотов, Галкин встал на трясущиеся ноги и со слезами на глазах поплёлся к двери.

– Куда ты, Галкин? – хихикнул, не помню уж кто, – во всей общаге ни одного места, разве только у Славика. Но ты не бойся, говорят у него прабабка родом из Блаженска, ха-ха.

Это правда?

Сейчас это не имеет значения. Да и дело не в Славику.

Идиот!

Надо заметить, что за эти три дня Славик раза два появлялся в комнате у гулявшей Орды и напугал Галкина до крайности своим необузданным темпераментом и громоподобным голосом.

Слабонервный.

Ничего, потом они спелись.

Славик был из старожилов первого этажа. Несмотря на перенаселённость, он жил в комнате один, как какой-нибудь Классик с сорок второго этажа. Аристократ и только. Его буйств не выдерживала даже Орда.

До сих пор легенды ходят. Говорят, он однажды, будучи естественно поддатым, вышел в коридор, в чём мать родила, и стал петь свою знаменитую песню «нахуяна, нахуяна, нахуяна ...» на мелодию ну ... Куравлёв ещё пел в этом фильме ... с Чуриковой ... вспомнил «Начало». Весь этаж сбегался, наготы не замечают – слушают.

Да нет, это в метро на Новокузнецкой было. Мы к Петьке Кошёлкину направлялись в высотку. Кстати, слуха музыкального у Славика не было, но силища в голосе ... Даже постовой мильтон хлебальник раскрыл, застыл у эскалатора и не реагирует, а мог бы забрать тогда всю шумную ораву.

А ещё ... его любили бабы, у него то ли одиннадцать, то ли десять детей было и все от разных.

Ага, бывало, как разнюнится, так фотографии отпрысков вытаскивает, хвалится, мол, никто из жён не в претензии.

Не разнюнится, а напьётся до чёртиков.

До белой горячки. Один раз даже в клинику Сербского попал. Меня угораздило его туда отвозить вместе с Галкиным.

С Галкиным? Это уже интересно.

Нет, не так поняли. Галкин и забил тревогу. Постучался к нам, глаза испуганные, бормочет, что, мол, со Славиком неладное. Захожу к ним: Славик сидит в чистой рубашке, непривычно причёсанный, торжественный, трезвый. Нас увидел, говорит: «Опять недавно передавали последнюю мою поэму». Словом, мерещились ему радиоголоса, передающие его стихи.

Бросил пить резко, вот и мерещились.

Вообщем, скинулись мы, вызвали такси и повезли его к Сербскому. Сдали в приёмный покой, сидим, ждём врача, до сих пор перед глазами жуткая картина: больные в синих штанах жрут, перемалывают с отсутствующими взглядами принесённую родственниками еду. Галкин присмирел, глаз не подымает, оживился только с приходом лечащего врача – почти что с истерикой начал объяснять, какой гениальный поэт Славик, ну прямо новый Пушкин, и какая опасность грозит литературе в случае его потери и так далее.

И долго его передавали по радио?

Недели две транслировали.

Ещё он летать, говорят, умел.

Враки.

Мало ли чего говорят.

Я тоже умею.

Легко питание, а серится с трудом.

Вернёмся к Галкину.

Итак ...

Итак, он вежливо постучался в комнату Славика, ему нечленораздельно промычали из-за двери, наивный блаженчанин вошёл ... В темноте ему показалось, что Славик не один в постели. Но измучившись от бессоницы, он повалился на свободную койку и тут же заснул. На его счастье и на наше несчастье Славик на следующее утро пропал. Загулял где-то на стороне по-чёрному. Он не появлялся у себя в комнате недели две с половиной. Галкин и обвыкся пока в общежитии. Заимел чайник, чистую постель и относительный покой по утрам, когда в притихшем на короткое время общежитии, можно было покормить над чистым листом бумаги.

Говорят, он притащил гуся в комнату.

Я тоже слышал. Он с ним разговаривал.

Не разговаривал, а читал ему вслух

Это одно и то же.

В комнату, надо сказать, часто заходили разные по виду литераторы. Иные, судя по манерам и одежде, с верхних этажей, но большинство гостей были неопределённого возраста, неброской наружности, а также непонятного литературного

направления. Всем им нужен был Славик. А тот, естественно отсутствовал. От нечего делать визитёры интересовались личностью Галкина, из любопытства просили деньги в долг. С опаской поглядывали на гуся и иногда и распивали с ним за неимением Славика бутылочку-другую, излагая попутно непьяневшему Галкину свои принципиальные взгляды на жизнь и творчество, предлагали на ночь потрёпанные самиздатовские и прочие «враждебные» литературные фолианты, вскрывали мировые и общежитские проблемы и, не читая трудов Галкина, всё же частенько обещали таинственным шёпотом содействие в неких влиятельных сферах. Особенно Серебров.

Душка.

У этого Душки была теория, что литератор должен обязательно путешествовать.

Да-да, однажды он напоил Галкина и почти что насильно посадил его на какой-то поезд в сторону Средней Азии. Слава богу, наш Блаженчанин на первой же остановке вышел и – назад.

В зад назад.

Но более всех зачастил к Галкину Васька Тюменёв. Что их объединяло? Они даже вместе выступали перед работягами на Молокозаводе.

Галкин и молокозавод? Что же он читал перед работягами? Размазню свою?

Однажды они гуляли по Арбату, ну Ваську и припёрло побольшому. А он же нетерпеливый, недолго думая в ресторан «Прага» направился. Вахтёр не пускает. Так Васька поднял старичка в воздух, переставил через метровую перекладину его в гардероб, сам же побежал по надобности. Так Галкин все накопленные за неделю деньги выгреб из кошелька для утешения обиженного вахтёра. Даже стихи Васькины читал для убедительности, в то время как автор облегался.

Словом, появилось у Галкина множество, так сказать, приятелей.

А чего всё про приятелей, где же любовь? Это же он написал, что жизнь не принадлежит каждому в отдельности.

Как это?

То есть человек не может её осознать и нуждается в других, чтобы в любви к другому стать самим собой.

Это ему музы нашептали.

Музы?

Неужели кто-нибудь ещё верит в эту дребедень?

Я лично без муз никуда, только они от меня бегают, стервы.

А я их в глаза не видел.

Галкина же они привечали. Говорят, они переходили ему по наследству?

Чепуха.

Чепуха, не чепуха, а приятно. Только непонятно от кого переходили?

Их же столько. Если бы знать которая, да от кого, я бы тоже не отказался.

О тебе и куры шептали, они все Галкина любили.

Жалели, небось, бабы они сердобольные. А он такой неприкаянный, вот Валентина первая и прониклась.

Это какая?

Та самая, хоть она уже Галкину в мамки годилась. Прямо от Славика досталась – из рук в руки.

Да нет, она же была вместе с Серебровым. И вообще, не такая уж и в возрасте.

Без возраста. Музы не имеют возраста.

Просто слегка потрёпанная.

Насколько я помню, она дружила с Муслимом.

Не надо спорить, все правы. И с Васькой, и со многими другими. И со мной тоже. Учительница первая моя.

Всеобщая.

Но это всё до Галкина. А потом её словно подменили. Она помолодела, засветилась прямо. Идёт и мурлыкает себе под нос.

Напевает.

Всё правильно, муза как муза – одна в трёх лицах.

Что-то я о таких не слышал.

Я тоже до той поры. А потом, когда она перестала друзей узнавать и разговаривать ...

Учеников то бишь?

Какие там ученики, она сама ученицей стала.

Чьей?

Галкина, кого же ещё.

Это надо ещё доказать. Чему он её научить тогда мог, сам же был птенцом желторотым.

Петь, наверное, не пить же. Словом, к ней обращаются – она в ответ поёт. И так заразительно, что и другие начинали невольно завывать. Невозможно было остановиться, против воли, а поёшь.

Как это?

А так – через день весь первый этаж запел. И уже вроде так и надо. Ладно, длилось это сумашествие всего неделю.

Я тоже пел, братцы, без слуха, а получалось. Хорошее времечко было, эх!

А потом певунья неожиданно исчезла, и всё возвернулось.

Что именно?

Сам не знаю, ну вроде раговаривать да материться опять стали: что, да к чему.

А могло бы всё поползти наверх, по этажам.

Что именно?

Вся эта недоброта песенная. Но пронесло.

Чушь порете! Никуда она не исчезала.

Недоброта?

Муза, болван! И была она вовсе не в возрасте. Уж я её хорошо разглядел. И никакая она не учительница была.

А я чего говорил? Ученица, худенькая такая.

Кожа и кости, а не худоба. Вся в веснушках. Если по правде, страшенькая.

Точно, а Валентина в теле была.

Ещё в каком, можно сказать упитанная.

Позвольте вам напомнить и о третьем лице – о памяти.

Разберёмся вначале с первыми двумя, я уже ничего не понимаю.

Разбираться тут нечего. Просто музыки многолики и всё этим сказано.

Нет, не всё. Известно, что муза не желала Галкина цело-

вать, отводила сухие тонкие губы, не позволяла также дотрагиваться до груди, не говоря уже о более желанных местах.

Да, я тоже слышал, что Галкин умолял её поцеловать хотя бы в щёку. Практически унижался.

Что же это за муза такая. На хрена она сдалась.

Тебе не сдалась, а Галкину была необходима. Данте, кстати, тоже готов был унижаться.

Оставьте Данте в покое. И потом, насколько я знаю, она Галкину всё позволяла: и целовать во все места, и прочие объятия, но через одежду. Что, конечно, непонятно.

Если не помнить о памяти.

Это которая – учительница или ученица?

Хватит про баб, их не поймёшь, хоть и музами их называть.

Точно, вернёмся к Галкину. Уже довольно скоро он чётко представлял себе многоэтажную иерархическую систему литературного общежития. Первый этаж – начинающие, неудачники и множество прочих, трудно определяемых категорий литераторов. Далее, выше, по десятый этаж, жили литераторы печатающиеся, а также мелкий издательский люд. Комнаты их были рассчитаны на два человека и меблированы соответственно. Выше десятого этажа каждый литератор занимал по комнате. Счастливые обладатели отдельных комнат являлись авторами уже изданных книжек. Ещё выше ... Ах да, попасть туда можно было лишь с другого подъезда, куда Галкин и ему подобные не допускались. Но тщеславные литераторы тешили себя надеждами. Ведь легендарный Ш. сидел вот за тем столом, спал вон на том грязном матрасе, а теперь большой человек, почти классик с девяносто третьего этажа, завсегдагай ЦДЛ ...

О, это магическое сочетание букв – ЦДЛ! Как казалось иногда Галкину, оно манило литераторов более всего. «Я – в Це Дэ Эл ...», «Видел вчера в ЦДЛ Спасокукицкого – в драбадан ...», «Нажрались вначале в ЦДЛ, потом на семидесятый поднялись морду бить Певтуху ...» и т.д. и т.п. Этот ЦДЛ – Центральный дом литераторов – ресторан, куда допускались только писатели с пресловутых верх-

них этажей из другого подъезда. Простому первоэтажнику вход туда был формально воспрещён. Тем не менее, каждый вступивший на литературную стезю, считал делом профессионального престижа отметить в ЦДЛ. Годами вырабатывалась и передавалась из поколения в поколение целая система способов проникновения в ЦДЛ. Наиболее живучим и действенным был путь через женскую душевую под видом сантехников ...

Переодевшись иностранцами.

Под видом делегации с подшефного завода.

Нагло, не говоря ни слова.

Скромно, заявляя вахтёру: «Вы что меня не знаете?»

С Классиком под ручку.

Галкину тоже удалось посетить ЦДЛ, но он не произвёл на него должного впечатления. Напротив, его не оставляло обидное ощущение, что его обманули, так как ЦДЛ очень напомнил ему первый этаж общежития. Выпивка, конечно дороже, размышлял Галкин, но также полыхает веселье, те же внезапные ссоры с нелицеприятным признанием: «И ты дерьмо, и стихи твои!?» Правда, за столиками сидит много Классиков, но большинство из них почему-то пьют за счёт начинающих. Когда Классик, поэт Прямых, стал выливать бутылку коньяка за воротник Классику, поэту Собратьеву, Галкин уже ничему не удивлялся. Всё это он уже не раз видел на первом этаже общежития, только вместо коньяка было пиво из чайника или чаще всего чай. По сути, то же самое, но бесплатно.

Замечаете? Блаженчане воспринимают все явления слишком буквально. Без иронии.

Не надо! А его «Никитские ворота» ?

Которые он накалякал на пару с Лошадиновым?

Это разве его?

А кого же – Лошадинов только хохотал, да поддакивал.

Не один он ржал, это же пародия.

Я бы сформулировал так: это весьма сомнительный труд, имитирующий в дурно пародийной манере стиль известного всем Классика. Можно и иначе: это опус, снискавший печаль-

ную известность своей предвзятостью и полнейшим непониманием литературного процесса.

Что за вонючий официоз? Дайте лучше почитать.

Жрите, только за точность не ручаюсь – от руки переписано.

НИКИТСКИЕ ВОРОТА.

(К истории литературных отношений)

В Париже я был семьдесят девять раз ... Впрочем, не в Париже дело.

Весна. Бульвар Капуцинов. Под стыдливо цветущим каштаном старушка, листающая тринадцатое издание «Шарика» на не помню каком языке. Неужто Ахмад-Дедуллина?

Это была она ...

– Ты помнишь Переделкино, Валя? – спросила она.

Я помнил ...

Чехов тоже трудно привыкал к Сибири. Он тоже любил театр и женщин. Впрочем, не в Чехове дело.

Ангарец сидел в самолёте. Самолёт летел. Ангарца – мы будем писать его с маленькой буквы – мучило несварение желудка и ностальгия.

Мне рассказывал Козырь, что его не удивила наша встреча тогда в самолёте. Мы были разные, но великие. Весь полёт Козырь читал стихи. Его голос завораживал. Ангарец молча ел сало. Я понимал его – он, как и я был непростым человеком. Всего не помню, но помню, что поэзия и сало сближали нас.

*Зеркала памяти ... Клим Самгин ... Россия, лета, Лоре-
ля ... Адель ... ностальгия ...*

Всё спуталось ...

Локоны Ахмад-Дедуллиной ... Горьковатый запах жареных каштанов на улице Де'Бильи ...

Всё спуталось ...

Повороты коридоров общежития – повороты судьбы.

Всё спуталось ... В Шереметьево ангарец завернул остатки сала в стихи Козыря. Зловещее сало сибирской литературы.

Всю дорогу от аэропорта до общежития Козырь молчал. Не знаю, о чём он думал: о «Шарике» или о Достоевском. Можно было бы, конечно, процитировать сейчас по памяти его стихотворение, посвященное мне. Кажется, он писал так:

*«Не давайте детям сало,
Оно может навредить».*

Но, впрочем, за текст я не ручаюсь.

В общежитии ангарца встречала Муза. Женщины бывают разные. Муза писала тогда пьесу о привидениях в украинских библиотеках.

Сложна драматургия жизни, у неё свои законы. Ангарец и Козырь любили Музу. Муза была одна.

Не помню: кто из нас отстал на лестнице ...

Но помню мы лежали с Музой в кровати, когда под дверью раздался голоса.

Они о чём-то спорили. Наверное, о поэзии.

– Не ломайте дверь! – раздался голос Валета. Он выходил из комнаты, переполненной неудовлетворёнными женщинами.

– Эй, Валя! – закричал он мне. – Давай червонец, я пива принесу.

Я был бы рад увидеть Валета, но между нами лежала Муза.

Валет никогда не бывал в Париже. В его рубашке, набитой рукописями, часто рылась Орда. Но сало лежало не там.

Под утро стихло шуриание о стенку банок, которыми Козырь и ангарец слушали наши звуковые волны.

Больше я не видел Музу. Утро застало нас втроем: Козыря, ангарца и меня. Мне удалось помирить двух поэтов. Потом Валет ел сало, солёное от слёз ангарца, и читал пособие по орфографии. Время от времени он хмурился – за дверью кружила Орда.

– Я боюсь, – сказал Козырь. – Валя, проводи меня в туалет.

Жёлтое, жёлтое. Вверху голубое ... Светлело ... Лёгкий сквознячок доносил из-за уступа запах гнилых водорослей и селедки ... Мы свернули. За углом лежал Морев.

– Ангарец умер! – сказал он и продекламировал далее:

«Здесь с Гончаровой Пушкина венчали,

Здесь прах ангарца верно погребён ...»

Козырь потрепал Мореву по воспалённому глазу.

– Ангарец жив, – прошептал он, – но его погубят театр и сало.

За спиной послышались вкрадчивые шаги Валета.

Никитские ворота ... Ахмад-Дедуллина ... профсоюзные взносы

Париж/Переделкино

Конец XX века

Наконец, настал тот злополучный день, решивший судьбу Галкина. С утра, ненадолго, появился Славик. Добродушно улыбаясь, он обнял незнакомого ему Галкина и сказал, что Галкин хороший литератор и человек, и не будет ли возражать хороший литератор и человек, если у них в комнате соберутся друзья Славика повертеть круг? Ошеломлённый по-

добным обхождением, Галкин, сами понимаете, не возражал. Правда, упоминание о круге его встревожило. Что за круг? Неужели тот самый, о котором он слышал ещё в детстве, в Блаженске, от проезжего шарманщика?

В его возрасте я не задавал таких вопросов.

Ты, вообще, пришёл в этот мир, чтобы на вопросы отвечать.

Эх, посмотреть бы на круг, одним глазком.

Что было дальше, кто знает?

Славик появился с друзьями уже под вечер. Их было трое – Антон, Муслим и Серебров. Они выгребли на стол из разбухших портфелей вино и закуску. Славик запер дверь на ключ и шепнул таинственно Галкину: «Нас нет, никому не открывай». Галкин, как гостеприимный хозяин выставил на стол свою долю – вино, сыр, конфеты к чаю.

Конфеты жрал, значит деньги водились.

Он работал.

Да, мыл посуду у нас в столовке.

Вначале всё шло как обычно: тосты, шутки, еда – застолье, как застолье. Но вот Муслим кивнул Славику. Славик откашлялся и потушил сигарету.

Слова были о сентябре. Тоскливо качнулись ветки за окном. Комната поплыла. Галкину бы удивиться, да и запечатлеть на всякий там литературный случай. К тому же, видит ведь, что Славик раму дёрнул, вспрыгнул на подоконник и то ли шагнул, то ли полетел в морозные сумерки. Дохнуло дымом осеннего костра – жгли листья.

Галкин закурил. Он ошалел от счастья и совершенно не замечал, как сотрясается от ухающего стука в дверь его комната.

Его ли?

А чья же, – Галкин огляделся, блаженно улыбаясь, – вон койка, чайник на столе, часы-ходики ...

– Оглох что ли, Галкин?! Открой! – дверь изнывала от ударов.

– Отворяй, чего уж там, а то разнесёт, – сожалеюще прошептал Серебров.

Остальные согласно закивали. Галкин повернул ключ и предусмотрительно отошёл в сторону. Дверь, чуть не слетев с петель, распахнулась – тяжело ступая, вошёл Тюменёв. Комната слегка накренилась и изменила движение. Василию Тюменёву было тесно в одежде и вообще ... Гневно сопя, он вытащил из портфеля две бутылки сухого и сел на койку.

– Закрылись ... впрочем, если помешал, могу уйти! – он резко встал. Взвывшая койка сбросила пустой портфель на пол.

– Кончай, Вася, кому ты мешаешь? На-ка, выпей, – примиряюще забасил Славик. Он уже прилетел назад, незамеченный Галкиным. А может, и вовсе привиделось всё Галкину?

Тюменёв, раздувая свирепую ноздри, выпил, положил кусочек сыра в рот.

– Опять что ли летал? – повернулся он к Славику. Говорил, почти не разжимая губ. – Да знаю, знаю! Какого чёрта скрываешь? Все знают! – Вася крякающе рассмеялся и цыкнул зубом.

– А я и не скрываю, – голос Славика зазвенел, – да, я летал!

Улыбка исчезла с блаженного рта Галкина.

– Ребята, – засуетился он, разливая по стаканам вино, – ребята, а ребята ...

– Зачем ты так, Вася, мы тут о сентябре ... – брови Муслима страдальчески выгнулись.

– О сентябре? – Тюменёв поправил бородку неожиданно ласковым округлым движением. – Будет вам о сентябре. Натё!

Забагулила тайга, вздыбилась, восстала. Знакомые слова были резки как выстрел и ударяли в лицо. Терпкая густота сбивала дыхание. Разреженный воздух покалывал лёгкие. Лес постанывал от неистовства и понемногу стал огрызаться хвойным

посвистом. Валуны метафор громоздились и срывались вниз к ногам Васи, но не мешали поступи его. Он вырастал из подробностей как дерево. Его ручищи сгребали оторопевшую тайгу в яростное объятие.

«Вася не желает ни с кем делиться своим сентябрём», – печально подумал Галкин.

– Хорошие стихи, – задумчиво сказал Славик.

Серебров неопределённо хмыкнул. Рука Галкина потянулась за сигаретами. Он увидел скучающие глаза Антона и покраснел.

– Да, хорошие стихи, – восторженно подтвердил Муслим, разливая вино. – Давайте, братцы, выпьем, а потом опять по кругу ...

Галкин долго примеривался взглядом к кругу, но потом понял, что он невидим. Воспользовавшись паузой, он протянул наугад руку и тут же резко отдернул назад. Стараясь, чтобы никто не заметил, он замотал окровавленную ладонь в носовой платок.

– Не притрагивайся всеу – убьёт, – прошептал ошеломлённому Галкину Борода. Когда он появился в комнате?

Выпили. Круг покатился. Галкину труднее всех было поспевать за ним. Ведь он не примерялся к изыскам строчек, а любил. Непостижимо, но всех, всех любил Галкин, наивный прозаик из г. Блаженска, кропавший рассказы о природе. Незащищённая его душа с одинаковой готовностью принимала и полётные ритмы Славика, и буреломные завихрения Васи, и вкрадчивые надрывы Муслима, и прозрачную скороговорку Антона, и ободряющую иронию Бороды, и холодноватый блеск Сереброва.

Впрочем, о Сереброве. Принимать то он его принимал, но полюбить ... А между тем, Серебров казался безупречнее всех. Его тонкий профиль украшала победная улыбка. Серебров был уже автором книги, изданной в столице, и Галкину казалось, что вообще ... Но Блаженчанин мог и ошибаться.

Круг катился, не будучи по существу кругом: *взгляддереволучароматдыханиестрелаожгополётпоцелуйсмадтравазвук ...*

Круг то взвинчивался в руках Антона в высоту, даря изумлённому взгляду Галкина некое свечение неких червонных слов, некий знобящий простор, полный некоей тишины и осенних листьев. То переходил к Муслиму, и тогда некая беспредельность становилась некоей нормой. Противоречья бесувечный – некоей музыкой. Яростная ностальгия по некоему совершенству и цельности взрывала некую связь времён – и вот уже тени некоего Сумарокова и некоего опального Павла становились достовернее сопящего дыхания некоего Сереброва и неких рваных обоев на стенах ... И вновь Славик стеснительно делился всем, чем владел. А владел он, ни мало ни много, а неким пространством, возникавшим из сумерек. Неким листопадом, ходившим босиком. Некоей бессонницей, некоей похоронной музыкой. Некоей разлукой, заученной наизусть. Он воспевал некрасивых женщин, насекомых и учил стихи бродить по некоей земле, как сыновей.

А ещё и Борода, и многие некие другие, вначале незаметные, как тени, кружили по комнате.

Приставучее слово – некие.

Все мы некие.

Мы и ещё шесть.

Шесть?

Ну да, вроде пара философов, пара режиссёров, пара композиторов, всего двенадцать.

Как там, каждой твари по паре.

Кто такие?

Тварь тварью погоняет.

Прямо Пантеон какой-то.

Ага, сами себя избрали.

Апполона только не хватало.

Он и присутствовал с самого начала, кто же затеял весь этот хоровод, это же ... сам догадайся, идиот ...

Каким образом Ктобыл Чего боялся Чтонашёл Скакимичувств ...

Круг искрился, дышал, оглушал, метался, пел. И Галкину хотелось петь нечто похожее на все знакомые мелодии вместе, на всю зазвучавшую вселенную проволочных аккордов, завываний морской бури, мяуканий голодающих кошек, вибрирующих аристократических чисел, хлопающих дверей.

Одновременно он явственно ощущал два несоединимых потока. Один – где-то далеко, снаружи, ледяной, весь в необъяснимых бездонных провалах. Безмолвный и суровый, этот поток поддерживал и словно бы подпитывал опоясанный им же самим другой поток. В замкнутой лаве этого внутреннего потока, полного тёплого брожения иллюзий, надежд и спёртого дыхания непроизнесённых слов, налезавших друг на друга и плавившихся от непостижимости единства этой несмыкавшейся, но нерасторжимо-хаотичной круговерти тёмных потоков, разобраться было ещё сложнее.

Но более всего давил на Галкина далёкий купол, мерцавший в высоте и венчавший хаос непонятным ему, но тем не менее, – он чувствовал – завершённым смыслом. Под уносящимся сводом терялась его, Галкина, отдельность, да и Славика, Муслима, Антона, Васи, Сереброва – всякая отдельность, всякая обособленность. Голоса поэтов теряли тембровую окраску и самостоятельную ценность. Они двоились, троились, догоняли канонические мотивы.

Он метался в звуковом вакууме, подыскивая объяснения своим нелепым ощущениям: нежной ли участливости, решимости ли изменить всё вокруг.

И с готовностью ожидал туманного мгновенья, когда прозвучит некая истина. Разумеется, истина могла быть только *некоей*. Ведь мы живём в приблизительном мире неясных очертаний и чувств, уговаривал себя Галкин. И мучаемся от незаконченности всего и вся. Вот и кажется реальнее то, что мерещится.

А потом, неожиданно всё нарушилось и сломалось. Стали сжиматься реплики, посыпалось битое стекло, оцетинились взгляды – кто-то открыл дверь в коридор общежития. Ещё к Галкину обращались друзья, объясняясь в преданности и любви, ещё он вроде бы растворялся в братской бесконеч-

ности хора дружбы, но холод отчуждения уже растекался по комнате, и Галкин чувствовал это. Открытая дверь высасывала одного за другим в гудевший коридор. Кто же открыл дверь? Загадка.

Круг, оставленный всеми, стал угасать. И Галкин был в одночасье позабыт. Он встал, прикрыл дверь и подошёл к кругу. Сердце билось на удивление спокойно, голова была ясная. Галкин осторожно толкнул круг – тот не шелохнулся. Тогда он налёг на круг всем телом и, напрягая непривыкшие мускулы, упёрся в него. Круг, скрипя, поддался ...

С тех пор пошло-поехало. Блаженчанин, он и есть Блаженчанин. Сколько лет утекло. Кто с собой покончил, кто с литературой, кто с ума посходил, кто высоко в поднебесных этажах живёт в должностях и премиях, а Галкин всё крутит. Дорвался блаженный прозаик до круга и не выпускает его из рук. Воображает, кретин, что, небось, один на целом свете его и крутит-вертит.

Вокруг да около.

Пустоту крутит. Колесо пустоты.

В принципе, пусть и вертел бы. Ведь живёт вроде в общежитии. К нему в комнату и так давно никого не подселяют, дверь досками заколотили. Она даже мхом поросла. Чем живёт, чем питается Галкин, одному дьяволу известно.

Кстати, по ночам, уже ближе к рассвету, из комнаты Галкина в хмельные коридоры общежития, говорят, просачивается частенько запах хвои, доносится гусиный клёкот, женский смех и вроде бы даже пение ...

Вой, а не пение.

Эх, доиграется Галкин! Кто бы объяснил ему, что не от его усилий вертится круг.

Свет обтекал пространство синеватым посвистом. Посвист истончался, превращаясь в звуковую пыль.

А может, и нет его вовсе, Галкина этого, а?

Может и нет.

КАМЕНЬ

Людмиле Диденко

Едва Сизов вошёл в концертный зал, стрелы органа ощерились и угрожающе нацелились на первого валторниста Юрьева. Сизову показалось, что и акустические козырьки над сценой узнающе кивнули – он, конечно, это Юрьев, можно ли перепутать звук его инструмента.

И всё же, глянув на Юрьева, Сизов вздрогнул. Нет, его не удивило, что тот за десять минут до начала репетиции уже на своём месте, хотя по обыкновению Слава Юрьев никогда не разыгрывался на сцене. По его собственному выражению он любил «выдувать гаммки» за кулисами в одиночестве.

Поразил его вид: по пухлым щекам Юрьева, всегда розовым и гладко выбритым, тревожно блуждали в кустиках щетины желтовато-землистые пятна. И без того маленький, срезанный подбородок втянулся в мундштук, пропал. Взгляд ввинчен в клапаны валторны, раскачивавшей всего два звука – фа-ми, фа-ми ... Равномерно, как на качелях.

Дрожащий, тяжёлый комок прорвался в груди Сизова – он ощутил медленное движение изнывающей, густой волны по всему телу. Теперь каждый шаг к своему месту под тусклыми зубьями органа причинял ему боль. Сквозь множество беспорядочных звуков, щипавших его словно комарьё, Сизов явственно различал косящие взмахи валторны Юрьева – ФАмиФАмиФАмиФАмиФАми – по вискам ... И мысли, тяжёлые, как градины, бились в застилавшей его темноте.

Расплата приближается. И поделом. Он убил. Уничтожил одним словом. А потом ещё и ... Только при чём здесь Юрьев? Вон как зеленовато плесневевает от обильной испарины его лоб, как тяжело и тупо стучат о клапаны переставшие сгибаться пальцы. И всё же до конца уверенным быть нельзя. Подойти и спросить? Вдвоём-то легче ... Ах, нет-нет, ни с кем не говорить, не советоваться. Тем более с Юрьевым,

который ... И натолкнуться на презрительную усмешку пухлых губ, всегда выпяченных вперёд? После двух лет ссоры первому обнаружить слабость? Да, он не такой уж и супермен, этот Юрьев. А представлялся-то ... Ах, как он сосредоточен, никого не видит, не замечает. Где же твои каламбуры, Славочка Юрьев? Умерли? Почему не летают вверх-вниз твои знаменитые брови, аккомпанируя островам, шуточкам, байкам, анекдотам ... Что? Внутри тебя такая же серая, гнетущая неподвижность? Давно ли, старинный мой коллега?

Ещё утром, когда главный дирижёр пригласил Сизова и Юрьева к себе в кабинет, Сизов беспричинно насвистывал, воображая себя таким легкомысленным везунчиком: вернулся восвояси, не пропал, да ещё и избавился от наваждения, от этой болезненной страсти к Регине. И не важно, какой ценой ему это удалось. Правда, справедливости ради следует всё же отметить, что некое тревожное предчувствие посетило его ещё до разговора с Меркурьевым. Он прохаживался по зеркальному коридору, с нетерпением ожидая, когда выйдет от главного Юрьев, и вдруг ... Нет, этот гнусный холодок, скользнувший ухмылкой по спине, возник не в связи с предстоящим разговором, а при нечаянном взгляде на себя в зеркало. Он, Сизов, в бесконечно повторяющейся многомерности: ни перспективы, ни горизонта, ни, на худой конец, – стенки ... Оптический бумеранг, самозамыкание взгляда, вот и пробежало эдакое, с гнильцой, предчувствие. Да вдобавок и подвальной сыростью пахло.

Однако, так мимолётны и несуразны были те неприятные секунды, что Сизов уже и не помнил о них, входя в кабинет к шефу. Народный артист Меркурьев сразу же приступил к делу: от тромбониста Сизова на сегодняшней дневной репетиции кое-что потребуется. Сущие, впрочем, пустяки – взять три, ну, четыре (это не имеет значения, но не меньше трёх) неправильные ноты в одном месте. В каком? В финале «Фантастической» Берлиоза, в самом конце, вот здесь ... Для чего? Ах, какой наивный молодой человек! Не догадываетесь?

Сизов не мог оторвать взгляда от тонкого рта Меркурьева:

казалось, щель в копилке для мелочи, откуда слова, фразы, словно монеты разного достоинства, вылетали, звякая и брэнча, и начинали кататься по комнате.

– Для того, чтобы удостовериться в состоятельности дирижёра-дебютанта. Свообразная проверка, понятно? Ведь что ни говорите, он претендует на место второго дирижёра, то есть хочет работать в на-шем-кол-лек-ти-ве. Хороший музыкант фальшь должен слышать. Да-да, просто обязан. А уж коли нет ... просим прощения, просим прощения. Нам такие дирижёры не нужны!

Немигающий снайперский прищур главного дирижёра замораживал Сизова. Между тем, Меркурьев продолжал, или всё это прислышалось Сизову?

– Слабо пробный камешек бросить, а? Признайтесь! Что вы скажете? ... Не понимаете? Или не хотите? Собственно, что здесь особенного? Многие на моей памяти соглашались. Ах, назовите это по-другому. Хотите ошибкой, случайностью или, в конце концов, судьбой ... но для общей пользы. Для нашего оркестра, чёрт возьми! Разумеется, на одну репетицию. Так и так – это лишь генеральный прогон, времени много не будет для копанья. Припасите три нотки до кульминации и ... всё пойдёт своим чередом ... я вам, конечно, в свою очередь ... не то, чтобы ... пренебреженно ... насчёт квартиры помогу, – закулил вдруг тенорком всемогущий шеф, несравненная, легендарная личность. И начал ласково, по-отечески выпроваживать Сизова.

– И пейте себе дальше на здоровье. Только ха-ха-ха, не перед концертом, как в тот раз ... И крутите амуры, баловник вы наш. Хоть и стали вы в последнее время слишком много себе позволять в этом плане. Я бы сказал, не по возрасту, седой уже, о пенсии думать надо. Разумеется-разумеется, вы были среди первого, так сказать, состава оркестра. Один из его, так сказать, строителей, знаю-знаю, но тем более. И потом согласитесь, оркестр не может застыть на одном месте, оркестр – это ... вы сами, впрочем, понимаете не хуже меня, что такое – оркестр. Вы же умный, Сизов, зачем вы ввязываетесь не в свои дела? Не спорьте, дела бывают свои и чужие.

Одна эта история с так называемым похищением дочки Асопинского – зачем надо было вам шум подымать? Она ведь, согласитесь, сама была не против, ну, не надо, не надо, это все знают – с большим удовольствием провела две недели на Канарах, вернулась загоревшая, похорошевшая. Кстати, она бы и без вас вернулась, не она первая, не последняя ... А чего вы добились своим неуклюжим вмешательством, праведник вы наш? Лишь гнева Питерса. И это ради пары пивных автоматов за кулисами? Такие пустяки, такая ерундовина ... чуть ли не разочаровался я в вас. А уж ваш пресловутый то ли роман, то ли чёрт знает что, с этой, как её ... Танатосян, дело вкуса, конечно, но, в принципе, ведь всё выглядело со стороны тоже как своего рода похищение. Да и на глазах всего общежития, бр-р ... Для чего, почему? В конце концов, всё равно же вас уволили, и возвращение ваше в оркестр до сих пор липовое, так сказать, на волоске висите. В общем, договорились, голубчик, договорились. Не забудьте. Именно в этом месте. Три нотки. Или четыре. Три – четыре, три – четыре, чиж летает, слон в квартире. Камень, камешек вы мой, каменёчек, куманёк ...

Сизов недоумевал: неразбериха и только – от юридивого приглашения к кумовству до взывания к некоему долгу перед оркестром. Не просьба и не приказ, а ты уже вроде в капкане неких штрафных обязательств. И свёл их вместе с Юрьевым этот бестия Меркурьев не случайно. Хотя, совсем и не понимает, что квартирный аргумент вовсе не для Сизова. Ну да, он живёт впятером в одной комнате, да ещё с детьми Юрьева, но об этом не произнесено ни слова, будто вовсе и не было развода Юрьева с женой и скандального переезда в общежитие уже вновь образованной семьи во главе с ... Сизовым. Что никак, впрочем, не входило в намерения тромбониста, даже когда супруга Юрьева на следующий день после двух их почти случайных поцелуев, будто бы потеряла контроль над собой и, оборвав все связи с прежней жизнью, заявила к Сизову с двумя детьми и мамой. Наш герой, как говорится: не-думалне-ожидал, просто приютил. Однако, с тех пор жизнь его уже

в который раз не по своей воле изменилась и ... потекла по другому руслу.

Оркестранты, за исключением Сизова, разыгрывались. Предстоящая репетиция волновала: вдруг дирижёр понравится, приживётся в оркестре и возвратится полузабытая полнокровная жизнь с каждодневными репетициями. Меркурьев появлялся за пультом редко. Проведёт концерт и тут же прямым ходом на гастроли, оставляя оркестр на попечение разовых халтурщиков. Вот оркестр потихоньку и разваливался, как отсыревший рояль: постепенно оседают колки, спускают струны, и, наконец, оглушительно рвутся баски ...

Сизов растерянно оглядывался. Когда всё это началось? Прошлое сливалось с настоящим. Где он, что он? Оркестровые улицы обволакивали его запахами горелой пиццы, жжёной резины, приторных восточных духов, женского пота ... Прикрыл глаза – ни переливов света, ни встречных взглядов. Залпом опрокинул стакан вина. Спленные разошедшиеся брёвна. Вздрагивающая кабина лифта в тенистом палисаднике. Близкое журчанье воды. Он бродил по заплёванным переулкам духовиков. Смаковал короткие соло и вновь тонул в спёртом воздухе ожидания. Его помыслы, между тем, устремлялись в просторные долины струнных. Плутая в дебрях мелочных упрёков, он набирал дыхание и на скоростном крутом вираже вылетал за вальсирующий горизонт. Повторяющийся мотив жадно всасывал, вбирал в себя без разбора колючие всплески пустынь, хвойный дух морских дюн, пронизывающие хмельные сквозняки клокотавшей городской окраины. Сизов таинственно улыбался, предвкушая примирение враждовавших голосов в туманных сумерках.

От Регины Асопинской распространялся запах болотных водорослей и тины. Она сидела в группе альтов вполборота к нему. Нога на ногу, спадающая босоножка. Регина слезила беззвучно по струнам, разглядывала в паузах ногти. Сизов мысленно целовал её в шею и умирал от блаженства. Од-

нажды в гастрольной поездке Сизов оказался в автобусе рядом с Региной. В облаке дурманящих ароматов его слегка поташнивало. Он поглядывал искоса на дремавшую альтистку и пытался, будто перед расставанием, запечатлеть в памяти её облик. Лицо Регины равнодушно преодолевало привычные очертания и растворялось в неуловимо текущем пейзаже. Придыхания нескошенной травы, темные впадины ущелий, дымчатые перелески кружили голову. Сизов с торжествующей обречённостью скатывался в горькие объятия оврага, стискивал нагретые солнцем, рассыпавшиеся под пальцами глиняные камни и чувствовал с наслаждением, как мир отторгает его в пределы, где нет этих легко дышащих холмов, возбуждающих рек, – есть только пустынно притаившееся вдалеке равновесие тёмных, жертвенных празднеств. Сизов призрачным галопом путешествовал по пространству бесплотных божеств и случайных рефлексов. Бормотанье неназванных имён стекало в желтоватую каменистость молчания. В магический круговорот некогда оцепеневших строчек. В кочующее жилище отражений: деревянный домик, полотенцевый тюрбан на влажных волосах, танцующие косточки спины, повороты, изгибы, шевелящиеся слова – Регина, Регина ...

Хотя, в действительности была просто концертная поездка на автобусе и ... другая Регина, непонятная, ускользающая. На остановках Регина выходила курить, стояла отдельно от оркестрантов рядом с угрюмым небритым шофёром. По вечерам уставший Сизов ворочался на скрипучей кровати в провинциальной гостинице и прислушивался к голосам за стеной. Ему не везло: его соседом постоянно оказывался Юрьев. Ежедневные гулянки начинались после одиннадцати вечера. Звон стаканов, шуточки Юрьева и оглушительный хохот всей кампании. От невозможности заснуть Сизов выходил на улицу и однажды буквально чуть не натолкнулся на Регину, проскользнувшую в дверь затемненного автобуса. Щёлкнула дверь, и рука шофёра задёрнула занавеску.

Вот и недавний её вояж на Канары. И с кем? С этим хро-

мым ублюдком Питерсом. Разумеется, Сизов сразу же догадался, куда исчезла в разгар концертного сезона Регина. Благо, сама со смехом и рассказывала о гнусных предложениях Питерса. Вроде бы в шутку, ещё и совета спрашивала.

Но делаясь предположениями с отцом Регины, он и вообразить не мог последствий своего признания. Разгневанный родитель, оказавшийся на поверку моложе Сизова, не говоря уже о Питерсе, мрачно предложил Сизову денежное вознаграждение. Оркестрант наивно попытался обосновать Асопинскому бескорыстные мотивы его признаний. И только убедившись в намерении отца жертвы похищения оплатить его «услуги» – гешефт есть гешефт – робко попросил преуспевающего директора ликёроводочного комбината, вместо денег установить в фойе артистической пивной автомат. К возвращению беглянки автомат с пивом уже украшал тесный предбанник. Подробности противостояния алкогольного магната с директором филармонии Питерсом, впрочем, прошли мимо внимания Сизова, удручённого предательством Регины.

Он в очередной раз сорвался, то бишь – запил, забуянил, стал беспричинно оскорблять коллег и, наконец, после того как перед одним из концертов растянулся на лестнице, резко оттолкнув заодно и возвернувшуюся неожиданно Регину, он был уволен. Он лежал на грязных ступеньках, кричал что-то злое, обидное. Орал в пустоту лестничного проёма, ужасаясь и проклиная одновременно свою безответную любовь, жестокость и готовность к прощению. Кого прощать? Все эти лязгающие в пустыне каменные секвенции? А Регины и след простыл. Да и не нуждалась она в его прощении.

Неугасающая влюбчивость Сизова сыграла на этот раз с ним же необъяснимую шутку. Ранее достаточно было ему устремиться на волнах иллюзий и щемящих модуляций в манящую неизвестность, как что-то срабатывало в атмосфере, и начинали вспыхивать вокруг неясные флюиды взаимности. Открываясь для нового ошеломляющего откровения, он, впрочем, умудрялся не разлюбить и прежних своих спутниц. Он

так и называл их про себя – не возлюбленные, а спутницы. Неумомимая готовность любить удивляла, между тем, лишь самого Сизова. Он привык возвращаться к временно покинутым им женщинам и с удовлетворением отмечать, что если спутницы и страдали, то вовсе не от разочарования. Его чувства, словом, ещё ни разу не остались незамеченными.

Что же теперь произошло в действительности? Догадки мучили вечно полупьяного оркестранта. Обмануться он не хотел: почему Регина предпочла ему других? И если ещё авантюру с шофёром можно попытаться понять ... провалился этот шоферюга, – но Питерс, Питерс? Неужели корысти ради? Ах, не верится. Конечно, Сизов сам не навязывался, не домогался, возрастная дистанция не позволяла – более тридцати годочков ... Судьба распорядилась любить на расстоянии. И тем не менее, Сизов воспринял поездку Регины на Канары не только как оскорбление его лучших побуждений, а как окончательный крах всей его жизни.

Что могла изменить в этом горьком крушении нашумевшая, хотя и, по сути, довольно тривиальная история с Танатосян? Ну, конечно, никто и представить не мог «профсоюзную даму» в роли неистовой искательницы любви. Всё что угодно, только не это. По слухам, даже сам директор филармонии остерегался перечить малоразговорчивой стройной даме в неизменной белой блузке. Когда она появлялась неожиданно в зале за десять минут до конца репетиции, оркестрантов охватывало беспокойство – к кому? От неё зависело тысяча вещей: ставки, отпуск, путёвки, квартиры, общежитие, зарплаты, пенсия и увольнение – по существу вся повседневная жизнь оркестрантов.

Заметив на следующий день после своего пьяного конфуза Танатосян в первом ряду, Сизов вяло подумал, что теперешний визит сей дамы, несомненно, по его душу. От нечего делать он стал рассматривать непрошеную гостью и вдруг с удивлением отметил густые пепельные волосы, забранные в пучок, огромные серые глаза с поволокой, высокую грудь, холёные пальцы,

теребившие папку с документами, приоткрытые колени и ... необъяснимую общность с Региной. И как только возникло удивление, зазвучал плоский вальсирующий мотив. Что было потом? Очарованного Сизова понесло, он расцветал от вдохновения. Поражённая Танатосян сомнамбулически слушала восхищённые комплименты Сизова. А он помнил только, что в шутовском раже заманил Танатосян в общежитие на чашку кофе. На бокал шампанского. На рюмочку коньяка. На танцы. Танцевать, кружиться в тривиальных модуляциях, кружить и быть кружимым пышнотелой причмокивающей дамой без возраста – так выглядело в сверкающем фейерверке звуков ностальгическое прощание Сизова с опостылевшей жизнью. Это он осознавал со всей отчётливостью – прощание. Уже давно разошлись последние танцоры, а окоченевший Сизов, прижатый к груди Танатосян, всё ещё вяло тактировал еле передвигавшимися ногами. В ритме неизвестно откуда доносившихся пиццикато явственно прослушивались повторявшиеся – зов ... зов ... зов ... Это же окончание его фамилии, встревожено ухмылялся Сизов и безуспешно пытался освободиться из объятий то ли Танатосян, то ли Регины, то ли ... Все женщины мира слились в облике плотоядно причмокивающей дамы, вытаскивавшей из его брюк ремень. Улёгшись на железную кровать, она закрыла глаза и протянула обескураженному музыканту ремень. Он привязал её руки к спинке кровати, снял с себя рубашку, перетянул ею поперек холодного мягкого живота – когда же она успела раздеться догола? – и тихонечко на цыпочках ретировался к двери, придерживая спадавшие брюки.

Очутившись в коридоре, он с облегчением повернул ключ в двери и повалился бессильно на некрашенные доски. Там его и нашли через некоторое время соседи. Он сидел, прислонившись к стене – седой старик с остановившимся взглядом, не отвечавший ни на один вопрос.

Очнулся у водопада. Башня бумажных звуков, бегущая сама от себя. Солнце в глаза. Мальчишки лазили по валунам, отыскивали катившиеся с гор камни и складывали их с весёлым

галдежом в бесформенные кучи. Сизов смачивал время от времени торчащий вихор, поглядывал наверх и с невольным волнением готовился к восхождению. Убежденность в предстоящем пути тяготила его и сковывала всё внутри. Одновременно он испытывал особое наслаждение от отсутствия страдания. Муравейник улиц, всевозможных проходов, тупиков исчезал на глазах – одна тропа, одна линия вмещала весь грядущий мир.

Танатосян задержалась в общежитии на месяц. На зазывные её причмокивания откликнулись практически все оркестранты. Некоторые духовики посещали любвеобильную даму через день. На репетициях сидели бледные, с глазными подтёками, но дружно не выдавали местонахождения беглянки. Между тем, паника поднялась изрядная: филармоническая жизнь в одночасье словно бы сорвалась с привычных рельсов и радостными ухабами покатила в тартарары – всё, как оказалось, держалось на Танатосян. Обалдевшее оркестровое население, опьянённое хаосом, тем не менее, самонадеянно строило планы на будущее. С лица Меркурьева исчезла снисходительная улыбка. Выдрессированный оркестр звучал как ни странно в этой неразберихе всё лучше и лучше. О Сизове же никто не вспоминал. Поговаривали даже, что он умер, но как-то с оглядкой, шепотком: да-да, скончался, но ... вроде бы, и не всерьёз, а так, странным образом на какое-то время, и да и нет, более того: то ли отпущен – оттуда! – то ли сам сбежал, то ли просто разыгрывает всех, а сам припеваючи себе поживает. А в целом, лучше от него всё же подальше, ну его к той самой матушке ...

И вот, в один день всё изменилось. Уволенный, исчезнувший и даже якобы умерший Сизов появился на репетиции. И, как в былые времена, под шафэ. В тот же день и Танатосян возвернулась, как ни в чём не бывало в свой кабинет в филармонии. Оркестр притих, померкли лица, смолкли легкомысленные восклицания, смешки. Ожидание чего-то неизбежного сквозило, перебегало гипнотически от пульта к пулту.

Сизов механически отмечал про себя всё, что делалось на сцене, но сам будто отсутствовал, отгороженный от всех зыбкой пустотой, обнажавшей неожиданным увеличительным стеклом странные подробности в обыденных вещах.

Ну, скажем, приближался вдруг надменный профиль концертмейстера оркестра: этот крупный, породистый профиль давал, по всей видимости, право своему хозяину чувствовать несомненное превосходство надо всеми остальными оркестрантами. В справедливости этого превосходства, впрочем, никто не сомневался – это всё Сизов, вернее его взгляд, неожиданный для него самого, отмечал, – вон, литаврист что-то униженно просит у чудесного профиля, а тот и не думает снизойти и повернуться к изогнувшемуся басовым ключом просителю ... Скрипач Грибов занудно шагает по ре-минору в туфлях на платформе, концертмейстер виолончелей методично исправляет штрихи в партиях, только не карандашом, а ... этим самым – чудеса ...

В группе альтов воробьиное оживление: вероятно у кого-нибудь из них день рождения, готовятся отмечать. Где же Регина? Ах, да, её более ... не существует. Духовики опаздывают, как всегда. Уже инспектор оркестра, хлопая в ладоши, кричит где-то сзади: «Начали! Начали! Все по местам!», а первого флейтиста всё ещё нет.

Быстрый взгляд на группу тромбонов – собрались. Но никто из них, да и все остальные вокруг, не замечают, что Сизова нет, что вместо него – неподвижность, глыбища, айсберг ... А может только вид делают?

Между вторыми и первыми скрипками показалась, полетела голова дирижёра. За ним местный солист вприпрыжку: что ни говори – шанс-шансик. Почти одновременно, в раскосой глазнице директорской ложи, разделённой витиеватой переносицей, появился Меркурьев, за ним директор филармонии Питерс. Итак, судьба и обвиняемый, вернее подозреваемый в таланте – дебютант.

Меркурьев сияет, светится, дарит улыбки. Так волнительно переживать эти минуты, не правда ли? Говорят, дебютант талантлив? Приятно, приятно! Разумеется, возраст не помеха.

Если молод, да ещё талантлив – чудесно! А как он насчёт камешков? У меня там два приготовлено. Правда, неотёсанные ещё, наверное, волнуются. Для них тоже в каком-то смысле предстоит дебют.

Дирижёр поднялся на подставку и повернулся лицом к оркестру – вот тебе и на, совсем пацан. Мальчишка, салажонок, туфта. Вот судьба: один рождён командовать, так сказать, дирижировать. Ему сразу всё – и должность, и квартиру ...

А Сизов, значит, опять жди? Впрочем, разве в этом дело? Да и сам же оставил прежней жене квартиру и возвратился в тесную общагу ... Правда, с другой женщиной, да ещё с детьми. В его-то возрасте. И всё же, пожалуй, Меркурьев прав – хороший дирижёр фальшь должен услышать. Должен ... Мы его проверим, этого сынка, прощупаем, обсосём, обглодаем, а то – на готовенькое разбежался. А в мою комнату с двумя детьми, да с так называемой тёщей, не хочешь? ... Интересно, что же обещал шеф Славке Юрьеву за товарищескую помощь по части лажи? Квартира у него имеется ... может ставку повыше? Впрочем, можно не сомневаться, они уж договорятся с Юрьевым.

Дирижёр похож на какого-то зверька. Точно – на летучую мышь. Только вчера Акимушкина детям перед сном читал: «... по земле многие летучие мыши вопреки ожиданию бегают неплохо, а некоторые и весьма проворно». А вы как, маэстро?

– Здравствуйте, – говорит он, – начнём с Листа, пожалуйста.

Что же, голос твёрдый. Да и взгляд чёрных широко расставленных глаз довольно уверенный. Совсем неплохо для дебютанта. Правда, росточку маловатого и худенький. Но зато крупная голова. Это сразу бросается в глаза – несоответствие. Головастик, дебютантик, сынуля ...

Поднимает палочку. Тишина. Первое тутти?! Так себе, вразвалочку. Слишком старается, мышонок. Да и жест чересчур размашистый – крылышки так и взлетают. Останавливает оркестр, зверушка лесная, поёт первую интонацию,

заостря чрезмерно пунктир. Зря, сейчас будет перекося в другую сторону. Так и есть – не вместе. Дирижёр удивлён. Напрасно, напрасно, оркестрантам не следует показывать своего пренебрежения.

Если этот птенец начнёт работать над каждой фразочкой в аккомпанементе, то он ещё заведомо, до «Фантастической» проиграл. Ан нет, всё-таки дал вступить пианисту. Каденция солиста и – вновь грозный проигрыш оркестра. Немного лучше. Старается, пыхтит юнец-игрец. Терпение, молодой человек, терпение. И снисходительность. Тогда, может, и состоите как дирижёр, а пока ... техника ничего, неплохая. Но руки, руки жестковаты! От волнения или от природы? А сердце имеется?

Сизов поймал себя на том, что, приглядываясь к дирижёру, начинает за него «болеть». Это было странно, И тем не менее ... Правда через некоторое время что-то изменилось вокруг: взмахи серых перепончатых крыльев стали жестче и непреклоннее. На раскованную светлую тему виолончелей из второй части дирижёр натянул деловитый скюртук конторского клерка – не откликнулся, не оттаял, не вздрогнул ... Но может в скерцо? Нет, всё тот же мундир благопристойности. Вовремя показывает вступления и не больше: вполне приличен, ритмичен, не замешан, не уличён ... Угольки его чёрных, навывкате глаз застыли.

По оркестровым рядам побежал холодок отчуждённости. Смычки покрылись льдистой корочкой. Потянуло гнильцой из щелей, чердаков, сараев, пещер, кабинетов ... На мундштуках, разъедаая губы, зацвела ржавчина. Плесень, самая натуральная бархатистая красавица нагло заелозила по ребристым стенкам концертного зала.

Вдохновение отмерялось всем поровну. Солист, задавленный палочными ударами четвертей уже и не защищался – он умирал, цепляясь судорожными пассажами за тень великого Ференца. С последним аккордом вдруг ухнули пушки органа. Дым, грохот, и всё смыло вокруг. Погас свет, началась паника.

– Безобразие! – кричали оркестранты, – дожили до

того, что орган стрелять начал! Куда смотрит руководство, профсоюз?!

Минут пятнадцать, пока восстанавливался порядок, Сизов успел пропустить пару кружек пива. Оркестранты сгрудились вокруг пивного автомата, обсуждая случившееся. Когда дым рассеялся и вновь зажёгся свет, обнаружилось, что пропал дирижёр. Да, исчез мышонок, испарился, сгинул. Было от чего волноваться – пропал дирижёр.

А Сизов? Он ликовал: теперь уж он не будет брошен немолимой рукой шефа в эту летучую мышь. Нет дирижёра – и не надо. Сами разбирайтесь в своем междусобойчике.

Но что за возня, за крики? Половина оркестрантов бежало к центру зала.

– Вот он! Витька, жми! Закройте окна! Вылетит. Вот, шельмец, сел на белый плафон! Да вон, в углу! Теперь не отдерёшь. Ну-ка, иди сюда, Маслов. Смычком его, смычком!

Сизов, наконец, сообразил: гоняются за обнаруженным дирижёром. Тот уцепился коготками за белый плафон и ни за что не хотел продолжать репетицию.

Меркурьев злорадно ухмылялся, даже не делая вида, что его беспокоит судьба дебютанта. Явно не состоявшегося, по его мнению.

– Оставьте эту презренную мышь в покое! – раздался вдруг громовой голос. Автор «Фантастической симфонии» шёл по одиннадцатому ряду, откидывая со лба непокорные волосы. За ним еле поспевал ... Энгр, художник Энгр. Гектор Берлиоз и Доминик Энгр – ни мало и ни много.

Меркурьев застыл в почтительном поклоне классикам. Он был явно не готов к такому повороту событий. Берлиоз обводил наэлектризованным взором незнакомый зал. Энгр вытащил из кармана карандаш.

– Все по местам! Я нарисую его заново. Создам его. Кстати, вы знаете, что музыка Россини, это музыка нечестного человека?

Оркестранты обескуражено закивали и в одно мгновение

взобрались на сцену. Через минуту обещанный дирижёр был готов – нарисованная копия прежнего. В верхнем углу что-то пискнуло, и вслед за этим резко разорвался плафон. Нарисованный сразу ожил и устремился к оркестру.

Тоскливо заныла вновь грудь Сизова. Итак, всё сначала. А может, рискнуть и отказаться ... Попробуй, свяжись с Меркурьевым. Да и не он, так Славка Юрьев. Зачем теперь-то всё это? Ведь и шансов никаких у дирижёра не осталось. Понятно, нужна последняя подножка, чтобы падение его стало очевидностью не только для оркестрантов и Меркурьева, но и для начальства. Так сказать, обошлись без вкусовщины, на основании фактов.

Ничего, попрыгает пусть Берлиоз, повозмущается. Придётся потерпеть, маэстро. Кстати, где же он? Ушёл, сбежал? Ретировался, не выдержал.

Зато мышка-парнишка уже за пультом. Внимание, выступление. Тихонечко начали – молодцы деревяшки. Боже, сам господин Берлиоз играет за первую флейту. Ну, дело будет. И за литаврами тоже он, и за контрабасом ... Может он уже и вместо Сизова?

Тема *idée fixe*. Герриет Смитсон медленно спускается с балкона. На ней муаровое платье с короткими рукавами-буфами. Из прорезного кармана юбки выглядывает томик стихов. О, Берлиоз, счастливчик! Ты, конечно, заметил, что верхняя часть платья твоей возлюбленной напоминает очертания сердца. Как это трогательно: сокровенная волна, открывающая грудь и прячущаяся в талии – то линия любви. Ах-ах, мы, думаешь, и не знали? Не такие уж мы, оркестранты, примитивные существа. Мы знали, может быть, более чем ты, но ... Безумец, Гектор, твоя Джульетта, Офелия то исчезает, то появляется, и ты, совершенно не зная её, готов отдать жизнь за её мелькнувший светлый локон. А она ...

Замри, притихни, не шевелись, Сизов. Пусть сходит с ума неврастеничный художник. Конец известен. К чему это неистовство, если всё равно Джульетта, Офелия, Герриет будет покинута? Помни, Сизов, что от тебя требуется! Всё остальное

– мимо, мимо! Чужие страсти, ревнивые безумства, далёкие балы и театральные шествия на казнь, пастухи и пастушки – к чему это ему, Сизову, когда свет вокруг тускнеет, мир сужается и отвердевает.

Но сердце, правда, ещё трепыхается, вздрагивает от одного лишь мимолётного прикосновения кашемирового шарфа Регины ... ах, при чём здесь она, её же не существует более ... Герриет Смитсон, прекрасная ирландка! Твой Гектор с помощью звуков совершает нечто невероятное: над головой слышался шелест колосьев. Да, заколосились трубы органа, заколосились, обдувая своим дыханием всю сцену. И вот она напряжинулась, как птица перед полётом, и – взмыла. Легко и понятно всё в полёте.

Что с вами, Сизов, успокойтесь! А часть пятая, финал? Забыли? Ах птички, ах полёт ... Бросьте! Заскрежетали, скалясь, контрабасы. Гляньте перед собой! Всё был – сон, обман, иллюзия. Возврата нет!

– Но я ещё ничего не сделал ... – попытался возразить Сизов.

– Поздно, поздно, – гнусавил фагот, а за ним и остальная деревянно-духовая мелочь закаркала, – поздно, поздно ...

О, ужас! Из зала на бедного тромбониста надвигался разверзнутый рот Меркурьва. У первого ряда он замер, показывая свою бездонную, горящую глотку. Вдруг оттуда, корчась и кривляясь, выпрыгнула в чём мать родила ... о, бог мой, это же ... Регина ... или Герриет ... Уф, вульгарная ирландка, и сам Берлиоз собачонкой у её ног. Маэстро на кашемировом поводке ... Повалили, полезли чертяки, фурии, чудовища, и все – из скалящейся пасти Меркурьва. Но что это за девушка среди беснующейся погани? Ах, госпожа Ривьер, очень приятно. Как прекрасна ваша эмалевая кожа, ваши чёрные, как смоль, локоны, но ... Куда же вы? Кто посмел? Что вы делаете, господин Энгр? Это же ваше собственное творенье? Убийца ...

– Любовь! Даёшь любовь! – вопили из адской глотки и всё там вертелось, гудело, вьюжило.

Шабаш! Шабаш! На Сизова неслось, приближаясь с невероятной скоростью, злополучное место, в котором, сгорая от нетерпения, его ожидали три неподъёмные ноты. Он стоял на самой вершине горы, изнемогая от тяжести и дрожи в коленях. Тут и промелькнуло счастливое лицо Славки Юрьева.

– Я отказался! Я отказа ... – услышал Сизов его голос.

Но было поздно, просвистел воздух и – дирижёр упал. Симфония, охнув, развалилась.

И всё пропало. Весь сонм. Лишь Сизов с обречённым изумлением смотрел вниз на беззвучные всполохи камнепада.

1976

ОГРАДА

Вот уже несколько дней подряд вдове капитана Орлова снился один и тот же сон. Любовь Израилевна верила в примету, что если утром первым делом посмотреть в окно, то сон забудется. Поэтому, проснувшись, она глаз не открывала, лежала и складывала, словно детские кубики, обрывки сна вместе, пыталась посмотреть его ещё раз, додумывала, объясняла сама себе.

Но смысл этого сна она никак не могла разгадать. Особенно тройной одеколон, запах которого не выносила. Когда покойный Фёдор обливался им по утрам после бритья, Любовь Израилевна ворчала: «Ну, зачем за стол садишься? Ты уже позавтракал одеколоном ...» Фёдор в ответ только посмеивался.

Этой ночью он приснился ей ещё молодой, довоенный, с усиками. Вначале он долго брился, а затем, облившись тройным одеколоном, благоухающий и довольный, начал петь. Но что? Любовь Израилевна никак не могла понять, и не просто понять, а разобрать, уловить мелодию. Одним словом, *не слышала* Фёдора. Оттого и проснулась, озабоченная своим *неслышанием*.

Отчего она его не слышала – вот что её тревожило. Она лежала с закрытыми глазами, пытаясь вспомнить выражение лица Фёдора. Да что, собственно, он мог петь, ведь она прекрасно знала его так называемый певческий репертуар. Однако, странность как раз была в том, что пел он что-то незнакомое, из той, другой жизни, жизни без неё, и потому сам был другой, незнакомый, с чужим выражением лица.

Вдруг она быстро открыла глаза и испуганно уставилась в потолок. «Ограда ... что это я лежу? Сегодня столько дел, а я валяюсь».

Откинув тяжёлое ватное одеяло, Любовь Израилевна опустила ноги на коврик и начала одеваться. Одевалась она тщательно, разглаживала на себе каждую надетую вещь, про-

веряла ладно ли сидит. С той же основательностью убирала постель: вытряхнула одеяло и простынь в коридоре, затем поочерёдно стелила их на кровати, натягивала, подворачивала, чтобы не было складок. Поверх белого пикейного одеяльного покрывала положила предварительно взбитую подушку, накрыла её кружевной накидкой и, оставшись довольной видом прибранной кровати, направилась в ванную.

Включив газовую горелку, почистила зубы и долго поло-скала водой рот, чтобы немного исчез привкус мятной пасты. Обычно Любовь Израилевна чистила зубы порошком, но в последнее время его не стало в продаже. Намыливая лицо, она подумала, что надо бы съездить за порошком в центр. Сполоснув лицо горячей водой, намылила ещё раз и смыла холодной. Отливавшее синевой, белое вафельное полотенце было так накрахмалено, что царапало кожу.

Раскрасневшаяся Любовь Израилевна посмотрела в зер-кальце, висевшее над раковиной, – редкие, седые волосы бес-порядочно сбились после сна, – взяла со стеклянной полочки мужскую расчёску и быстро уложила волосы гладко назад.

В кухню вел маленький коридорчик, оклеенный розо-выми обоями. Любовь Израилевна поставила на газ чайник и открыла холодильник. Пока она доставала оттуда продукты, на кухне как-то сразу потемнело.

Серые тучи неистово громоздились одна на другую. Лю-бовь Израилевна моляще смотрела на небо и шептала: «Хоть бы не было дождя, хоть бы не было ... ну, пожалуйста, хоть бы не было ...»

Когда яркая молния судорожно вонзилась в густое небо и из огромной трещины с грохотом прорвался дождь, руки Любовь Израилевны взметнулись вверх и закрыли лицо. Она отшатнулась от окна и опустилась на стоявшую в углу табу-ретку. Села на краешек, как садятся обычно в гостях, нена-долго, с намерением вскоре подняться. Вместе с тем, в ее по-садке было столько покорности и неимоверной усталости, что казалось, если ей и захочется встать, то она не сможет.

В лице, совсем ещё недавно светившемся бодростью и энергией, будто сломалась какая-то пружина, удерживавшая

эту энергию, – всё опустилось, расслабилось, углубившиеся морщины резко подчеркивали дряблость, неупругость кожи. Любовь Израилевна смотрела на руки, теревшие носовой платочек, и плакала. Слёзы скатывались на платье, вспухшие губы обиженно кривились. И почему-то всё вспоминался Фёдор, беззвучно певший во сне. Что пел? Зачем? Он никогда не пел по утрам, тем более за завтраком. И отчего она его не слышала, отчего?

Вскипел чайник. Любовь Израилевна выключила горелку, но завтракать не стала, села опять на табуретку и так просидела неподвижно, пока дождь не кончился. Только тогда она встала, вытерла слёзы, громко высморкалась и, продолжая кривить губы, недоверчиво посмотрела в окно. Небо постепенно высветлялось и вместе с ним менялось лицо Орловой: в большие серые глаза понемногу возвращалась живость, походка и жесты становились решительнее.

Налив в синюю чашку с выцветшей птичкой на боку чаю, она намазала на ржаной хлеб ванильный сыр и стала торопливо есть. Быстро справившись с нехитрой трапезой, она вымыла чашку горячей водой, вытерла полотенцем и, проверив на свет, не осталось ли на стенках воды, поставила в буфет. Затем одной из тряпочек, лежавших аккуратно стопочкой на батарее, вытерла стол. Оглядев кухню, она направилась по коридорчику в ванную. Коридорчик был тёмный, и Любовь Израилевна, открывая дверь в ванную, больно ушиблась о край сундучка. Стоявшие на нём белые фетровые валенки упали на пол. Любовь Израилевна подняла их и, потирая ушибленную ногу, присела на сундук. Топили в этом году плохо и она, чтобы не простудиться, ходила по дому вплоть до майских праздников в валенках, а теперь беспокойно думала, что надо бы засыпать их на лето нафталином и спрятать вместе со всеми зимними вещами в сундук.

В ванной она сняла с гвоздика большую серую сумку, вложила в неё банку с краской, кисточки, потом вернулась на кухню, взяла с батареи несколько тряпочек, налила в трёхлитровую банку воды из чайника и всё это тоже вставила в сумку. Надев поверх платья чернильного цвета кофту, она

повязалась тёмной косынкой, отчего её небольшое лицо сделалось ещё меньше. Наконец, она прошла по квартире, внимательно осмотрела все выключатели, форточки, плиту, и только после этого взяла сумку и вышла. Уф ...

Жила она на территории военного училища, где преподавал её муж. Капитан Орлов умер внезапно, сидя вечером у телевизора. Здоровяк, спортсмен, его смерть для всех была неожиданной. Любовь Израилевна никак не могла привыкнуть к мысли, что её Фёдор, сильный, неунывающий – умер. Ведь это она, слабая, с приобретённым пороком сердца, всю жизнь болела, а не Фёдор. И вот его нет. Иногда ей казалось, что он умер вместо неё, как раньше, при жизни, оберегая её здоровье, выполнял домашнюю работу.

Чем ближе Орлова подходила к проходной, тем всё более её лицо приобретало скорбное выражение. Около проходной как всегда стояла толпа курсантов, и ей казалось, что все они на неё смотрят и думают: «Вот вдова капитана Орлова, бедняжка». От обиды кривила губы и готова была разрыдаться прямо на улице.

Обида появилась от постоянного одиночества: после смерти мужа её никто, кроме соседки, перенесшей такое же горе, не навещал. Получалось так, что люди раньше ходили в их дом не к ним, а к Фёдору. Но разве она не была ему верной спутницей жизни, добрым другом и женой? Разве не она моталась за ним из одного военного городка в другой, поставив крест на своей профессии музыканта? Разве не она великодушно терпела общество пустоватых, легкомысленных офицерских жён?

Разумеется, она догадывалась, что её недолюбливают, считают высокомерной, не своей. Но ведь она-то прощала чужие недостатки, почему же ей нельзя было простить. Да хотя бы ради Фёдора. Только что прощать?

Да, она любила играть на рояле, когда собирались гости. Но не с целью выставиться, возвыситься над остальными, нет, ей хотелось приобщить всех к музыке, которую любила. Ради бога, музыка тут не при чём. Да и теперь речь не о ней, а о

сострадании её горю. В любой семье детей раньше учили музыке. Это заслуга родителей. В музыке ли дело, если она своих родителей еще девочкой лишилась во время войны. Если она теперь всего лишилась ...

Однако, главная причина её обиды на всех крылась в установленной на могиле мужа ограде, маленькой, тесной, сваренной из неоднородных частей. Орлова полагала, что её муж заслужил более приличную ограду. С большим трудом ей наконец-то удалось вчера поменять старую ограду на новую, широкую, красивую.

Проходя мимо курсантов, Орлова испытывала двоякое чувство: с одной стороны ей хотелось быстрее без задержек пройти через проходную в город, с другой – страстно желала, чтобы кто-нибудь остановил её, расспросил о здоровье, делах, посочувствовал, да просто перекинулся парой слов. От всего этого она внутренне подобралась, глаза опустила и, так ни разу и не подняв их, прошла через толпу курсантов в проходную.

День только начинался. Улица радостно гудела. Небо очищалось от облаков. Напряжение, сковывавшее Орлову, постепенно спадало: лицо разглаживалось и приобретало прежнее энергичное выражение, в походке появилась точность – от того, что правая нога чуть загребала, шаги казались торопливыми. Обгонявшие машины будто подталкивали, заставляли прибавить скорость. Вскоре Любовь Израилевна почти бежала. Сердце от быстрой ходьбы начало покалывать, она остановилась и, улыбнувшись, подумала: «Вздумала соревноваться с машинами, старая дура». Пошла медленно, но незаметно опять стала ускорять шаги.

Дома по правую сторону быстро кончились, последним было небольшое здание бензозаправочной станции. За ним начиналось кладбище. Орлова стояла у бензоколонки и с удовольствием вдыхала запах бензина, напоминавший ей маленький сибирский городок, где они с Фёдором жили до войны сразу после женитьбы, их домик, гараж перед окнами вот с таким же вечным тарактением, непрекращавшимся круглые сутки, Фёдора ... Как мешал ей грохот заниматься, заглу-

шая звуки пианино, как она злилась, что не слышит себя. И вот, поди же ты, теперь он ей по душе, этот грохот. Наверное от того, что заглушать-то нечего. Эта мысль её ужаснула, но сзади резко просигналил грузовик – она вздрогнула и быстро пошла по тропинке к кладбищу, мгновенно забыв обо всём.

Ворота были заколочены досками и она пролезла в выломанную щель в заборе, спрыгнув на подставленный кем-то старый могильный памятник. Под её тяжестью он сдвинулся и она, потеряв равновесие, едва не упала. На кладбище после дождя было грязно, земля скользила под ногами, и Любовь Израилевна подумала, что в босоножках она бы здесь не прошла. Продвигаясь медленно вперёд, она шептала: «Родимые мои, сколько вас здесь ...»

Новую ограду увидела ещё издали и сразу гулко ухнуло сердце. Она почти бегом добежала до ограды и бессильно повисла на ней, стараясь отдышаться. Сердце успокаивалось, но появившаяся слабость делала ноги непрочными и заставляла держаться за мокрую ограду.

Она с завистью смотрела на другие могилки, где стояли скамеечки. «Теперь и у неё есть место для скамейки. Будет и у Феденьки скамеечка. Только надо такую, чтобы с ящичком, тогда можно будет держать там и венчик, и банки для цветов. Было бы только здоровье, всё сделаю. Ограду поставила, и скамеечку поставлю ...»

Она поменяла ограду вопреки запрету кладбищенской администрации и от этого радость была вдвойне. Всё на удивление оказалось очень просто, только знать бы об этом раньше ... А ведь сколько здоровья ухлопано на унижительные просьбы в различных инстанциях об увеличении ограды. Однако, как ни плакала она, как ни умоляла в память о боевых заслугах мужа увеличить ограду – не поменять, об этом и мечтать не смела, – всё было бесполезно. Аргументы о том, что у других ограды в три раза шире, угрозы жаловаться, не приводили ни к чему.

Администрация прикрывалась приказом, разрешавшим ставить ограды размером только два метра на полтора. Да, но если бы у всех стояли такие стандартные ограды, было

бы не так обидно, но почему самая плохая, тесная ограда на кладбище у капитана Орлова? Что же, он самый последний человек? ... Соседка советовала дать деньги начальнику кладбищенской конторы, утверждая, что все так поступают, но Орлова не верила, что тот берёт взятки, и продолжала добиваться расширения ограды официальным путём.

По вечерам, после дневных слёз, унижений, истерик, часто приходилось вызывать скорую помощь. Ночами перестала спать, лежала и задыхалась от отчаяния. Однако, к утру появлялась такая решимость действовать дальше, что Любовь Израилевна даже пугалась, не зная прежде за собой таких качеств. Она опять и опять шла по кабинетам, отказы уже не нарушали установленного круговорота: просьба-отказ-слёзы-приступ-решимость-просьба-отказ ... Всё это напоминало марафонский бег по округлой гаревой дорожке стадиона, на котором потеряли финишную ленту.

Два дня назад, после очередного отказа, Орлова, плача, вышла из кладбищенской конторы и, прислонившись к стенке, высморкалась.

– Чего плачешь, мамаша?

Перед ней стоял здоровенный детина, одетый в серый балахон.

– А вам что за надобность? – засуетилась Орлова. От парня несло перегаром, и она испугалась.

– Не бойся, мамаша, – парень подмигнул, – меня зовут Лёха. Я тут у могильщиков за бригадира, поняла? Может те чего нужно, так это мы враз. Только, сама понимаешь, за гонорарчик.

На следующее утро наспех сколоченная ограда была заменена на массивную, чугунную ограду с узорными набалдашниками. Правда вся последняя пенсия ушла на «гонорарчик», но Орлова не жалела о деньгах. Она боялась, как бы ограду за самовольную установку не выкопали. Вчера несколько раз бегала проверять – стоит ли? Но пока подтверждалось предсказание Лёхи: «На веки вечные!»

Ограда во многих местах была покрыта ржавчиной и от

этого вид имела явно неприглядный. Вдобавок, дождь забрызгал её землёй. «Ничего, мы тебя вымоем, выкрасим, и станешь ты у нас красивой, – Любовь Израилевна намочила тряпочку и тщательно обтёрла временный железный памятник. – Вот мы тебя и умыли, пыль сняли ... сейчас вытрем насухо другой тряпочкой». Затем принялась за ограду: долго её мыла, основательно, оглядывая время от времени оценивающим взглядом; очистив от грязи, попробовала красить, но к мокрому металлу краска не приставала, растекалась. Пусть подсохнет, решила Любовь Израилевна, а тем временем можно на базар за цветами съездить.

Первое время она ставила на могилу тюльпаны, розы, гладиолусы, но они пропадали через час-другой. Женщины научили её обливаться цветами чернилами, но и это не спасало – по утрам на могиле валялись только опрокинутые банки с водой. Орлова не могла понять, как это люди решаются воровать с могил. «Звери, звери», – шептала она ...

Как то ей показали женщину, которая ворует цветы, но посоветовали не показывать ей вида, а уж тем более проявлять неудовольствие. Упаси бог, всю могилу испоганит.

В конце концов, Любовь Израилевна смирилась и стала покупать только низкие полевые цветы, которые никто не трогал. Постепенно она к ним привыкла и когда видела на других могилах тюльпаны или розы, это ей казалось уже крикливым и неуместным на кладбище.

Вернувшись с рынка с цветами, она принялась за работу. Красила она двумя кисточками, вначале большой, а затем маленькой исправляла все изгибы и стыки. Солнце набрало силу и жгло в спину. Она вспотела, но кофту не снимала, боясь простудиться. Она настолько увлеклась работой, что не замечала ни жары, ни проходивших мимо людей. Лицо её полностью освободилось от напряжения. Закончив, она отошла в сторону и долго любовалась сверкавшей на солнце оградой.

«Красиво стало, нарядно, – подумала она и вдруг заревела в голос, – родненький мой ... видишь, и у тебя ограда теперь человеческая ... и памятник поставлю хороший, только

обожди ... скоро травка взойдёт, цветочки, и станет совсем красиво ...»

Дома она вытерла после обеда пыль с мебели, а затем вытаскала из серванта сервиз и разложила его на столе. Протирая голубые чашки с золотыми разводами, Орлова вспоминала, как Фёдор подарил его ей на день рождения. Это было сразу где-то после войны, ещё был жив их Митька, ему было года четыре. Года четыре ... Когда он утонул, им боялись сказать, вернее – ей, так как она уже сильно болела. Она тогда, как чувствовала, не хотела отпускать его в пионерлагерь ...

Сервиз пролежал несколько лет нераспакованным в ящике. Когда купили сервант, сервиз поставили за стекло и вынимали только по праздникам. Орловой всегда доставляли удовольствие возгласы гостей, вроде: «Ах, какой сервиз необыкновенный, красивый, воздушный!»

Перебирая его, она плакала и думала, что больше он уже не пригодится. Внезапно сильно кольнуло сердце. Любовь Израилевна ахнула и чуть не выпустила из рук тарелку. Начинается, подумала она и быстро вынула из сумки лекарство. С таблеткой во рту она медленно, стараясь не делать лишних движений, добрела до кровати. Сердце вскоре успокоилось, и она осторожно встала, чтобы включить телевизор.

Показывали «Клуб весёлых и находчивых». Орлова обрадовалась: значит будут передавать песню про капитанов, которая так ей нравилась. Казалось, что поют про всех капитанов на свете и про её Фёдора тоже. Она машинально смотрела на экран и ждала песню, а когда она зазвучала, радостно заулыбалась. Потом выключила телевизор.

Тишина обрушилась на неё как потоп. Она взяла с полки учебник «Сопроотивление материалов» и легла с книжкой в постель. Одна книжка, одна песня ... Вот и всё, что у неё осталось, подумала Любовь Израилевна. Да ещё тишина. Гнетущая тишина. Как трудно дышать, как тесно ... А странно, что от жизни всё меньше и меньше остаётся. Набираешь, набираешь с годами, а на поверку оказывается, что только и делала, что теряла. Вот даже от музыки одна песня и осталась, а ведь было её – море ... Фёдор пел что-то незнакомое, значит выу-

чил новую мелодию. Что же там ... у них ... в том мире существует музыка? Ерунда ... сон и есть сон. Не слышала она его, вот и застряло в памяти. Она попробовала вспомнить какую-нибудь классическую мелодию, но в голове вертелась песня про капитанов. Ну, что же, одна мелодия, так одна. Тоже ведь музыка, жить можно. Попыталась промурлыкать песню, но голос клокотал и не слушался. Она листала «Соппротивление материалов», вычитывала сложные формулы, которые, вероятно, произносил не раз её Фёдор курсантам, ведь он вёл этот курс в военном училище не один год. Вскоре, так с открытой книжкой в руках и уснула.

Проснулась от ледящего холода. Но он, как ни странно, был ей приятен. Почти блаженство испытала Любовь Израилевна от сковавшей её мерзлоты. Если бы не удивление, то это ощущение можно было назвать и покоем. Да, во всём виновато удивление ...

Она открыла глаза. Был тот самый ранний предрассветный час, когда ночная темнота ещё только-только начинает расплзаться в воздухе. Любовь Израилевна попыталась взглянуть на себя со стороны, но это ей не удавалось – увидеть можно было лишь часть себя. В этом было радующее сходство с собою прежней, когда она ещё была человеком. Другие ограды просматривались довольно отчётливо. Любовь Израилевна подумала, что она не хуже и не лучше других оград. Мысль о срединной своей обыкновенности тоже обрадовала, приумножая главную радость – от преображения. Да и преображение ли? Ведь она по-прежнему чувствует, ощущает холод, удивление ... И не просто так, а осознает всё. А то, что внутри холод и железо, так всё это в ней где-то и раньше было. Зато какая упорядоченность в этих её столбиках – цельность.

Цельность ... Что её встревожило? В чём цельность-то? В сердце? Что-то упустила ... Ах, да, ведь Фёдор ... Вот он – внутри неё. Теперь уже незыблемо, навсегда. Ради него всё, ради необходимости сохранить ... Кого – его или себя? ...

Судорога ужаса пробежала по её окоченевшим внутренностям. Сдавило горло. Она попыталась крикнуть и в отчаянном усилии рванулась из земли наверх. Заскрежетала

неимоверно калитка в ограде – есть калитка?! – и в образовавшуюся щель ворвался ветер. Ветер звуков. Все земные звуки разом забушевали в тесном пространстве ограды и ... она пропала. Внутри сразу отпустило, и Любовь Израилевна задышала ровнее.

1974

КАЩЕЙ

Отмечали юбилей композитора, погибшего сорок лет назад на фронте. Большой портрет Юбиляра хорошо просматривался из любого конца набитого до отказа зала.

Дед сидел в президиуме крайний слева, рядом с портретом. Наклонив голову набок, он чертил в своём блокноте замысловатые линии. Его все за глаза звали Дедом. Он был старейшим композитором города и занимал пост директора филармонии. В тот день ему исполнилось семьдесят два года, и у него сильно болела голова. Тем не менее внешне он выглядел спокойным и бодрым, живо реагирующим на выступления: с интересом вскидывал седой головой, кивал, улыбался, обменивался репликами с соседом – словом, казался весьма доброжелательным и совсем непохожим на недруга Юбиляра.

Между тем ... Нет-нет, при жизни они считались приятелями, вместе учились в консерватории и даже почти одновременно прославились: Дед – оперой. Юбиляр – балетом. В различных почётных списках фамилию Юбиляра всегда ставили впереди, однако Дед понимал, что это временная привилегия мёртвого перед живым. Когда-нибудь, он был уверен, они с Юбиляром поменяются местами. По алфавиту, так сказать. Когда-нибудь ... Но время лучше не торопить.

«Слово о Юбиляре» делал Музыковед. Он был похож на нахохлившуюся птицу. Он едва возвышался над полированной трибуной и, тем не менее, умудрялся производить значительное впечатление на окружающих. Но только не на Деда.

Дед усмехался: общие слова, юбилейная говорильня. Да и что собственно нового мог сказать Музыковед, если вчера Дед уже *прошёлся* по так называемому «Слову о Юбиляре». И не вызывал ведь, не намекал даже, Музыковед сам прибежал к нему в кабинет с текстом доклада. Так сказать, сила привычки. Как это говорят – *оглянись во гневе?* Так вот, Музыковед оглядывался и в гневе, и в радости, и в ...

Словом, жил *оглядываясь*, как все евреи. Впрочем, нет, не все, встречались Деду и поразительные упрямцы. Но у Музыковеда мания эта была заразительна, он словно бы распространял вокруг себя бациллы предосторожности. За что и был подвергаем иногда уничижительным разностям со стороны Деда. Чаще всего беспричинным, так как Деда просто бесила манера Музыковеда во всём, даже в пустяках, перестраховываться.

Деда не любили в городе, но боялись. До некоторых пор это было ему безразлично. Пока его не прокатили в городском Союзе Композиторов, который он возглавлял более тридцати лет. Вот тогда он и вспомнил о шутовском пророчестве Гоголя. Впрочем, шутовское ли?

В студенческом общежитии они жили с Юбиларом в одной комнате, Где-то на третьем курсе прокатилась волна увлечения спиритическими сеансами. Короткая, сумасшедшая волна, которую накрыли испанские события тридцать шестого года. По сути, никто из студентов и не верил в голоса духов, просто дурачились в короткие вечерние часы отдыха.

Имя Гоголя они с Юбиларом называли почти одновременно. И вот погас свет, выполнен ритуал и голос Гоголя ... Разумеется, вещал голосом Гоголя кто-то из тогдашних приятелей. Но кто, Дед не понял. Между тем, Николай Васильевич произнёс в тишине:

– Обращаюсь к вам обоим. Судьбы ваши неразрывны будут. Один виновен будет в смерти другого. Но побеждён будет мёртвым, который жить будет вечно, а живой ...

Что-то ещё сказал Гоголь о вечности, но так тихо и невнятно, что Дед не расслышал. Да и не придавал тогда особого значения словам: забава и есть забава. Мало ли что тут произносилось у них во время сеансов. И кем – Пушкиным, Чайковским, Гёте ...

Белиберда, конечно. Однако, врезалось в память каждое слово.

Музыковед искусно менял ритм выступления: то замирал в конце мало значащей фразы, то переходил к взволнованной декламации, потрясал ручонкой.

Внезапно вспомнилось – торжествующий и гордый Музыковед входит в кабинет к Деду. В руках у него новенький авторский экземпляр его монографии о Деде. Казалось бы, повод для торжества вполне уместен, однако, именно торжество Музыковеда и возмутило Деда; ведь если бы не Дед, то и монографии никакой не было бы, ни написал бы, не издал ... Потом Дед не привык видеть на лице Музыковеда самодовольное выражение. Разумеется, он знал о преданности его, о готовности, не задумываясь, выполнить любое его приказание, любую Дедову прихоть, и всё же ... Да, он обрушил тогда на бедную голову Музыковеда столько сарказма и ядовитого презрения, что тот чуть не плакал от унижения. Ещё бы! Ведь всё это происходило при людях. Впрочем, для Деда это не имело никакого значения – при людях, без людей. Он так считает и этого достаточно.

Приблизить, обогреть, затем щёлкнуть по носу и отдалить – таковы были правила игры. Можно, разумеется, и наоборот, так как людишки на поверку оказывались хлипкими. Вот ты его раздавил, жизнь в нём еле теплится, да и та полна одной ненавистью к тебе, но стоит поманить лишь пальцем, и вот он уже вновь, забыв обиды и унижения, *служит* тебе, да ещё с большим рвением.

Игра ... Нападать под видом заботы, ускользать от откровенности под маской искренности, участливо отталкивать, подчинять с льстивой угодливостью, и ... бесконечное количество прочих вариантов. Да, сколько людей, столько и моделей игры. Дед не любил повторяться. Ведь окружавшие его люди тоже не дремали, изучали его манеры, характер, привычки, чтобы не дать застигнуть себя врасплох. Но Дед был непредсказуем и в этом чувствовал свою силу. Если знать всё наперёд, какая же тогда игра, так, преснятина, будни. А игра – это дразнящий пульс преследования, сладость ложного манёвра, торжество победы. Даже властительный холодок неудачи пьянил Деда куда больше, чем затишье, покой, размяг-

чённость любви. Впрочем, какая там любовь? Что это такое? Музыковед и его собратья по перу утверждают, правда, что в его музыке много любви – к людям, к природе, ну, так сказать, ко всему живому. Им виднее, на то они и щелкоперы. Они должны всё знать. И про любовь тоже. Причём, про любовь – в первую очередь. Они давно подсчитали сколько в каждой сочиненной им ноте любви и прочей дребедени. Причём, даже в процентном отношении ... Какое отвратительное слово – *причём*, прилипчивое, скользкое ... При чём здесь Музыковед, это ничтожное создание, роющееся в его музыке? Музыковед не *при чём*, а при ком – при Деде. Вот и вся его суть, его ценность – *принадлежать*. Да, без Деда он бы пропал, ведь вся его сила была в компиляции и театральном пафосе, однако, только Дед сумел эту силу почувствовать, обнаружить и заставить проявиться во всей полноте. А ведь поначалу Музыковед тщился свои худосочные идеи отстаивать, выдавать за самостоятельные находки. Однажды срочно надо было написать пару абзацев текста для радио. Музыковед, вызванный по этому случаю в кабинет к Деду, сидел за письменным столом и Дед вдруг почти физически ощутил, как медленно ворочаются мысли в голове Музыковеда. Вариант за вариантом, предлагавшиеся Музыковедом, Дед безжалостно перечёркивал. Он понял: Музыковед бездарен, вернее – мало способен, чтобы вести самостоятельную игру. А вот на вторые роли может и стодиться. Деда уже и не интересовало содержание вариантов, – он перечёркивал механически, не читая, – его поражала покорность Музыковеда, тогда еще совсем молодого человека. Впрочем, покорность тоже – игра. Но только не для Деда, уж слишком она однообразна. Да и цель у такой игры мизерная – утилитарное благополучие, положение, зарплата и т.д., и т.п. Играть, чтобы властвовать над повседневностью? Нет, это слишком мелко.

Собственно, дар игры – редкость. Только один человек мог соперничать с Дедом по этой части. Его жена. Хотя и она боролась скорее, чем играла. За право выжить рядом с Дедом. Каждый вовлекался Дедом в игру, каждый, кто попадал в зону общения с ним. А уж жене сами боги велели.

В день своего семидесятидвухлетия Дед всё утро правил рукопись партитуры своей последней симфонии. Часто звонил телефон. Жена снимала трубку. Дед из другой комнаты подслушивал разговор по второму аппарату. Проклятая тревога, не покидавшая его последнее время, мешала сосредоточиться и словно бы заставляла хвататься за телефонную трубку.

Всё раздражало Деда: он с ненавистью выслушивал томные реплики жены, сообщавшей всем по очереди, что именинник работает. Да, вздыхала она в трубку, как всегда, вы же его знаете, он такой труженик, ни дня без строчки, и прочее, прочее ... Он знал, что жена догадывается о его состоянии и это выводило Деда из себя ещё больше. Он представлял: вот она сидит с журналом в руках и настороженно прислушивается к звукам, доносящимся из его комнаты. Остро заточенным карандашом она отмечает стилистические огрехи в тексте очередного, напечатанного в в одном из «толстых» журналов романа. Что за страсть такая – читать, чтобы исправлять огрехи? Впрочем, игра. Еще одна. Не хуже и не лучше другой, ведь через пару дней, или даже сегодня, в разговоре, она как бы ненароком обмолвится о прочитанном одной-двумя ядовитыми фразами. Зачем? К чему? Ведь не любит литературу, любит разговоры о ней, себя в разговорах. Зато всегда, в любом обществе она неуязвима в этой псевдолитературной броне. Мало того, умеет вывязывать из любого литературного впечатления, необходимую ей для игры житейскую интригу. Вроде бы только что говорила о постороннем, не относящемся к делу, а дело само, глядишь, уже и поехало в нужную сторону.

Многие свои дела Дед поручал жене. Нет, даже не просил, не излагал обстоятельств дела, она сама своей предупредительностью освобождала его от необходимости принимать иные решения. Собственно, устройство его дел и занимало огромную часть её времени, благо она не работала. Он снисходительно позволял ей вмешиваться в его служебные отношения, но, разумеется, до определённого предела, когда он одним мановением руки разбивал построенное женой здание – это когда она заходила слишком далеко. Но чаще

всего, чтобы досадить ей просто так. В ответ она понимающе усмехалась. Ах, это её понимание, оно было порой невыносимее самой яркой ненависти. Дед никогда не задумывался, счастлива ли жена с ним. Наверное, нет, ведь она его знает лучше других. Иногда он внезапно поражался её преданности, за которую, впрочем, не чувствовал признательности. Жена была той же породы, что и он, и преданность её была преданностью, так сказать, породе, а не ему. Он мог допустить мысль о её физической неверности, но не более того. Изменить в отместку – это, пожалуй, в её стиле. Но Дед не мучил себя сомнениями, так как никогда не любил её. Да, он знал о её увлечении залётным дирижёром-кавказцем. Когда они у всех на виду усаживались смеясь на мотоцикл и уносились за город, Дед ухмылялся: это по его просьбе красавчик-мотоциклист затеял спектакль с ухаживанием в надежде получить место дирижёра в оркестре. Дед развлекался, заранее предвкушая последующие акты театрального действия – слёзы разочарования покинутой жены, её, мольбы о прощении, и, разумеется, его милосердие.

Когда двадцать лет назад он ушёл из дома к другой женщине, он играл в непонятого художника. О, как понравилась его приближённым, уставшим от властолюбивого интриганства жены, эта игра, как захлёбывались все вокруг от сочувствия и понимания, как одобряли Дедов выбор, его новоиспечённую Музу. Так же искренне, впрочем, спустя некоторое время ту же Музу порицали за коварство – это когда он вернулся в семью. Поделом покинутой музе, впредь не станет ... То была игра в возвращение.

Затем они с женой поиграли в примирение. Жена приняла его и простила. Но только его. Сочувствовавшие же его недавним заблуждениям прощению не подлежали. Собственно, Дед был этому даже рад – он избавлен от обременяющих обязательств. Остальное, так сказать, дело техники. Он и не вмешивался, жена сама расправилась со всеми бывшими его союзниками: одни подали через некоторое время заявление об уходе, другие были наказаны «забвением» дирекции,

третьим отказали в почётном звании – никто не был забыт женой. А Дед посмеивался про себя, он-то не при чём.

Закончил выступление Музыковед. Усталым движением смахнув платком пот со лба, он осторожно опустился на стул рядом с Дедом. Тонкие пальцы его рук мелко дрожали. Дед знал, что Музыковед искоса поглядывает на него, пытаясь понять – угодил ли? Хочет голубчик Заслуженного деятеля. Тогда пенсия персональная. Плюс спецбольница. Ладно, будет тебе звание, подумал Дед, и тут же решил позлить Музыковеда, черкнул на клочке бумаги: «Растянул!» Не поворачивая головы, увидел, как ломающиеся пальцы недавнего докладчика сложили записку вдвое, затем вчетверо и, наконец, убрали со стола.

Начались прения. Голова разламывалась. Дед думал: сладкие слюны воспоминаний. Слушали плохо. Дед ловил на себе заинтересованные взгляды из зала и усмеялся. Как наивны эти ... из зала. В самом деле, есть такая категория – люди из зала. Как жадны они до сплетен и небылиц. Вот уж воистину, хлеба и зрелищ.

На трибуне племянник Юбиляра. Ну-ка, что мы скажем новенького? Инженеришка заурядный, а норовит о музыке вещать. Это он устроил юбилейный вечер своего дяди в день рождения Деда. Специально, чтобы позлить, как будто мало дней в месяце. Именно в его день рождения, возмущался Дед.

В нём вспыхнула злость. И тут же головная боль отпустила. Это испугало Деда: что-то в этом было не то – от злости головная боль не проходит. Только бы досидеть до конца торжественной части и – домой, в постель. Ах, чёрт, какая там постель! Приглашены гости. Он представил лица приглашенных и ухмыльнулся. Накупили всякого дерьма и теперь сидят по домам в ожидании звонка жены. А уж она не промахнётся, можно быть уверенным, промурыжит их до 18.30, ни минутой раньше. Оставалось десять минут. Все же странно, что голова прошла. Пальцы Музыковеда отстуки-

вали по столу какой-то ритм. Что-то знакомое. Дед был уверен, что не раз слышал этот ритм. Внезапно холодный озноб пробежал по спине: уж не начальная ли тема из «Кашея»? Пальцы Музыковеда, словно почувствовав опасность, застыли. Но ритм остался, пульсировал где-то внутри, сковывая дыхание. Дед сложил губы дудочкой и неслышно просвистел тему Торсадора из «Кармен», наперекор тому ритму. Дотерпеть бы торжественную часть. С него хватит, музыкой Юбиляра пусть наслаждаются другие. Да если бы не музыка Юбиляра ...

Всё восставало в Деде, когда он слушал рождающуюся под пальцами Юбиляра музыку. Он выбегал из их общежитской комнаты и пытался немедленно заглушить услышанные созвучия любыми другими. Музыка Юбиляра будто угрожала ему, сладостный, засасывающий страх проникал в каждую клетку его существа. Его пугало, что он предугадывал любой поворот мелодии. Казалось, музыка Юбиляра хранила тайну Деда, о которой он и сам не догадывался.

С годами ничего не изменилось: едва начинала звучать любая мелодия Юбиляра, с Дедом начиналось твориться что-то невероятное, ему хотелось бежать на край света, только бы избавиться от грозившей, как ему чудилось, опасности.

Никто и предположить не мог, что Дед за всю жизнь так и не послушал ни разу балета Юбиляра «Кашей». Единственное сочинение, которое успел написать Юбиляр в свои неполные двадцать семь лет.

Племянник заявил в конце своего выступления, что трудно представить, сколько бы ещё музыки мог создать Юбиляр, если бы не погиб на фронте.

Дед вздрогнул, хватит с него и «Кашея». И так получалась совершеннейшая дикость – один балет Юбиляра как бы уравновешивал все симфонии, оперы и другие сочинения Деда. В конце концов, он, Дед, работал не покладая рук всю жизнь. А сколько он сделал для города: филармония, симфонический

оркестр и прочее, прочее – всё его рук создания и дела. Однако же, «Кашей» ... Об этой несправедливости хотелось кричать на весь мир, но Дед молчал – его смущала тайна «Кашея». Да, он был уверен, что тайна существует. Только в чём? И почему она ему недоступна?

Тайна «Кашея» – тайна Юбиляра. Если бы не музыка, то Юбиляра, впрочем, и разгадывать нечего было: наивный простачок с благодушной улыбкой, говоривший всегда то, о чём думал – таков был Юбиляр. С первого же дня их знакомства Деда не покидало желание испытать Юбиляра. Впрочем, это было постоянное наваждение – *испытывать*. Всех без исключения. Обозначить в человеке границы *предельного*. Наблюдать человека в так называемых экстремальных ситуациях – как он реагирует на подлость, в чём уязвим, насколько, способен ли потерять достоинство, – доставляло Деду высшее блаженство. Причём, обозначая границы предельного, он на самом деле выявлял со сладострастной пытливостью и невероятной изошрённостью лишь пределы низменного. Нащупать пружины человеческой слабости, небольшого изъяна означало для него обнажить сущность человека, с которым можно вступить в игру. Для чего? Для совершенствования рода человеческого. Ведь обнажая пороки, Дед был уверен, человек становится выше как индивидуум, как мыслящее существо, потому что обретает изначальное естество своей натуры. И вот он уже раскрепощён в своих желаниях и устремлениях, не отягощенный благодетельными запретами, он свободен.

Да, испытывать людей, играть с ними – это означало для Деда учить их искусству освобождения. Разумеется так, как понимал *освобождение* Дед. Справедливости ради, следует отметить, что взгляды Деда не имели системы. Он не стремился к последовательной законченности, к некоей жизненной концепции нравственных представлений. Напротив, его так называемая *свобода* предполагала непредсказуемость поступков, даже вопреки устоявшимся взглядам. О, это было высшее проявление *его* свободы, повинуюсь капризу, мимолётной прихоти, изменить самому себе. Догмы

нравственных ценностей приводили его в ярость; он никому ничем не обязан, тем что *свободен*. Свободен даже от себя. А уж от других людей тем более.

Иногда он отказывался от игры. Вернее, от её привычных хитросплетений, от улыбок, иносказаний, намёков. Подходил к кому-нибудь, ну, скажем, к молоденькой пианистке-концертмейстеру и говорил раздражённо: «Почему у вас всегда такой красный нос?» Разумеется, мы покривили душой, сказав, что Дед порой отказывался от игры. Нет, естественно, и это – игра, и это – испытание. От подобной наглой прямолинейности нетрудно потерять равновесие, заплакать, рассмеяться от растерянности, начать бормотать чепуху. Ведь здесь важно не только то *что* сказано, а *кем* – легендарным, полумифическим Дедом. Он заметил, выделил из общего ряда, это вроде бы искупает его бестактность. Просто он чудака, гений с прибабахом, не со зла же он сморозил про нос никому не известной, начинающей пианистки. И вот уже красноносая пианистка кокетничает, строит глазки, позволяет, замирая от страха, теревить себя за щёчки, за ручки ...

Только одна, весьма невзрачная на вид библиотекаряша, в ответ на смачную откровенность Деда, позволила ответить ему в той же тональности, за что и была в скором времени уволена всвязи с плановым сокращением.

У Юбиляра Дед увёл его девушку, почти невесту. Это было не так уж и трудно сделать, так как пассия Юбиляра оказалась натурой, мягко говоря, увлекающейся. Собственно, по мнению Деда этот поступок в некотором роде следовало рассматривать как благородный, ведь он избавил Юбиляра от ошибки, которую тот мог бы совершить, женившись на недостойной женщине.

По вечерам в обежитии Дед рассказывал Юбиляру во всех подробностях о своих отношениях с его бывшей возлюбленной. Однако, Юбиляр вёл себя удивительно, не задавал вопросов, не прерывал его. Побледнев от напряжения, он давал Деду полностью выговориться. Иногда он изумлённо улыбался. Да-да, изумление читал Дед в глазах Юбиляра, будто

глядя на Деда, он видел нечто необыкновенное. Выслушав Деда, Юбиляр направился к фортепиано и начинал перебирать клавиши – Дед спасался бегством. Тогда-то Юбиляр и начал сочинять своего «Кашея».

Они не поссорились. Только с тех пор в общении с Дедом Юбиляра уже не покидало это дурацкое изумлённое выражение, ни в студенческие годы, ни потом, в короткие полгода перед войной, когда они оба приехали в этот город областного значения.

Племянник, кстати, полностью унаследовал от своего знаменитого дяди это идиотское выражение на лице. Смотрит, будто не верит, возможно ли? Возможно, ещё как возможно. Смотри, смотри, думал Дед, вот он я, живая реальность.

Да, Юбиляр погиб. Но на фронте. Не Дед же убил его. А то, что броню тогда припрятал, так просто хотел испытать Юбиляра. В очередной раз ...

Броню прислали на всех композиторов города. Их всего-то было тогда пять человек. Броню на Юбиляра Дед припрятал у себя в столе, он решил посмотреть, как поведёт себя Юбиляр, узнав, что броню прислали всем, кроме него. Если бы Юбиляр пошёл выяснять почему да отчего, Дед покуражился бы немного, но броню бы отдал. Но Юбиляр не стал даже интересоваться почему для него сделали исключение, явился в военкомат добровольцем.

Через два года, в сорок третьем, пришло извещение, что Юбиляр пропал без вести. Поползли слухи, разные, скользкие. Пустить слушок – дело нехитрое. И вот уже кто-то где-то видел очевидца, рассказывавшего о своей случайной встрече с Юбиляром то в Париже, то в Мюнхене. Время от времени Дед подбрасывал поленца в костёр сомнения, горевший вокруг имени Юбиляра. Ему не столько хотелось опорочить самого Юбиляра, сколько тем самым добиться, чтобы не звучала музыка бывшего его товарища. Во время одной из идеологических кампаний он по просьбе редакции городской газеты написал статью «О бдительности». В ней, не называя Юбиляра, тем не менее на его примере он развенчивал бли-

зорукх, незрелых художников, чья позиция граничит с изменой: вот, дескать, жил среди нас известный композитор К., писал музыку, её хвалили, балет даже в театре поставили, а на поверку кем оказался пресловутый К.? Изменником Родины. И так далее, и тому подобное.

К счастью Деда статью не напечатали, так как стало известно, что Юбиляр вовсе не пропал без вести, а геройски погиб в Белоруссии. Юные следопыты разыскали его могилу, затем однополчан, свидетелей гибели Юбиляра, и ... пошло-поехало уже вспять – имя Юбиляра, теперь уже оваянная легендой, зазвучало в полный голос, городской театр приступил к постановке «Кашея», затем Москва, Ленинград, Будапешт, Тулуза ...

Статью Деду вернули, однако прочитать её кое-кто успел. Вроде бы даже и переписали от руки, но это уже не волновало Деда – подлинник он уничтожил.

В сравнении с портретом Юбиляра, думал Дед, сам он из зала не очень смотрится. Человек из президиума, ни больше. Но зато он ... живой. Вот улыбнулся, повернулся к Музыковеду и подмигнул ему – тот растерянно заморгал, – затем вытащил носовой платок и высморкался. Да, громко высморкался. В конце концов, он ещё сегодня может сочинить романс или что-нибудь другое. И вообще, он ... его жизнь продолжается. И этим всё сказано. Пусть мельтешит где-то внутри этот дурацкий ритм из «Кашея», он, Дед, не поддастся. А портрет? Мазня, враньё, грязный холст.

Однополчанин, располневший врач из столицы, рассказывал с трибуны о фронтовых буднях Юбиляра. Так, ничего особенного. Обыкновенный солдат. Воевал, как жил на гражданке – как все. Даже не сказал никому, что композитор. Тоже в его стиле.

В чём же сила его, если *как все*? Ведь не считать же это достоинством – жить не раздумывая, отдать свою жизнь не раздумывая, как все ... Нет, всё же лучше *раздумывая*, то есть отбирая лучший вариант, целесообразный. Свободный

человек должен иметь право выбора, считал Дед. Правда, свобода имеет и оборотную сторону – одиночество.

Раньше Дед страдал от одиночества, но никому в этом не признавался. Разве что музыка выдавала его с головой. Однако, критики звериную тоску одиночества преподносили как обычные томления любви. Энергия неприятия? Мы о такой и не слышали. Какая ещё там энергия, тем более – неприятия? Чьи это выдумки? Прислушайтесь, дорогие поклонники таланта нашего Деда, это извечная схватка добра и зла. Непреходящие, так сказать ценности и категории гуманистического искусства!

Между тем, энергия неприятия и рождала музыку Деда. Как много неприятия было в душе Деда. Собственно, почти ничего не принимал он в жизни. Что любовь? Она преходяща. А может и вовсе красивая выдумка. Уж как он сгорал от страсти к рыжеволосой Музе, чемпионке по фигурному катанию на льду, как возбуждался от одного вида скользяще-кружащегося или вспрыгивающего как раненая птица неясного силуэта на серебристо-синей поверхности льда. Но уже с самого начала, страстно желая взаимности и посвящая Музе романс за романсом, он не мог принять одновременно её спортивную худобу, раздражался её откровенно громким голосом, и, как ни странно, её юным возрастом, не оставившим пятидесятичетырёхлетнему Деду никакой реальной надежды на равноправное партнёрство в постели. Всё оказалось как всегда в его жизни, – не оторваться, не взлететь как ни прыгай, лишь предательская поверхность мерзлоты под ногами ... К тому же, Муза оказалась опутана всякими надуманными условностями. Как, что, и за чем должно следовать. Когда следует молчать, когда разговаривать, когда любить, когда засыпать. Она пыталась притворно играть с ним в невинность. А у него не было ни времени, ни желания играть роль любовного учителя.

Итак, неприятие, убеждался Дед в оный раз, неуязвимо для сострадания, жалости и прочих человеческих слабостей. Да и времени неподвластно, потому что само – власть. А музыка ...

Если не власть, то и музыка не нужна. Что она без власти? Так, вздохи, слёзы ...

Власть и музыка ... Разве это не одно и то же. Дед понял это ещё в детстве. Их посёлок был разбит на две враждующие мальчишеские армии, устраивавшие у реки целые сражения с палками и цепями. Он не примыкал ни к одному из лагерей, но втайне фискалил то на одних, то на других. Когда это случайно обнаружилось, обе армии договорились о временном перемирии и поймали его. Били его молча, но дружно. Как он ненавидел их всех и мечтал отомстить! Но как?

Помог счастливый случай – бродячий слепой гармонист. Его слушали! И старики, и молодёжь, и все его враги. Гармонист, старый уже, покалеченный человек, повелевал всеми. Вот она власть – музыка!

Сила неприятия с годами не убывала, а, казалось, возрастала. Дед так и не научился постоянству в убеждениях, как в детстве лавировал, полагая, что гибкость ума не в твердолобом отстаивании принципов, а в способности быстро трансформироваться в зависимости от ситуации.

Наконец-то, наконец, завершились выступления! Но что это? Племянник объявляет, что «Кашей» начнётся без перерыва. Членов президиума просят спуститься в зал. Дед понял, что попал в западню: на сцене уже устанавливают декорации за занавесом, да и уходить на виду всего зала одному в обратную сторону неудобно. Не хватало ещё, чтобы он запутался в декорациях и упал к удовольствию публики. Эх, сбросить бы десяток лет!

Ничего, он спустится вместе со всеми в зал, а потом, когда погаснет свет, он скроется незаметно, сославшись на самочувствие. Благо и врать не надо будет, голова вновь раскалывается, вот-вот разломится от пульсирующих ударов. И ритм проклятый не отпускает.

– Скажите, – обращается к Деду однополчанин Юбиляра, когда они, спустившись по ступенькам со сцены, усаживаются рядом в первом ряду, – вы ведь тогда были Председа-

телем Союза композиторов. Как могло случиться, что его забрали на фронт? Оставили без, брони? Мы бы уж как-нибудь выиграли войну сами, справились бы.

Но спасительно погас свет, избавив Деда от ответа. Да и что он мог сказать? Разве объяснишь всё? ... Ритм становился всё назойливее. Зазвучали флейты. Дед встал и направился между рядами к выходу. Он не оборачивался. Всполохи пламени освящали ему путь. Люди не замечали Деда, но он видел эти забывшиеся в какой-то сладкой истоме лица, прикованные взглядами к сцене.

Музыка жгла, проникала в самое нутро. Он задышался. Лица, лица, множество лиц ... Лес людей, в котором ему было невозможно. Он продирался вперёд, не останавливаясь. Но лес не кончался, и музыка гнала его всё дальше и дальше.

Вдруг он понял, что уже не идёт, а приплясывает в диком танце Кощея. Музыка вертела им, двигала, но что удивительно, не противоречила его устремлениям. Более того, с каждым мгновением он всё сильнее и сильнее желал отдаться во власть ритмической стихии музыки. Он танцевал, устремляясь к какому-то пределу, который притягивающе манил к себе.

И всё же когда кончится лес? Это сущее наказание лесом. Как он устал. Как жаждет тишины ...

Он – Кощей. Ну и что? Положим, он давно это предчувствовал. Значит бессмертный, раз Кощей. Вот она суть – бессмертен. И не важно, что он сейчас во власти Юбиляра, его музыки. Да и не власть это, а его Дедово бессмертие. Вот оно как всё повернулось, выходит, если бы не встретил Юбиляр его, Деда, тогда, в юности, то и не создал бы своего «Кощея». Он, Дед, как природа. Музыка Юбиляра лишь следует за его дыханием ... Однако, как много её, музыки ...

Звуки заверчивались в неистовой пляске, тесня дыхание Кощея, и он вдруг понял, что лес не кончится никогда. И музыка не смолкнет в этом заколдованном лесу. И в то же мгновение музыка оборвалась и лес вместе с ней исчез. Пустота и безмолвие навалилась на Кощея. Пронзила догадка: это освобождение от музыки, от людей.

Руки судорожно вцепились в подлокотники кресла. Ощущение это вытеснило все остальные. Кресло? Да, он чувствует шелковистый бархат подлокотников. Значит, он всё это время сидел? И не плясал Кашеем? Промелькнуло: а как же бессмертие? Как с ним быть, с бессмертием, если он не Кашей ... Кашей или не Кашей? И музыка смолкла некстати ...

Тишина, блаженная пустыня тишины обволакивала Деда, всё ещё устремленного вперёд. Надо обернуться, думал он. Но как это сделать? Они никогда не умел оборачиваться. Только вперёд, только вперёд ... Да и какой смысл, если он и так уже знает, что покинутый лес был вовсе не лес, а его жизнь.

1985

ПОВЕСТИ

ЖРЕЦ И ЖЕРТВА

*Так знай же: нет
преград для души
Р. М. Рильке*

— 1 —

Там внизу, где кончались огни и начиналась тяжело дышащая темнота, смутно угадывалось море. Младлев вглядывался в густую даль, но ничего, кроме глухой проваливающейся пустоты не видел. Из-под короны тревожно блестевших городских огней доносилось хриплое дыхание прибоя.

Если бы ни ночь, можно было бы спуститься к морю. Правда, в темноте покатые каменные ступеньки вряд ли отыщешь. Вырубленные несколько сотен лет назад, они и при дневном свете явно сторонились людских взглядов. Когда-то лестничные тропинки вели к дворцовым постройкам некоего воинственного абхазского князя, воздвигшего свои жилища высоко в горах. В советские времена старинные особняки объединили асфальтовыми дорожками, построили в центре типовое административное здание и приспособили весь комплекс для дома отдыха «Скала».

Княжеские строения не нарушали контур горы, а удивительным образом следовали за её поворотами и линиями, которые невозможно было предугадать, оглядывая эти здания беглым поверхностным взглядом.

Младлева поселили в самый отдалённый корпус. Он единственный из всех хорошо просматривался со стороны моря. Его округлый каменный парапет издали напоминал поднос, даривший открывавшемуся простору хрупкое здание в балконных кружевах. Вблизи же корпус вначале подавлял: взгляд, охватывал лишь каменную отвесную стену с одной маленькой дверью. Ни крыш, ни окон не видно, только ровный гнетущий кирпич. Но вотходишь осторожно в проём

двери и сразу, словно предчувствие, вскипает наверх серый камень лестницы. И почему-то всякий раз невольно начинаешь сдерживать дыхание, будто вхождение твоё сюда тайно, смягчаешь прикосновение обуви к ступеням, выносящим тебя на открытый дворик, уже к самому зданию.

Нижняя площадка, прикрываясь тяжёлым и неразговорчивым щитом отвесной стены, вводила неопытные взоры в заблуждение. Впрочем, само здание поражало ещё больше чем фасад – в нём ещё непонятнее была логика бесконечных входов и выходов, балконов, лестниц, ступенек, навесов, карнизов, выступов, ниш, прятавшихся друг от друга в каких-то диковинных вьющихся растениях.

Вот так же в детстве Младлева поражал незнакомый посетитель родителей, властно и безнаказанно утверждавший на его изумлённых глазах свою непостижимую правоту, сотканную сплошь из необычайностей – от экзотического запаха и невероятно толстых пальцев с неостриженными, грязными ногтями, казалось продавливавшими стол, и кончая таким нестерпимо сильным, внушавшим страх и ещё тысячу незнакомых ощущений, голосом.

Комната Младлева имела два выхода, а может быть два входа. Во всяком случае, относительность их предназначений стала ему очевидна сразу же. Войдя в комнату из длинного, путанного коридора через одну дверь, он поставил чемодан, с растерянностью огляделся и поспешил тотчас выйти в другую, теперь уже вроде как на балкон, который с равным успехом можно было назвать и лоджией, и террасой, и крыльцом, так как там имелся, в свою очередь, ещё один выход, по всей видимости, во внутренний дворик.

С первых же минут пребывания на юге Младлева не оставляла некая иллюзорно ускользающая двойственность ощущений, и это, как ни странно, его несколько не угнетало, а напротив, радовало – ирреальная множественность, вариантность казалось ему обещающе беспредельной.

Пространство вроде бы сосредоточенно прислушивалось к нему. И он вслушивался в близкие раскаты волн, пытался разглядеть море в той беззвёздной темноте, что подымалась над городом. И чего-то ожидал. Не мог поверить, что вечер буднично перетечёт в ночь.

Растворяясь в окружавшей его темной густоте, Младлев вдруг заметил, как из самой её глубины что-то подмигнуло ему. словно в знак особого расположения. Этого оказалось достаточно, чтобы он на мгновение увидел горизонт. Потом ещё и ещё эта невероятная полоска обнажалась короткими вспышками. Беспокойство охватило Младлева, когда он понял, что далеко в море началась гроза. Сразу и само море стало реальнее, осязаемее, оно уже не только подразумевалось где-то там, в тёмной беспредельности. Далёкие мягкие вспышки неслышно просвечивали робко рождающуюся линию горизонта. Постепенно она разрасталась, становясь всё увереннее и определённое.

Было удивительно, но Младлев чувствовал теперь необъяснимую таинственную связь с приближавшей грозой. Беззвучные вспышки напоминали далёкое факельное шествие, когда несущих огонь разглядеть ещё нельзя. И вот, наконец, почти перестал пропадать по всей длине горизонт. Едва первая неслышная молния кривой саблей вонзилась в морскую поверхность и сейчас же вправо от неё, судорожно корчась, прыгнула другая, воздух начал дрожать от возбуждения. Нестовые вспышки молний пронизывали застывшую темноту моря, эту безграничную неподвижность, словно опрокидывая навзничь неожиданными и неотразимыми аргументами. Совершенно, впрочем, непонятными для Младлева. Он радовался исчезновению мягких подмигивавших вспышек и властному утверждению на хребте горизонта барабанного танца огня и силы. Мерное дыхание моря незаметно превратилось в рёв и долгожданная, – Младлев уже не сомневался что долгожданная! – буря, наконец-то захлестнула всё ночное безмолвие без остатка. Победившие молнии, корчась, приближались к берегу. Выпрямившись во весь рост, они беззастенчиво прыгали, носились почему-то справа налево по

горизонту, напоминая судорожными очертаниями странные восточные письма.

На мгновенье Младлева пронзило желанное чувство благостного примирения. С чьим-то холодным взглядом, вмещавшим захваченный расплох и несущийся из ниоткуда в никуда мир. Пронзило и исчезло, будто пресловутого этого примирения и в помине нет. Не существует. И не было никогда.

Вспыхивавшие блики метались словно бы за дощатой дверью времени, сквозь щели которой пробивались знакомые силуэты. Младлев возмутился: не носиться же за бестелесными тенями, как бездомный щенок за огрызком хлеба. Да, он бездомный, но ... И всё же при любом судорожном обращении к этим теням *оттуда*, нечаянным как подножка, сжималось сердце, и возникало непреодолимое желание слиться с чем-то внутри себя. Хотя Младлев и не вспоминал ничего конкретного, не касался, пролетал в болезненной истоме мимо того основного, что мучило, изводило его в последнее время и погнало за тысячу километров к морю. Возникшая связь с грозой? Её уже и не было. Лишь обморочное погружение в глубину наблюдавших за ним зрачков. Младлев лихорадочно ощупал своё лицо, ущипнул себя и в отчаянии стукнул кулаком о каменный парапет. Он не ощутил боли, ничего не изменилось: масса костей, мускулов. Нарушились лишь все пропорции, чужая, незнакомая прежде тяжесть заполнила всё его существо тягучими подробностями, от которых хотелось избавиться, забыться. И вернуть прежнее иллюзорное равновесие. В то же время не понимал – что мучает? Сострадание? От чего так необходимо избавиться? В голове стучало – от боли. Казалось, всё понимает и ... ничего. И это раздвоение может быть мучало более самой потери ... Стоп, слово-то какое, ничего не обозначающее – *потеря*. Да и потерял не он один. Но и он ...

Более самой смерти его отца (умер то отец, он и потерял – жизнь, ни больше ни меньше ... е м у было больно, е г о нет,

а не – Младлева) душила несвобода от всего случившегося. Младлева стало не просто больше. Просто незаметно он впустил в себя отца. Правда, не по своей воле. Отец, расположившийся внутри каким-то нестерпимым измерением, вроде бы ничего не требовал, просто жил, существовал – другого же места после смерти ему теперь и не нашлось бы – и прорастал в Младлева. Мучительная теснота, а не соседство. Общение, между тем, стало почти сразу односторонним. Сын пытался, разумеется, к отцу обращаться. Как прежде. Да что там, гораздо чаще. Раньше ведь просто жил, не замечая. Жил рядом. А теперь Младлев постоянно о чём-то его спрашивал. И всем своим видом старался показывать, что если и случилось н е ч т о, то это не повод для отчуждения. Наивно сравнивал это н е ч т о с исчезающим горизонтом. Срывался порой на патетику – случалось. Просил тогда отца вернуться ... но сам же себя и обрывал, недодумывал. Легко сказать – возвращение. Возвращение в виде облака, дерева, дома? И куда? Всё конкретное пространство вокруг уже занято. Оно и не нуждалось ни в ком. Жизнь продолжалась и без отца. Получалось, что возвращение необходимо было только Младлеву, существовавшему в непонятной ему самой реальности. И не требовавшей, тем не менее, никакого осмысления: да, так есть – прежде несовместимое теперь уже существует не просто рядом, а прорастая, вырастая из бывшего несоответствия.

Он не помнил, когда, в какой день, в какое мгновение ему захотелось вдруг выговориться. Почти физически окунуться в захлёбывающую пену слов, восклицаний, многозначительных пауз, в крошечную темноту монолога. И не важно – интересно ли это кому-нибудь. Вернее, интересен ли он, Младлев, своим несвязным лепетаньем. Перебирая лица предполагаемых собеседников, он понял, что не сможет никому доверить *всего*. Хотя толком и не понимал, что это *всё* означает.

Ах, иногда казалось – просто поделиться, передоверить ... Но кто выдержит, если и для самого груз непосильный. Разве что бумага, она, по пословице, может вроде бы всё стерпеть.

Мысль о бумаге успокаивала. И сразу же, ещё до написа-

ния первого слова, – он даже и не ведал, как к нему подступиться, – ему стала легкомысленно мерещиться книга. Предмет в светлом переплёте. Книгу можно было в воображении даже ощупать, повертеть в руках, раскрыть в середине, прислушаться к осторожному хрусту страниц – они бы открывались как окна после дождя ...

Словом, видение будущей книги, не рассказа, не повести, а предмета в виде книги, которая словно и не читалась бы, – хотя прочтение, естественно, тоже каким-то образом подразумевалось, – а перелистывалась, неотступно завладело Младлевым. Он мечтал об уже законченном труде, вовсе не желая думать о его написании. Содержание, правда, было в общих чертах ясно. Поэтому он мягко отбивался от предлагавших себя деталей, от налезавших хаотичных подробностей – профиль с еле заметной горбинкой, случайный взгляд из-под карнизов бровей, привычное пожатие небольшой мягкой руки, ах, об одних отцовских руках можно целую повесть ... – великое их, слава богу, великое множество. Знание, что уж они, этот сонм подробностей, не подведут, что они существуют, – хотя и не в них же суть, – успокаивающе обнадёживало.

Одновременно охватывал ужас, но где-то на периферии сознания, что не справится и никогда ничего не напишет. Просто не сумеет. Однако, сильнее ужаса было желание никоим образом не связанное с чисто литературным тщеславием, – освободиться, избавиться от невыносимого чувства тяжести.

Он не умел, не знал, как расположить свои чувства в строчках. С чего начать? Что есть начало в человеке, в отце. Перед ним был фасад огромного здания, чужого и невыразительного. Поражало, что, несмотря на миллион кружащихся деталей, всё же – чужого. Как же проникнуть внутрь, попытаться объяснить или хотя бы приблизиться к разгадкам любви и страдания. Ливень страдания – только кто страдает, он по-прежнему уяснить не мог. Ясно вроде бы, что прежде всего подразумевался отец, хотя он уже и не страдает больше, а мучения Младлева продолжают. Всё сливалось в липкий

ком. И время замедлилось, вмещающая ещё одну жизнь. Не отцовскую, а его собственную, только другую, чужую и новую одновременно.

Не отказываясь от намерения писать, Младлев месяцами не осмеливался вывести и закорючки. *Как тяжёл факел любви*, повторял он про себя, наивно принимая свою несвободу за сыновнюю любовь.

Он вернулся в комнату, раскрыл чемодан, вытащил злополучную школьную тетрадь, сел за стол. В который раз уже ... Сверкавшие молнии словно подстёгивали нетерпение – начать, только начать ... Сегодня, наконец, или никогда. С чего начать? С его рождения? Со своего? Какая чушь, оба события и незнакомы ему, будущему, так сказать, автору. Покрыты вязким мраком. Да и вся жизнь отцовская сумеречна. Никакой ясности и света. Сумерки. Неумение и беспомощность в очередной раз отрезвили Младлева. Он коротко засмеялся и в полуобморочном неведении лёгкомысленно вывел карандашом первое слово – СУМЕРКИ ... затем неожиданно и предложение – СУМЕРКИ В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ НАСТУПАЛИ РАНО ...

Почему он начал с последнего месяца отцовской жизни? Без всякого обдумывания. С больницы, с больницы ... В ней таилась, по смутным догадкам Младлева, причина случившегося, некий устрашающий образ силы, прервавшей обыденное течение вещей. Боль, болезнь, больница, операция, кончина – простые личины этого месяца. Они требовали осмысления в первую очередь. Однако дни и события, похожие на одинаковые костяшки домино, оказалось, отполированы временем. Теперь надо выдирать из цепких его щупальцев наималейшее воспоминание. То, что вроде бы недавно умоляло о внимании, теперь притаилось, неподвластное огляду. Чертовщина какая-то с этим навсегда ушедшим временем. От растерянности ли, от отчаяния ли, Младлев принялся, может и ненужными подробностями, разрушать видимую схожесть очертаний. Стал сдирать с событий и незначительных фактов на-

росшую корочку кожи, обнажая боль, казавшуюся в ту ночь целительной как лекарство.

Раскаты грома, вспышки молний заставляли Младлева вздрагивать, но он не отрывался от бумаги, быстро писал, словно продираясь, мучительно обжигаясь, сквозь раскалённые слова к ясному утру. Иногда он начинал вдруг плакать, доставал платок и вытирал слёзы. Но молнии подстёгивающе вспыхивали, и Младлев вновь бросался к своей тетради. Он старался ничего не пропускать. На самом же деле сумбурные картины даже не оживали полностью в его сознании, не то что на бумаге. Несвязность воспоминаний он по неопытности принимал за обжигающий поток откровения.

То он бросался описывать дурмящий сладковатый запах больницы, в котором смешивались отрезвляющие пары процедурной: там поражала будничность деловито кипевших, булькавших под металлической крышкой шприцов и иголок в стерилизаторах, и всегда одинаковый, независимо от меню, постоянный дух с кухни. Этот запах ударял в нос уже в холле, пустом и просторном – только пара кресел, кожаные кушетки по стенам, письменный стол.

И он надолго застревал в холле, описывая, как прождал в нём все три операции, как рассматривал на стенах пейзажи художника Максакова или наблюдал из окна, как слегка колышутся отяжелевшие под снегом ветви елей.

Старик Максаков жил неподалёку от их дома. Он писал картины в стиле Шишкина, носил седую бороду в стиле «передвижников», окал на вологодский манер, и с охотой вступая в беседу с незнакомыми людьми в стиле идеологических парработников ... Поразмыслив, Младлев дописал: поносил современную живопись. И не важно, подумал он, что его мнение о полусумасшедшем старике-художнике ни к месту. Существеннее то, что Младлев помнил, как изучал в те часы с упорством вроде бы начинающего художника краски, детали композиций максаковских картин, (даже пытался перерисовывать), только бы не встречаться с понимающими взгля-

дами дежурной нянечки. А какой именно? Не помнил. Их столько было в белых халатах ... Нет-нет, когда появлялся в холле кто-нибудь из медперсонала, всё внутри сжималось и взгляд невольно впивался в лицо вошедшему. Хотя Младлев и не ожидал ничего плохого, тем более сообщения о кончине. Такая опасность не могла угрожать, её попросту не существовало. Он ощущал себя бессмертным и бессмертными были всего его близкие. Даже когда черноволосая медсестра, кривя в сочувствии пухлые губы, сообщила ему о смерти отца, даже увидев его странно измененный профиль, он не осознал, не поверил. И только взглянув на мать, впервые содрогнулся от страха ...

С описания холла Младлев перекинулся на вешалку. Пальто профессора, делавшего все три операции, было зеленовато-серым. Если пальто с каракулевым воротником и папачкой было на месте, значит, отцу стало хуже. Профессор был знаменит и сделал одну маленькую ошибочку во время первой, несложной операции. Об этом знали все кроме отца и ближайших родственников. Когда профессор в сопровождении свиты появлялся в палате, отец оживлялся, пытался шутить и вроде бы даже подбадривал профессора. Можно ли винить старичка, ведь вполне возможно, что за всю свою жизнь он допустил всего несколько подобных ошибок. А может быть и единственную. Винил бы его отец, или нет? ...

Потом и вовсе записи Младлева стали конспективными. Больница чёрно-белая, как газета. Клетчатый линолеум в коридорах (каждая клетка чуть больше длины ботинка). Равнодушное лицо медсестры, несущей шприц иглой вверх. Развевающийся бессильным флагом не застёгнутый халат главного врача. Непроницаемо-вежливый взгляд консультанта. Медленно гуляющие по коридору коричневые пижамы без лиц. Астматический кашель из соседней палаты. Промывание желудка. Костявые капельницы. Отец держал руки поверх одеяла. Когда Младлев сжимал его чуть шершавую из-за обезжизнения организма ладонь, он всегда отвечал ему слабым движением большого пальца.

Детали мешали, налезали одна на другую. Младлев терял последовательность, но всё равно не останавливался. Ему важна была не строгая очерёдность событий, а освобождение от них. Казалось, что и они жаждали этого освобождения не меньше чем он, рвались в нетерпении на обманчивую просторность страниц. Подступив вплотную к той декабрьской ночи, когда слово смерть обрело для него внезапную холодную точность, он поразился тишине. То ли гроза неожиданно смолкла, то ли ... небеса прислушались к его истории. Младлев увидел себя в зеркале – всклокоченного, с лихорадочно блестящими глазами, в остервенении сжимавшего карандаш. Моросил дождь, начинало чуть светлеть. Безмолвие сковывало всё вокруг. В отчаянии сломав карандаш, Младлев повалился на кровать и сразу же уснул.

– 2 –

Утро окатило Младлева тоскливой монотонностью. Все краски стёрлись. Он брёл под морозящим дождём в главный корпус на завтрак и думал о бесполезности всякого рода попыток что-либо изменить в установившейся направленности его жизни. Мокрые отяжелевшие брюки тёрлись о колени. Отвесная скала сочилась пробивавшейся сквозь камни зеленью.

Младлев чувствовал, что надвигается приступ, всегда начинавшийся вот с такой тяжести пробуждения. За ночь терялись все контакты с обычным течением времени, обнажалась нелогичность, бессмысленность, хаотичность дневного существования. Плюс страх приступа и некое чувство *пограничности*, таившееся в туманном зависании утреннего пространства. Если проскочить, впрочем, завтрак без приступа, то за остаток (ничего себе остаток – весь день) светового дня можно было не волноваться.

Приступ начинался обычно во время завтрака. После первого же глотка воды острая боль сжимала сердце, холо-

дели руки и ноги, падало давление, появлялась слабость. Когда промежуток между кинжальными ударами в сердце сокращался, ему вызывали «Скорую». Причина приступов, мучавших почти каждое утро Младлева, оставалась неясной. Врачи разводили руками. Однажды ему удалось самому преодолеть начинающуюся свистопляску: от страха поднялся он на ослабевшие ноги и ... боль отступила. Несмотря на усмешки врачей, он стал завтракать стоя. Странное упорство Младлева вызывало у домашних почему-то большую тревогу, чем сам приступ.

В столовой уже почти никого. На столах не убранные грязные тарелки. Холодная манная каша. Стоя проглотил осторожно пару ложек, запил чаем. Толчки сердца стали спокойнее. Спасительное тепло согрело ноги. Вышел в холл, сел в кресло. Идти под дождём к себе в корпус не хотелось. И кроме прочего, там тетрадь, с ней надо что-то делать ... Эта мысль удивила: делать оказывается надо было что-то с тетрадью ... Полнейшая чушь. Тем не менее, безликая прежде тетрадь словно наполнилось чужеродным смыслом. И даже, как ни странно, враждебностью. А ведь он еѐ к жизни и вызвал ... Младлев остановился в своих описаниях на той декабрьской ночи, за которой словно образовалась пустота. В действительности же она долгое время была просто неосвязаема, еѐ жирный след стал виден ему не сразу.

Младлев знал, почему утром не испытал даже толики облегчения. После ночной грозы остался затяжной серый дождь. Да, это всё из-за дождя.

... когда в больничный холл вышла старшая медсестра и как-то растерянно попросила подняться в палату к отцу, Младлев почему-то посмотрел на часы – три минуты восьмого. Он в недоумении подымался по лестнице. Только что закончилась третья операция, и он знал уже по опыту первых двух, что после операции какое-то время входить в палату запрещается, а тут зовут. У двери докторша быстро проговорила:

«Идите, попрощайтесь с папой, он умер ...» В палате плачущая мать. Заслонить, защитить от беды. Ещё не поздно. Отец лежит равнодушный, с закрытыми глазами. Сделайте же что-нибудь ... не стойте просто так! Всё сделали? Нет, ещё укол, быстрее! Старшая медсестра растерянно набирает в шприц лекарство и колет отца в руку. Для Младлева ... Мама плачет, значит, всё правда ... Младлев запирается в ванную. В дверь стучат. Он должен взять себя в руки и оберегать, оберегать близких. От кого, от чего – непонятно, но явно им всем грозит опасность.

Младлев старался не смотреть ни на кого. Лица, лица, сочувственные слова, прикосновения чьих-то рук, невыносимые взгляды соболезнования, суета. А потом ночь в палате с опустевшей кроватью в углу, на которую было жутко взглянуть, обмороки, уколы, неожиданное чувство голода среди ночи ...

Так вот, та, казалось бы бесконечная ночь, она в целом была безобидна. И не надо её отгонять прочь. Куда страшнее оказались последующие дни.

Наутро отца увезли на вскрытие. Снега в тот год выпало мало, замёрзшая глина причудливым рисунком заполнила весь пустырь перед куполообразным зданием университетской анатомички. Младлев стоял в так называемом вестибюле с выбитыми окнами и единственной несуразной скамейкой – весь уют. Никаких тебе пейзажей на обшарпанных стенах. Вход, так сказать, в чистилище. Дверь со скрипом открылась, женщина с равнодушными глазами забрала документы и одежду для отца. Глухо доносились голоса хирургов. Младлев старался не думать о том, что происходило за дверьми, курил, рассматривая щербатый каменный пол.

Потом кладбище, терявшее в сумеречном воздухе подробности очертаний. Младлев выбирал место для могилы. Надгробья судорожно сжимали аллею. Высоченный могильщик с опалёнными бровями бесстрастно произносил, что здесь, мол, можно. И пока Младлев внимательно осматривал ма-

ленький клочок земли, окружённый решётками оград, он терпеливо ждал, а потом, нисколько не удивляясь отказу, вёл его дальше, показывал, предлагал ...

Дома отец лежал уже в гробу, укрытый бордовой скатертью. По квартире между занавешенными зеркалами ходили какие-то незнакомые люди. Едко пахло хлороформом. Увидев заострившееся, но спокойное лицо отца, торжественную белизну рубашки под чёрным пиджаком, с его Младлева галстук под неестественно высоко застёгнутым воротничком, он не выдержал и бросился к гробу. Он всхлипывал на чьих-то руках. Вот такие внезапные вспышки отчаяния ещё много раз поражали его. Мать лежала в спальне в окружении женщин, и его предупредили, чтобы он держался ради неё. Это подействовало на Младлева сразу, он вновь ощутил уже знакомое чувство тревоги за близких: только он один и мог теперь защитить всех от вполне реальной (так ему казалось) опасности.

В маленькой комнате спали на полу несколько человек. Младлев лёг с краю и провалился. Ночью он очнулся от сильного толчка и какое-то время продолжал лежать с закрытыми глазами, а потом с ужасом ощутил ледящую пустоту вокруг себя. Кто же поддал ему под ребро? Он потёр ушибленный бок и огляделся: люди исчезли, лишь на отдалении спала женщина. Одеяло съехало у неё с плеч, артерии бретелек свободно стекали по спине вниз. Волна желания окатила Младлева: что если дотронуться, только дотронуться? Съёжившись от холода, Младлев прикрыл глаза. Острый стыд не давал ему пошевелинуться: отец ещё где-то рядом, в соседней комнате. К тому же Младлев всё более ощущал пронизывавший холод. Даже не холод, а мерзлоту, распространявшуюся от соблазнительных голых плеч. Однако, через пару мгновений он, уже не подвластный рассудку, потянулся к женщине и вновь ощутил пустоту между ними: комната прятала, уходила вглубь поскрипываний, шорохов. Он обморочно покатился вниз ли, наверх ли, – скользили от глухого хохотка

паркетины, отодвигая стены, – и, наконец, дотронулся до желанного плеча. Дрожа от возбуждения и страха, он опустил бретельки. Женщина проснулась, это была ...

Впрочем, Младлев был не уверен потом – на самом ли деле всё случилось наяву или ему это приснилось. Зеленоватые глаза женщины лишь мгновение смотрели на него, а потом она закрыла их, и Младлев ощутил на своём лице покалывающее прикосновение её пальцев. Никогда ещё близость с женщиной не доставляла Младлеву такого блаженства. Она раздевала его как ребёнка, медленно, бережно, проникая прохладными пальцами в самые потаённые места, не лаская, а освобождая его не столько от одежды, сколько от неких тягостных пут. Он становился прозрачнее, невесомее, словно бы обретая долгожданное право на растворение в закрытом прежде для него мире, где всё несовместимое сосуществует вместе. Обретённое единство открывалось ему, поглощая его без остатка в воронке наслаждения. Наслаждения равного страданию. Он ощущал это средостение, как первейший признак существования. Редкие, лимонные окна в доме напротив сочлились прямо на их тела. Он скользил взглядом по тёмным квадратам верхнего этажа: они тоже светились, но едва уловимым болотным цветом, по-рыбьи невыразительно и жутко. Младлев инстинктивно прижимался к женщине, зарываясь в неё всё глубже и глубже, как в снежный сугроб, и уже засыпая, вяло удивлялся её необъятности. Младлев виделся с ней ещё один раз в ночь после похорон, запечатлевшихся в памяти как татуировка.

Сумятица началась с утра. Калейдоскоп незнакомых озабоченных лиц. Фотографирование у гроба ближайших родственников. Маленький аккуратненький фотограф деловито выбирал ракурс съёмки, указывал наклон головы, приличествующий случаю, прищуриваясь, оценивал мизансцену. Вынос тела из квартиры по коридору любопытствующих физиономий. Гражданская панихида в заводском дворце культуры. Все эти тягучие часы Младлева не покидало ощущение нереальности: с одной стороны, всё вокруг сжималось в размерах,

и ровная стена времени вздыбливалась остроугольной топью, грозя поглотить его без остатка в снежной пустыне безлюдья. С другой, всё это соседствовало с чудовищно трезвым, изучающим взглядом, холодно фиксировавшим жутко качавшуюся голову отца при переезде на автобусе в ДК, притворно-сочувственные взгляды, подсчитывавшие количество венков, нескладную речь ответственного лица, читавшего по бумажке стереотипные слова, невероятную фальшь военного оркестра, любопытство оркестрантов в паузах, лица, лица, проходившие перед гробом ...

И налетавшее в этом хаосе изнывающее видение незнакомца (не его самого, не Младлева), зарывающегося в ледяной истоме в объятие ночной гостыи.

Мозг Младлева отмечал, складывал про запас реплики, жесты, улыбки: нечаянно извинительные, они моментально пропадали под его взглядом. Какая-нибудь мелочь, на первый взгляд несущественная, внезапно застилала его всего отвратительной мукой. В такие минуты начинали душить слёзы. Родственникам по очереди становилось нехорошо на панихиде, женщины растирали ноги матери, давали горячий чай из термоса, а дежурившая медсестра с торопливой деловитостью делала ей укол в руку. И вновь смена почётного караула, участливые вздохи ...

Похороны. Мороз. Невыносимые звуки оркестра. Сутулившиеся спины мужчин, нёсших гроб. Отец покачивался перед глазами, словно в челне. Когда процессия заворачивала на боковую аллею, Младлев увидел малознакомую девушку с его работы, тащившую венок. Это был едва ли ни самый страшный момент: оказывается, он незаметно смирился за эти пару дней с тесным покровом горя, привык к его измерениям. И вдруг взрыв, тысячи пальцев в его сторону, бесстрастное зеркало его катастрофы в лице той малознакомой девушки.

И ещё, ничто так часто не вспоминал впоследствии с тайным ужасом, или, вернее, ничто Младлев с такой силой не отгонял от себя, как вид временного железного памятника на

длинных тонких ногах, криво стоявшего в груди свежевырытой земли у могилы. То материализованное *ничто*, что будет представлять отца в этом мире. Ветви деревьев на кладбище отличались от стволов более светлым цветом коры и напоминали жилистые руки с засученными рукавами.

После похорон незнакомые люди сидели, сжавшись на диване, и отправлялись по очереди на кухню пить чай с бутербродами.

Уже поздно вечером, когда в квартире остались лишь родственники и близкие знакомые, Младлев вошёл в комнату, где стоял прежде гроб, и защёлкнул на замок дверь. Ему хотелось спрятаться от казавшихся кощунственными оживлённых разговоров давно не видевшихся родственников. Правда, надо отдать им должное, кто-нибудь время от времени вспоминал о причине, заставившей их собраться всех вместе.

Младлев не сразу увидел её, она стояла спиной к окну и смотрела на него. В её взгляде не было ни обещания, ни озабоченности, ни жалости, ни нежности. Но он вмещал в себя всё, что искал Младлев в её глазах. Какого цвета были у неё волосы, глаза, во что была она одета? Он не запомнил. Уже знакомый озноб всепроницающей власти. Она подошла к нему и положила его руку к себе на грудь. Он погрузился в мерзлоту, как погружаются, околеченев от холода, в горячую ванну, когда судорога наслаждения от наполняющего тепла пронизывает всё существо. Да, холод – согревал! И снова Младлев, будто в первый раз, открывал для себя секрет не обладания, а исчезновения, когда в считанные секунды блаженство, расправив крылья, прячет тебя в себе, уничтожает и ты жаждешь этого исчезновения, возвращения в собственную изначальность.

Потекли дни и ночи. Мир замкнулся на квартире, возражавшей каждой интонацией на даже робкие попытки возвращения к прежним параметрам. Дни и ночи, одинаковые в своём отстранённом от прежней жизни холоде. Протесты Млад-

лева, вначале робкие, а затем всё более яростные, только ещё выразительнее подчёркивали новый властный смысл, разрушавший связи с прежним миром. А когда прибавились приступы, причину которых врачи никак не могли определить, то он смирился постепенно с ролью эдакого примечания в несколько строчек к большому тёмному тексту.

Приезды «неотложки», появление белых халатов в его комнате, приносящих с собой омерзительный запах лекарств, холодные пальцы докторов, безрезультатно лазивших по нему в поисках злополучного диагноза, панические взгляды родственников – всё это прочнее и прочнее узаконивало его в новом качестве. В томительные недели болезни Младлев с ужасом начал терять очертания собственных мыслей и ощущений, и почти физически, до обморочной дурноты отождествлять себя с отцом. Стоило ему посмотреть на свою тонкую ослабевшую руку, как он тут же вспоминал бессильно тянувшуюся вдоль туловища отцовскую. Появившаяся отрыжка заставляла его каждые десять минут вставать в постели, и всякий раз перед ним вставало лицо отца (он сам не мог приподняться после операции, и его кто-нибудь поддерживал, пока он с шумом выпускал изо рта воздух, накапливавшийся в отказавшем желудке). Обнаружилось, что и кожу на большом пальце Младлев срывал, когда нервничал, точно как отец. И чай пил как он, отдуваясь ... Родственники и знакомые, наверно желая подбодрить мать, словно сговорившись, подчёркивали его сходство с отцом – и горбинка на носу, и фигура, и брови ...

Младлев покорно соглашался и уходил в свою комнату, полагая, что и смерть отца тоже к нему перейдёт. Уже переходит ... Эдакая незаметная статистка. У них с отцом будто стало всё общим, единым, как оставшаяся после него одежда и обувь.

По утрам Младлев в ознобе пытался освободиться от сновидений, где прочно поселился отец. Он являлся к нему по ночам не мёртвый, но и не живой – воскресший. И что самое главное, знавший о происшедшем, о собственной пережитой смерти. Выдавали его печальные глаза. Непривычно тихий,

незаметный, отец отправлялся на работу. Правда, теперь он занимал несравненно менее важную должность (его прежнее место уже заняли, да он и не думал на него претендовать), самую скромную из имеющихся. Смирный, не требующий внимания, ищущий незаметности и извиняющийся за своё теперешнее существование. Вроде и воскрес не по своей воле. И эта его заношенная одежда ...

Однажды Младлеву приснилось, будто они с отцом случайно встретились в другом городе. На нём был какой-то нелепый мешковатый плащ, огромные, не по размеру и погоде сандалии. Заметив сына, он очень растерялся, словно его застали врасплох, и пригласил Младлева-младшего в столовую. Накормил невкусным, почти несъедобным обедом, а потом повёл к себе домой (у него, оказывается, имелся другой дом!), в тоже абсолютно безобразную комнату, где на гвоздике так жалко висела кепка. С лица отца не сходило виноватое выражение, но эта кепка (отец всегда на памяти Младлева носил только шляпы) была ужаснее всего ...

Пробуждаясь, Младлев вжимался от страха в подушку, зная почти наверняка, что его ожидает приступ. Чем бы он ни занимался, мысль о недавней кончине отца маячила неотступно где-то рядом, хотя сам отец обезличился до жалкой тени. Маячила обещающе ...

Чтобы хотя бы отчасти защититься от леденящего чувства раздвоения, он пробовал забыть в работе, пытался развлекаться и ходить на вечеринки, но несколько таких попыток закончились плачевно: он не смог даже ни разу улыбнуться, сидел таким немым укором всем, создавая лишь неловкость.

Один из врачей, отослав медсестру, с неожиданной стеснительностью, посоветовал ему ехать в Гагры к травнице, лечившей по слухам, если не от любой болезни, то во всяком случае, от многих и ... чем чёрт не шутит ...

И вот, Младлев в Гаграх. Разумеется, он не очень-то верил в чудеса о травнице, но от встречи с морем ожидал почему-то поворотных изменений в своей жизни. А значит и в болезни.

Дождь лил, не переставая двое суток, и только на третьи что-то дрогнуло в небесах, и ливень в один момент прекратился. Грузные тёмные тучи стали отодвигаться к прибрежным горам. Намокшие пляжи были тяжелы и пустынно. Никто не купался. Люди ходили по набережной и с надеждой глядели в светлевший горизонт.

Младлев сидел на скамейке у самого моря и с удивлением поглядывал на женскую фигуру, примостившуюся на другом конце скамейки. Сквозь слабо пробивавшиеся лучи солнца очертания фигуры то расплывались, то вновь возникали смутным меняющимся силуэтом. Женщина по всей видимости была впервые у моря, уж слишком неотступно гляделась она в кипевший простор. Несколько раз она скользнула будто бы невидящим взором по Младлеву и он вновь поразился её изменившемуся облику – клубившееся в лучах солнца облако ... Теперь море будет всегда ей представляться вот таким седым и тревожным, – подумал Младлев – первое впечатление самое жизнестойкое. Самому же ему хотелось ослепительной синевы под ярким солнцем, чтобы море не нарушало равновесия пространства.

Неожиданно из нависшей небесной темноты выпало белое шелковистое облако, растерянно заскользило в сторону берега и там, повиснув на мгновенье между двумя горными отрогами, бессильно стало оседать вниз. Беспричинная жалость сдавила горло Младлева: если бы можно было взять облако в ладони и придать ему силы ... Тем временем облако обвило горный утёс и, дрожа, затихло. Но не надолго. Затаив дыхание, Младлев наблюдал за таявшим облаком, стекавшим вниз и вскоре исчезнувшим в невидимой горной ложбине. Он сжал изо всех сил доску скамейки и совершенно произвольно произнёс:

– Ах, зачем, зачем ...

Женщина повернула голову и – о, боже, старуха – улыбнувшись, прошамкала беззубым ртом:

– Вода зеленеет! Вода зеленеет ...

Два человека на одной скамейке. Один видит впервые море, грандиозное, ошеломляющее. Другой от страха делает произвольную попытку перекинуть спасительный мостик к первому ближнему. К тому, к той, что задыхается от восторга перед морской стихией. Увы, мосточек такой хрупкий. Почти невидимый.

В следующее мгновение Младлев уже корил себя за необдуманный порыв: радость чувствительна, как и страдание. Он не имел права так эгоистично стремиться отломить от роскошного пирога удивления необходимую ему малую толику.

Его привычно окатило чёрной волной одиночества и, покинутый в своём страхе, он уходил всё дальше и дальше в мучительный и одновременно сладостный сумрак, куда он не допускал никого, и где всё немногое принадлежало только ему. Даже пустота становилась его драгоценным достоянием.

Он резко встал, но не успел сделать и трёх шагов, как женский голос его окликнул:

– Подождите!

Что-то в этом возгласе заставило его обернуться. Юная девушка умоляюще смотрела на него. Где же отвратительная старуха?

– Простите меня, – сказала она.

Она перед ним извиняется. За что? Боже, как замечательно кружится голова от этих превращений: лицо вытягивалось, округлялось, сжималось и, наконец, приняло то выражение, что нравилось и завораживало Младлева. Вроде бы по его даже желанию. Она ещё и извиняется, какая нелепость.

– Вы должны меня простить, я загляделась на море, понимаете?

– Что вы, что вы, – забормотал Младлев, – это я виноват ... я не должен был, простите, не буду мешать ...

– Вы мне нисколько не мешаете, – перебила она, – прошу вас, не уходите.

– Я остаюсь, – покорно согласился Младлев, сел на скамейку и вытащил пачку сигарет.

– Вы курите? – удивилась она.

– Не знаю, – растерялся он и выбросил пачку в урну.

Девушка никак не прореагировала на этот жест. Они некоторое время молча, без стеснения смотрели друг на друга, и это казалось Младлеву замечательным.

– Вы знаете, я чувствовала, что сегодня ... – сказала она с каким-то усилием, будто старалась что-то вспомнить. Ресницы её задрожали, и Младлев увидел это.

– Да-да, и я чувствовал, вы не поверите, но это так ..., – подтвердил Младлев. Его уже нисколько не удивлял их бессмысленный диалог. В голове вертелось: что это? почему всё так хорошо?

– Меня зовут Мара, – сказала девушка и, глубоко вздохнув, огляделась, словно призывая пространство в свидетели.

Младлев увидел прядь рыжих волос, свободно поднятых над хрупкой белизной шеи, и тоже глубоко вздохнул.

– Юрий, – сказал он.

– Юрий, – повторила она, – так и знала.

– Что знали?

– Что Юрий, Юра, – засмеялась она.

Через часа три они чувствовали себя старыми знакомцами. Во всяком случае, так казалось Младлеву. Вспышка доверчивости без лишних слов и откровений. Ничего не зная, тем не

менее, знать всё. Прощаясь уже поздним вечером у домика, где Мара сняла комнату, он неожиданно сказал:

– Я завтра еду к травнице. Поедешь со мной? Это не далеко ...

– Поеду, – сразу же ответила она.

Младлев шёл в темноте в гору, и чем дальше он удалялся от домика Мары, тем всё больше их встреча и весь пробежавший день казались ему выдуманными.

Снова была ночь с удушающими сновидениями. Даже неожиданно ослепительное утро не могло его сразу вернуть к действительности.

Ночь цеплялась, не отпускала.

– 4 –

Травница проживала в небольшой деревне под Гаграми. Разыскивая её дом, не имевший, как и все остальные в этой абхазской деревне, номера, Младлев успел немного обгореть под солнцем.

У калитки их встретила остервенелым лаем свора маленьких собачек, норовивших выскочить за забор и наброситься на Мару. На Младлева они не обращали никакого внимания. Встреча на высшем уровне, подумал Младлев, разглядывая налитые кровью глаза собак. Что они взъелись на Мару? На лай явилась из глубины двора сухонькая небольшая женщина. Расспросив пришедших, кто они, откуда и зачем, она открыла калитку. Младлев со своей спутницей осторожно вступили на мощёную дорожку. Собачки неожиданно бросились к нему и стали тереться об его ноги, завилыли испуганно прижатými хвостами, словно ища защиты, – от кого? – а потом и вовсе убежали. Их умению перестраиваться можно было только позавидовать. Впрочем, как и у людей: всяк, стоящий за забором – чужой, вошедший же с миром – свой.

Женщина провела гостей во двор, усадила в тенёк на лавочку и сказала, что придётся подождать, так как травница отдыхает.

Вокруг небольшой площадки стояли три строения: большой дом и два поменьше. Все пять собачек улеглись в тени цветущего куста магнолии. Женщина пояснила, что все они выводок самой большой собаки по кличке Кукла. Глава семейства пыталась заснуть, прикрывая глаза, но один из щенков хватал мать за ухо, озорно отскакивал, затем забегал с другой стороны, тянул за хвост. Кукла, не расположенная к игре, лениво огрызалась, а потом и вовсе поднялась на лапы, и устало поплелась за дом. Щенок с восторгом бросился за матерью.

Младлева подумал: какая нелепость ... Семейство *Куклят* вокруг *Куклы*. И он тоже. Что привело его сюда, в этот пахучий дворик, чего он ждёт от травницы, новоявленной мессии ... уйти, уйти, какое безрассудство, так хоть всегда оставался маленький шанс, а теперь – шаг до пропасти ...

Тревога Младлева передалась Маре, она воспросительно взглянула и положила свою прохладную ладонь на его руку.

Внутри большого дома хлопнула дверь, и женщина торопливо пригласила их войти в ближайший маленький домик. В нос ударил душный, устоявшийся запах травы. Младлев в бешенстве огляделся: русская печь, швейная машинка, стол, табуретки по стенам – убранство сего *храма*. Через некоторое время в комнату вошли две грузинки в чёрных одеждах, за ними женщина лет сорока с тревожным взглядом, молодой мужчина с матерью, полковник с женой. Голоса ещё каких-то невидимых посетителей доносились со двора.

Наконец, в дверях показалась высокая полная женщина и, поздоровавшись, опустилась тяжело на единственную табуретку у стола. По тому, как быстро стих гомон, Младлев понял, что это и есть травница. Вот она, смотри и внимай – она явилась, чтобы протянуть руку спасения страждущим. Хоте-

лось рассмеяться, так нелепо выглядела травница – огромная с маленькими застывшими глазками на одутловатом лице.

Впрочем, посетители выглядели ещё забавнее. Молодой грузин Федя, сопровождавший больную мать и просвещавший до прихода главной действующей персоны несведущих о чудесах их ожидавших, замер, почтительно заглядывая в лицо травнице. Мать не отставала от сына: вся подалась вперёд, кругля тёмные, как у сына глаза. Лица остальных тоже застыли в подобострастном внимании.

И в самом деле, как в *храме господнем*, подумал Младлев.

– Сразу предупреждаю, – резким голосом начала травница, – без историй болезни не принимаю. Дашь травы, а потом отвечай. Шарлатанством пусть другие занимаются.

– Извините, я вас перебью, Таисия Ивановна, – заволновался Федя, отчего его кавказский акцент стал ещё сильнее, – я вам так скажу, Таисия Ивановна, вам никакой истории болезни не нужно, вы же человека насквозь видите.

Травница не перебивала, по выражению её немигающих глаз нельзя было определить, как она реагирует на панегирик в её честь.

Между тем, Федя продолжал, отчаянно жестикулируя:

– Я про себя скажу, про свою семью: вы мою тётку как с того света вернули ...

Услышав подобное начало, Младлев подумал, что за этим последует увлекательная история в библейском духе, но у Феде, по-видимому, имелась иная цель, которой он решил добиться, во что бы то ни стало. Тем не менее, Младлев почему-то сразу проникся к нему необъяснимой симпатией и с удовольствием следил за его диалогом с травницей. Его наивная вера в собственные словесные построения и события, о которых он увлечённо повествовал, подкупали не только Младлева.

– Я вам так скажу, – торжественно заявил Федя, – вам ведь только глянуть надо, Таисия Ивановна, и вы уже знаете у кого что ...

– У вас история болезни есть? – перебила травница.

– Нет, но ...

– Тогда нечего и разговаривать, – отрезала она, – я и смотреть не стану, можете не упрашивать. Пускай говорят, что я грубиянка, значит, у меня характер имеется. Только больных пока что вылечиваю я, не кто-нибудь.

– Вот я и говорю, – не унимался возбуждённый Федя, – тётке моей врачи сказали, мол, ты, бабуся уже всё, можешь помирать, а вы её на ноги поставили. Сейчас ходит ещё, жива-здоровая. Да такого человека как вы надо на руках носить! Памятник таким надо при жизни ставить!

Руками он активно призывал всех в свидетели. Мать его энергично поддакивала, выразительно вращая по сторонам глазами. Младлеву казалось, что она не удовлетворена краткостью реплик сына, отсутствием надлежащих подробностей, пыталась всё время встрять в разговор и дополнить, но безуспешно. Федя безоговорочно солировал. Непонятным образом вся эта очевидная чушь взволновала Младлева до крайности, и он старался не пропустить ни слова.

– Памятник? – травница усмехнулась, – недавно из горздрава опять комиссию прислали. Или говорят, открой нам твои рецепты или закрывай свою шарлатанскую лавочку. Да, так и сказали – шарлатанскую.

Федя с матерью обменялись возмущенными взглядами.

– Это же надо, а! Что вы скажете, люди добрые? – воззвал он к присутствующим.

Посетители осуждающе закачали головами.

– Вот я им закрою! – выкрикнула вдруг травница и показала невидимым недругам из горздрава кукиш. – А председатель комиссии, представляете, решил меня проверить: где, говорит, находятся почки у человека, покажи-ка нам? Я ему и отвечаю: у тебя почки в голове находятся. Он аж задохнулся, выбежал, не попрощавшись, за ним, само собой, остальные. А через месяц, голубчик сам прибежал ко мне, спасай мол, Таисия Ивановна, племянницу, погибает, камни в почках. Хотела я его погнать, а потом думаю, девочка не в ответе за дурака.

– Золотое сердце у вас, Таисия Ивановна! – Федя причмокнул от восторга.

– А что делать? Люди мучаются. Вон у меня сколько писем: кто – пришлите травы, кто просто благодарит. Возьмите, почитайте. Я всё лечу кроме рака, за это и не берусь ...

Широко расставив массивные ноги, верхом на табуретке, она ещё долго распространялась о болезнях, затем, перейдя к теме бренности человеческого существования, упомянула о проблемах своего преклонного возраста, о взаимоотношениях с дочкой, не желавшей перенимать из её рук секреты врачевания, передававшиеся в их семье из поколения в поколение. Затем речь пошла о здешнем климате и его пользе, о ценах на рынке и дороговизне жизни и плавно перешла к плате за лечение травами. Пациенты, помня об изгнании торгующих из храма, безропотно внимали травнице.

Когда народная целительница взяла в руки историю болезни Младлева, велев ему раздеться до пояса, голова у него шла уже кругом. Полистав пухлую папку, она сказала:

– Ну, вот вам живой пример! И профессора, и доценты тут понаписали много всякого, а сделать ничего не смогли. Болезнь запущена. Рассказывайте с начала.

С начала? Младлев открыл было рот, но травница его вроде бы и не слушала, подхватывала какой-нибудь факт как монету и начинала отоваривать его щедрыми комментариями. Федя, опытный дуэлянт, подхватывал перчатку и с отвагой вступал в диалог. Младлев стоял полуголый перед травницей и всей пастью, слушал балаганный шум вокруг. Его показывали, вертели в разные стороны, но ему было всё рано, он оцепенело смотрел в одну точку.

Вдруг все смолкло, и в наступившей тишине Младлев услышал всхлипывание Мары.

– Вылечите его, вылечите ... – повторяла она сквозь слёзы. Странно, но почти сразу же заголосили и остальные, но каким-то дребезжащим смешком. Лица присутствующих, включая травницу, неожиданно опали, заострились и стали на одно лицо – лицо Мары. Бр-р ... И сама она потерялась,

исчезла ... Что за бред? Со двора явственно донёлся тоскливый собачий скулёж. Но через мгновение всё возвратилось. Лица как лица. И Мара рядом ...

Боже, почему, почему она так говорит? Вылечить? Значит, он болен, действительно болен. Болен – вот она пропасть, и пусть падение пока безобидное, мелькают незнакомые лица, все козыри биты, болезнь запущена, сам ведь слышал – вот и оцепенел ... Закрыть на всё глаза и отгородиться? Или взорвать эту засасывающую пелену, взорваться ... Только бы не задохнуться мошкой, попавшей случайно под прозрачную кухонную клеёнку и мечущуюся в поисках выхода под равнодушными взглядами. И не надо его оплакивать ...

– Перестань! Сейчас же прекрати плакать! – Младлев не узнал собственного голоса.

– Девушка, не плачьте, я вам обещаю, через год будет здоровым, – сказала травница, тыкая Младлева под рёбра.

Закончив осмотр, она вышла в другую комнату за травой для Младлева. Он, схватив рубашку, выбежал во двор – там его вырвало. Больше в дом он не заходил, сидел оцепенело на скамейке и курил. Он не заметил, как подошёл и сел рядом Федя, только вздрогнул от неожиданности, когда тот сказал:

– Дай огня, – Федя глубоко затянулся и продолжил, – слушай, дорогой, через год здоровым будешь. Ты верь, это главное – верь. Тогда, дорогой, и любить, и радоваться сможешь. Человек на вере должен двумя ногами крепко стоять, верить в воздух, в траву.

Он помолчал и затем добавил:

– А жена у тебя замечательная, с большим сердцем ... и – красивая. Ты не уходи, я сейчас вернусь, поедем домой вместе, я на машине.

Федя направился к домику. Он назвал Мару женой. Мара ... почему она не идёт? Мара – жена ... Младлев постарался вспомнить лицо Мары, не смог и почему-то облегчённо улыбнулся.

Федя сказал: поедем вместе домой. Разве у них общий дом? Скорее всего, им не по пути. Ему по дороге, где вера

цветёт садами, а Младлеву ... куда же ему? Верить? ... Верит ли он? Во что? В кого? Зачем Федя ему это всё сказал? Он не договорил. Дождаться? Они должны договорить.

Вышли все вместе. Женщины направились к калитке, следом за ними, держа в руках по небольшому мешочку травы, Федя с Младлевым.

– Приезжай в следующий раз прямо ко мне, понимаешь? Мы с тобой пойдём в горы, дорогой. Там такой воздух, це-це-це! Побродим вместе. Хорошее время настанет, ты полюбишь живые лица, – говорил Федя.

Потом они ехали вместе на его такси. Такой поездки ещё не было в жизни Младлева. Машина летела легко и быстро. Федя успевал смотреть вперёд и дарить Младлеву с Марой, сидевшим сзади, улыбку. Повороты дороги раскрывались как двери правоты. Все перекидывались ничего не значащими словами. Младлеву хотелось ехать так бесконечно, только бы слушать, как ширится, обрастая звоном, робкая волна надежды.

В ту ночь Младлеву впервые за долгое время не снился отец. И утро вошло в него без скрежета – солнцем и свежестью.

– 5 –

Потекли удивительные дни. Младлев смотрел из окна комнаты Мары, куда он переехал после поездки к травнице и думал – всё это неправда: море, горы, Мара.

Иногда ему казалось, что он по-прежнему в своей комнате и никуда он не переезжал, те же входы-выходы, та же мебель. Но появлялась в комнате Мара и всё менялось: освещение, температура ... Возникали коврики, множество маленьких домотканых ковриков, кувшины с настаивавшейся травой.

По утрам море ошеломляло пугающе-ясным совершенством. Кипарисы, взявшись за руки, словно дети спускались к набережной. Узкие ступеньки змейкой обгоняли их. Когда

Младлев и Мара добирались с лентой до пляжа, море уже слегка дымилось. Тишина и прозрачность исчезали и возвращались лишь к вечеру. С отвесных скал вместе с зеленью спускалась прохлада, и пространство вновь вычерчивалось со всеми подробностями.

Предсказание Феи не сбывалось – не замечал Младлев человеческих лиц. Что-то, тем не менее, происходило с ним после поездки к травнице. Перестал являться по ночам отец. Однако, его незримое присутствие странным образом становилось ощутимее. Это была некая ненавязчивая готовность на время исчезать, не маячить тоскливо с невысказанным укором, а с удивительной интуицией в нужный момент полностью ретироваться и словно бы уступать место или утреннему туману, или перезвону звёзд, или Мару.

Мара вошла в его жизнь легко и естественно. Впрочем, очевидность её существования как бы освобождала Младлева от внимания к ней. Он и не думал о ней. Она не заслоняла пространство, в котором он теперь вроде бы осваивался с надеждой. Он эгоистично уносился мыслями в прошлое, где её не существовало. Заглядывая робко в будущее, он о ней тоже не думал. Какая она, что она любит, насмешливая, молчаливая, мечтательная, ленивая, добрая, завистливая или, или ... – он и не пытался об этом размышлять. Он даже не мог бы с определённой уверенностью утверждать, красивая ли она, любит ли он её. Не мог или не умел раскладывать, анализировать, копаться в своих ощущениях. В этом и крылось неуловимое отличие его мыслей и чувств к умершему отцу. Там он по-прежнему терялся в лесе подробностей, незначительных событий, тесноте несущественных рукопожатий, ухмылок, восклицаний, запахов, призвуков ...

Однажды ночью Младлев спросил Мару: «В том декабре, это была ты?» Она не ответила, она спала. Её волосы струились свободно по плечам, рыжели в лунном свете. Впрочем, ему было безразлично – она, другая ... Хотя почти уверен был – она. Мара его любила. В этом он не сомневался. Как же иначе.

В дневные часы Младлев нетерпеливо ждал вечера, когда можно будет встретиться с Федей, и со смущённой улыбкой пробормотать что-то вроде приветствия. В голове вертелось: мне вечер – книга, или ... а этот кроткий вечер снова мой ... К их приходу Федя уже почти всегда сидел во дворе своего небольшого домика под сливовым деревом в замысловато переплетённом кресле. Младлев знал, что завидев их, Федя радостно вскрикнет: «Проходите, проходите, дорогие гости!»

Федя звал мать, и волшебство начиналось – на столике незаметно появлялся графинчик чаи, маленькие стаканчики и ломтики дыни. Ветви сливы томились в закатных лучах. Женщины, пригубив из стаканчиков, садились поодаль и вскоре превращались в смутные силуэты. Удивительно Федя слушал Младлева – активно и ободряюще. Если Младлев, задумавшись, делал паузу, Федя поторавливал: «Умоляю, дорогой, продолжай ...»

Младлев рассказывал об отце. Вернее, тот сам, дождавшись условленного часа, выходил к ним под ветви сливового дерева.

... являлся в одеждах библейского Иосифа, и тогда его серые глаза страдальчески провожали закат, заставляя время принять облик змеи, безрезультатно ползущей вдогонку за постоянно ускользящим счастливым мгновеньем. Глаза, видевшие тот злоеущий ров, куда старшие братья сбросили его на погибель. Он помнил прикосновения их липких рук, срывавших с него разноцветные одежды и подталкивавших к узкому рву в земле. Рву, лёгшему затем первой глубокой морщиной на его высокий лоб. Сын с волнением всматривался в печальный отцовский профиль: на фоне его светлого плаща чернела беззащитным жучком головка мальчика, чьи удивлённые глаза пытались охватить кипевшее пространство, но не находили нигде точки опоры и спасительно обращались к властной твердыне отцовского профиля.

Сливовое дерево, закатные лучи, прелюдийно освещавшие начало беседы, растворявшиеся силуэты женщин под тёмными окнами ...

Младлев не говорил о смерти отца. Федя, впрочем, и не спрашивал, и не удивлялся отцовским бесконечным превращениям.

Наступал вечер, и Младлев с готовностью отправлялся в легкомысленное путешествие, сулившее часто неожиданные встречи. Его выбором руководил, впрочем, не только случай. Младлеву казалось, что он строит жилище, где ему с отцом будет хорошо и просторно. Без строчек и страниц. Да что строит, просто выбирает пейзаж, погоду, запахи. Он не сражался, как в первую грозовую ночь, с подробностями, позволяя им оживать без всякой последовательности и логики, нагромождаться, замолкать на полуслове. Не заботясь о стиле и логике. Он освободился от грамматики, от запятых, от необходимости связного изложения, от предметной картинности написанного текста. Благо, и тетрадка затерялась. Он и обустроивался в доме-книге скорее по интуиции, чем по уму, потому и предлагал необходимый именно сегодняшнему вечеру сюжет.

... воскресное утро. Родители отсыпаются. Мальчик листает альбом с фронтовыми фотографиями. Затем стаскивает со стула отцовскую гимнастёрку, и, царапаясь об орден, натягивает её на себя. Теперь затянуть ремень, чтобы пряжка в форме звезды оказалось в центре, перекинуть через голову военно-полевую сумку, засунуть под ремень пустую кобурку, ноги в сапоги и ... можно потихоньку топтать к зеркалу. Да, не забыть бинокль. В зеркале появляется нечто несуразное, совершенно не соответствующее фотографиям: особенно портит вид стриженная под мальчишеский полубокс голова. Слёзы каплют на чересчур длинную гимнастёрку. Как платье, думает в отчаянии мальчик. Побродив по комнате, он пристраивается на полу у дивана, с досадой

захлопывает альбом с фотографиями и подкладывает его под голову. Фронтовых историй отец не желает рассказывать. Два ранения? Пустяки, отмахивается он. И всё же какие-то обрывки о какой-то не то бомбёжке, не то атаке слышал он из разговоров взрослых. Этого мало-мало для мальчика. Домыслить, дополнить эпизодами из кинофильмов? Но это уже нечто другое. Вот если бы знать всю правду, мечтательно думает мальчик, но додумать не успевает и незаметно засыпает.

Полагалось хотя бы улыбнуться, но у Феде почему-то выступают слёзы на глазах, и сразу картина обрывается. Ненадолго.

... под сливовым деревом появляется Шайке Пфайфер. Его длинные пейсы беззлобно ухмыляются. Для начала он поет песенку, а потом ... потом ... Бог мой, хохот и слёзы смеха уже не оставляли Младлева с Федей. Разинув рот, они слушают, как Шайке-Свистун плетет свою интригу, словно сеть, в которую попадают и наивные, и недоверчивые, и дети, и старики. Смотрите, смотрите, Шайке неуклюже ползёт по полу в спальню к своей взрослой сестре и начинает, словно мышь скрести ногтями доски. Сестра в ужасе зовёт на помощь брата – с невероятной скоростью он появляется в дверях и с невинной физиономией спрашивает, в чём дело.

Ах, смех резиновым мячиком прыгал по каменистой земле. Федея, смахивая слёзы смеха, кричал:

– Слушай, дорогой, не останавливайся!

И Младлев с готовностью вглядывался в хулиганские глаза Шайке Пфайфера, ожидая очередного фокуса.

... тот не заставлял себя ждать, воцарялся за праздничным столом тамадой. И вот уже лица родственников и гостей загипнотизированы таинственной историей, которую он сам же прихотью короля смеха уничтожает

одним небрежным жестом, чтобы через некоторое время дать жизнь другому грандиозному розыгрышу. В нем Волга начинает вполне достоверно омывать город Минск и впадать в Азовское море. Господи, какие протостофили, всему верят. Ну-ка, надо привести их в чувство: так, одному щелчок под ухо, другому воды за шиворот ... ха-ха-ха, теперь можно снова песенку. Шайке Пфайфер, Шайке Пфайфер, – кто знал, что это был он, когда держался за живот от смеха, слушая искромётные фантазии отца, украшенные для правдоподобия словесной белибердой типа калямаляфаля и потешными гримасами, приводившими в восторг детей.

Когда смолкал отец, Федя доставал сигареты, и они прикуривали от одной спички. Что-то было от ритуала в этом молчаливом курении, когда в лунном свете остывала беседа. Младлев бормотал про себя: ... *как всё в природе объединено, всё правда в ней, и всё необъяснимо ...*

Однажды Федя, сделав знак рукой, чтобы Младлев ждал, скрылся в темноте. Через минуту он вернулся с маленьким старинным снимком в руках.

– Хочу тебе показать, дорогой, – сказал он, – это мой дед. Он прожил всего 102 года.

– Всего? – удивился Младлев.

– Конечно, мало прожил. Умер молодым, утонул. Мой прадед дожил до 114 лет.

– Тут что-то написано на грузинском.

– Ах, это дед написал моему отцу на память: жрецом и жертвой был я сам ... Это из Бараташвили ... сам понимаешь ...

– Не очень, – признался Младлев.

– Ну, как отец пишет сыну, понимаешь?

Младлев торопливо распрощался. Отец пишет сыну: жрецом и жертвой был я сам ... Нет, тут всё не просто ...

Чем выше они поднимались с Марой в гору, тем неистовой метались в ночи светляки перед глазами.

– 6 –

Последняя неделя у моря. По утрам у Младлева совсем прекратились приступы. То ли стала действовать трава, которую ему аккуратно заваривала Мара, то ли морские купанья, во всяком случае о приступах он стал забывать. Кожа Младлева потемнела от загара. Возвращаясь с пляжа, они восседали на круглом каменном парапете, нависавшем в высоте перед их домиком, и смотрели на белое выгоревшее море, сливавшееся с небом.

Мару загар не брал. Рука её с диковинным оловянным кольцом на безымянном пальце белела на жарко дышавшем камне.

Младлев знал, что они поднимутся к себе, Мара снимет кольцо с пальца, стены комнатки льдисто заискрятся, раздвинутся, и ему не останется ничего другого, как с радостной обречённостью задышаться в мыльной пене безлюдья, покачиваться в ласково угрожающих ладонях, прижиматься к скользкой спине и грудям. Женщина-карлица мурлыкала, брала его на колени, с готовностью заглядывала в глаза, угадывая желания, сладострастно предлагала ему ещё более ужаться, превращалась в бестелесную старуху с плоскими лепёшками грудей, шершавыми руками. Его обнимало облако, он терял ощущение реальности, не видел ни глаз Мары, ни её рук, объясняя возникавший мираж своей сверхчувственностью – не Мара принадлежала ему, а он ей. Он с наслаждением погружался в беззвёздный, бездонный, безлюдный океан. Ему снисходительно позволяли своевольничать в холодной темноте. Самое поразительное, что темнота была зряча и отзывчива к нюансам его переменчивых ощущений. Младлев ликовал: он отчётливо видел, но как бы без глаз, без зрения – видел *всё*. То есть, по сути – пустоту. Её подробности и детали. Сладостный холод заполнял его неизбывной

густой волной, и когда оставался лишь последний желанный миг, он проваливался в сон, в будущее, которое никогда не наступит, и окончательно освобождался от времени и от себя. Он – отец ли, дед ли, прадед ли, прадед прадеда – все они растворились вместе с ним в объятиях Мары.

Его пробуждали грузинские песни. Звуки возникали ещё где-то во сне, наощупь и, когда он открывал глаза, уже знакомые сочетания букв *цх-тхо-шево* ... в полную силу раскачивали лодку мелодии, в которой радости и печали было поровну. Карусель в парке, откуда доносилась музыка, неподвижно изнывала в полуденном воздухе.

Мара грелась под солнцем на веранде.

Рука тянулась к купленному им томику Бараташвили. Младлев не разлучался с автором «Мерани» и «Судьбы Грузии». Как заворожённый повторял он: ... *этот сизый, зимний дым мглы над именем моим* ..., или: ... *и жалок тот, кто в памяти земли при жизни станет мертвечиной* ..., или: ... *я слаб, но я не раб судьбы моей* ... Но в конце он неизменно открывал страничку, где сразу без названия начинались строки: «*Я храм нашёл в песках* ...». Он знал текст как собственную ладонь, произносил его как заклинание. Однако, стихотворение оставалось неким сфинксом, не поддавалось объяснениям. Всякий раз он понимал смысл по другому и чувствовал, что сердцевина, главное ускользает от него.

В один из последних вечеров Младлев привёл к Феде случайного знакомого по пляжу. Тот, оказалось, знал его отца вроде бы ещё до войны, до рождения Младлева-младшего. Федя не рассердился за непрошенного гостя, принёс стул, произнося традиционное *проходите, дорогие, проходите*.

С настороженностью смотрел Младлев на мужчину. Гость чувствовал себя не в своей тарелке, оглядывался на покинувших их женщин. Но стаканчик чачи сделал своё дело и вот уже ... отец Младлева, не знакомый в начале и чужой, выходит под сливовое дерево. Мелькает дом на окраине маленького украинского городка, неясные лица его братьев, какие-то комсомольские собрания, слесарная мастерская ...

И вот уже голова Младлева узнаваемо кивает в знак согласия – он, он ...

Неожиданно Младлев безо всякой связи ощутил ясную глубину и прохладу грядущей осени. Он прикрыл глаза: спасительный людской гомон, приближавшийся издалека, заполнял темноту. Потоки хаоса устремлялись навстречу друг другу, сбивались в клокочущие волны, меняли направление. Младлев узнавал забытые голоса, обрывки мелодий, смех, запахи, миллионы знакомых шумов, бульканий, поскрипываний, стонов ... Дышащее пространство обволакивало пустотную тишину и звуковая лавина, возникшая ещё задолго до его рождения, примиряла внутри него отца и Мару, как и ...

Мара, где она? Нет, значит ещё не время ... Что он, в самом деле? Имя даже прошептал. И вечер свернулся, завял. И Мара исчезла, скрылась до поры до времени во мраке. Будто её и не было.

Прикуривая как всегда от одной спички, зажжённой Федей, Младлев смотрел на звёзды, но видел уже совсем другое: в хоральное многоголосие сосен врывается сердечной заходью зелёное дыхание берёз, и вот уже печаль и пламень слиты воедино – живут, обманывая мучительным непостоянством движений, красок, пульса, – но, наконец, и здесь появляются долгожданные черты согласованности, душевного равновесия, когда ты уже не ты, а лишь веко, штрих, примета пространства.

1977/1982

СКРЯБИНИАНА

Январь 1893 года

Скрябин поворачивается на бок и уголком одеяла незаметно смахивает слезы со щеки. Нет, теперь никому не удастся застать его врасплох. Хватит и того, что в музыке своей он уязвим и беззащитен. Впрочем, ранимость, запечатленная в звуках, недостижима для суетного славословия. Так что и уязвим не столько он, сколько его непомерное тщеславие. Поделом же!

Тётя не должна видеть его слёз. После того случая с собакой, когда он, уже шестнадцатилетний, на виду у всех сидевших за вечерним чаем, заплакал как ребенок. Нет, никогда больше, ни при ком. Показать слабость? Но тетя! Она и тогда ничего не поняла: разве только от жалости к дворянке, взвизгнувшей от удара тётиного сапожка, свело судорогой горло? Было сострадание, было! Но оно вмещало и вспышку собственного бессилия, и удушающую стыдливость за общность с тем тётиным сапожком, *родственную общность ...*

А уж тетя везде и всем: *какой добрый мальчик!* Ах тетя, родной ... далёкий человек.

Нет, право, она совершенно несносна, его тетя. Ведь видит, что он спит, и всё-таки стоит в дверях. И непременно будет стоять, пока он, так сказать, не проснётся. Отчего она ни капельки не чувствует, что именно её теперь ему видеть тяжело и необязательно, что её присутствие приумножает его слабость, узаконивает его зависимость, которую он и так постоянно ощущает как тяжесть. Потому и тяжесть, что по-другому не может.

А тетя знает, ощущает свою необходимость, и как бы в благодарность, ждёт откровенности. Ну что же, откровенность, так откровенность – она уже сковывается в ритмиче-

скую размеренность в финале сонаты ... Хотя и против воли, но сковывается.

– Шуринька, там к тебе ученик, – не выдерживает Любовь Александровна, нарушив робким голосом тишину спальни.

– Ох, тётя, – недовольно стонет Скрябин, не открывая глаз.

И тут же внутри кольнуло: к чему это жеманство, невольный призыв к жалости? Он даже заскрежетал от ярости на самого себя. Любовь Александровна словно только и дождалась этого вздоха, чтобы утвердиться в правоте своего присутствия. Она шагает вперёд и произносит сочувственным тоном:

– Он говорит, что ему назначено на это время.

– Я сейчас, – Скрябин старается отозваться как можно бодрее, но голос предательски срывается и вновь звучит жалобно. Для тети это уже равносильно зову о помощи. – Я пойду отменю!

Она решительно направляется к двери, но Скрябин останавливает ее, вскрикнув:

– Нет, тётя, нет! Иди скажи, я сейчас.

Исчезли, прошелестев, шаги тётки. И вновь звякающая пустота вокруг. Скрябин встал, набросил халат. Внезапно застучало в затылок. Неужели начинается вчерашнее? Осторожно сел, прикрыл глаза. Удары в затылок равномерные, в маршеобразном ритме. Скрябин улыбнулся. Что, звать тётку? Почему-то вертится тема первой части сонаты. В жутком этом ритме ...

Вчера время вот так же вздыбилось, вдруг стало отмерять секунды, но он крепился, продолжал работать: скерцо было найдено, оставалось лишь записать. Казалось, дело техники распределить тему, но не спорилось, повисало безрезультатно в воздухе. Порыв не достигал цели, вот и стало тикать в голове.

Ритм марша возник позднее, когда, уже изнемогая от боли, Скрябин отдался во власть тётки, зажавшей его голову

как в детстве ладонями, и вроде бы ни о чём не думал. Тётя мягко журила его за чрезмерность в занятиях, вспоминала доктора Захарьина, его уверения, что рука наладится. Будто дело только в руке ...

Скрябин шевелит пальцами правой руки и чувствует покалывание в мышцах вплоть до локтя. Быстро сжимает пальцы в кулак и разжимает – ничего! И в затылок не стучит. Чепуха какая-то. Маршеобразный ритм, правда, остался. К чему он, ведь Скрябина ещё с кадетских времён леденит от этих маршей, в них есть какая-то ужасающая, заковывающая предопределённость.

Удивительно, для чего Шопену понадобился во второй сонате похоронный марш? Впрочем, понять не трудно, но не лучше было бы ... Конечно, Шопен всё разрешил финалом, эдаким ошеломляющим многоточием.

Однако, у Скрябина в сонате марша не будет! Ни за что!

В дверях вновь тётя, но Скрябин уже одет, даже в галстук. Он ласково улыбается, позволяет поцеловать себя в лоб и следует за тётей в столовую. Он двигается маленькими шажками, изящно наклонив голову набок. Тётина спина в чёрном платье такая широкая, спасительно широкая ...

А вон и бабушка с крёстной. Они встревожено вглядываются в лицо Шуриньки. Почему они все трое постоянно в чёрном? Впрочем, они милые, дорогие. Вот уже и улыбаются, потому что улыбается и х Шуринька. Правда, он немного бледный сегодня, и х Шуринька, и всё же он очень славный, и х Шуринька – предлагает ученику позавтракать с ним вместе.

Скрябин чувствует, что он и в самом деле сейчас славный. И ему приятно, что он ничего почти для этого не делает специально. Да, он изначально такой славный и приятный. Вернее, изначально и м и такой придуманный. Их Шуринька – славный, вот и вся формула любви.

От бифштекса ученик отказывается, маленькими глоточками пьёт чай, смешно двигая подбородком. Собственно, он,

этот ученик, тоже славный. Только в музыке чересчур ординарный. Нет, пожалуй, это слишком категоричное утверждение. Вероятно, ему просто не хватает фантазии.

Скрябин с аппетитом ел бифштекс с кровью. К удивлению ученика, он намазал толстым слоем горчицы кусочек соленого огурца и положил в рот – ученик поперхнулся. Скрябин повеселел – ведь специально для него и намазал горчицей ... вот и мерзко, что специально, что вновь игра, – и тут же обмяк, потускнел.

Тема первой части как-то урезалась и в голове вновь затикало.

– Ну, голубчик, начнём, – Скрябин встал. Улыбка всё ещё не покидала его, но туманилась уже и не радовала.

Ученик поспешил за ним. Совсем ещё мальчик, он ростом был с учителя. Скрябин сел в кресло и приготовился слушать. Ученик опустил руки на клавиши.

Остановить, остановить его, ведь зазвучали, обозначились контуры мелодии марша! Или ... Ах, напротив, пусть играет и перебьёт этот ритм! Сам же хотел ...

Ученик играл гамму. Ровнее, ровнее. Старайтесь, чтобы кисть сверху представляла ровную поверхность. Попробуем ещё раз. Так, так, уже лучше. Теперь ещё раз. Неплохо. Приступим к Бетховену ... Нет! Нет! Сегодня положительно не могу. Голубчик вы меня уж простите, голова разламывается. Позанимайтесь дома сами, да-да, через неделю приходите, как всегда в воскресенье, только поупражняйтесь, как следует ...

Даже не встал, не проводил, не выдал улыбочку. Едва ученик вышел, нажал в малой октаве ФА. Затем уже почти взял ДО, но не дотронулся, отдёргнул руку и откинулся на спинку дивана, обитого зелёным трипом.

Не сдавалась мерная поступь, шествовала по басовым квинтам. И тема первой части с настойчивостью обосновывалась в этой неизменной поступи. Ну, хорошо, пусть марш, но не похоронный – марш-воспевание.

Скрябин вздрогнул, ощутив прикосновение руки тёти.

– Всё образуется, Шуринька, вот увидишь. Ты обязательно будешь опять играть на рояле.

Жаркое дыхание тёти на щеке.

Всё об одном и том же! Как же несносна она своей заботой! И ведь добра, а вызывает раздражение. Потому что во всём, и в заботе, прежде всего, навязывает – терпи.

Ах, Господи, всемилостивейший Господи, услышь мою мольбу, моё страдание! ... В прохладной, обманчивой пустынности церкви, в канонической росписи алтаря и стен, в золочёной кафедре, в песнопениях и в зычном голосе псалтырщика звучит незыблемое – терпи. Ах, Господи, всемилостивейший Господи, услышь мою мольбу, моё страдание ...

Желанное страдание, дай я тебя расцелую, поблагодарю за то, что ты есть! Что человек бы без тебя делал?

Нет! Скрябин почти оттолкнул тётю – сам же мимолётно ужаснулся – и, быстро одевшись, выбежал на улицу. Едва сдерживая слёзы, быстро направился в сторону Старо-Конюшенного переулка.

А тётя не заслужила, право, не заслужила такого отношения с его стороны. Как совладать с собой, если всё внутри перековеркано, нестройно, несоразмерно. Вспомнил про книжку, которую читал вчера перед сном – об дифференциальных уравнениях. Вот где подлинная стройность, в этих мудреных уравнениях.

Он шёл, глядя под ноги. Снег на морозе скрипел. Будто был не плотен и скрывал под собой воздух. Приподымал идущих.

Лучше не вслушиваться – та же размеренность и в его шагах.

А тётя ведь права: и в руках причина. То есть не в одних руках, конечно, но и в них тоже. Только причина чего? И всё же, если собрать воедино всё, то ... руки, Наташа ... от них – соната ... Ах, нет, чушь! А одиночество? А Бог ... Что после чего? Впрочем, к чему эта иерархия в себе, если внутри всё хоть и несоразмерно, но е д и н о . Всё неразрывно.

Причина чего, всё–таки? Его побега из дома? Утренних слёз?

Он дышал в мерном маршеобразном ритме. Да что там, ритм жил уже отдельно, самостоятельно. И басы шагали. Только мелодия ещё изворачивалась, не подчинялась.

Не мелодия – он!

Внезапно Скрябин остановился, оглянувшись по сторонам и юркнул в маленькую железную калитку. В округлом дворике, у заснеженного куста акации он быстро присел и просунул руку за куст – там ничего не было. Он растерянно улыбнулся. Наивный, надеялся на весточку. Наташа же ясно дала ему понять ...

Мороз выплел из режущего воздуха торжествующие узоры. Он живой – мороз. Только нужно ощутить его ритм.

Скрябин словно наяву увидел мягкий, не имеющий очертаний – только звуками очерченный – Наташин взгляд. Прочь! Наташа Секерина им выдумана от начала и до конца.

А марш исчез. Не тикает. Вон его как живым ощущением вышибло напрочь. Так-то.

В самом деле, он Наташу выдумал.

Ах, что-то промелькнуло очень важное. Только что. Да, он чувствует, что мысль та гораздо важнее воспоминания о Наташе. Ведь только что подумал и упустил.

Наташа? Наполнил щемящим звучанием её облик, улыбку, дыхание. Между тем, она – д р у г а я . Летом унижался в пись-

мах, изводил петухом страницы писем, которые потом Секе-рины на части раскладывали – это можно, это нет ... Умолял ответить, только зачем?

Упустил. Быть может самое главное. И ведь почти ухватил мысль ...

Как он несправедлив! Лезет со своей невыносимой *раздираемостью* в чужие души, жизни. Да ещё и взаимности требует. От его бесконечных озарений и провалов отчаяния другие только страдают – он знает ... И Наташа мучается. Она не загадочна, она – проста, в ней ясность. Может и ... простоватость. Ах, вновь не так! А восторг, охватывающий его, когда она рядом? Восторг от простоватости? Да и только что ведь бежал. Не надеясь, но бежал – к ней. К восточке от неё.

Вот и прибежал – к пустоте.

Вспомни, вспомни, как сочинял в неестественном раже:

Хотел бы я мечтой прекрасной
В твоей душе хоть миг прожить,
Хотел бы я порывом страстным
Покой душевный возмутить ...

Не возмутил. Пустоту не возмутишь. Тем более пошлостью. Ненатуральными стихами, да ещё положенными на музыку. Таковую же ненатуральную. И этот романсишко – стыд какой! – дарил Наташе на день рождения, как самое драгоценное. Как же не чувствовал ничего? Что ей не надо всего этого. Вот если бы на каток, или на бал, там – настроение и интерес. Гулянье, вечеринки ...

Опять несправедливо. Сам же с удовольствием дурачился на Рождество вместе с Колей Авьерино: нарядился испанкой, потом в фуре для перевозки мебели поехали всей компанией на Тверской бульвар. Там, в темноте, осмелился впервые взять Наташу за руку, маленькую, удивительно тёплую ... А как с Марией Дмитриевной, Наташиной мамой, кокетничал? В качестве испанки, разумеется, кокетничал. И Мария Дми-

триевна веселилась от души, принимала карнавальные ухаживания. Не отставал от Скрябина и Коля Авьерино. В маске клоуна он был особенно хорош. Мавр, так звали его друзья за смуглую кожу, потешал всех отменно. Карнавал удался ...

Последняя встреча с Марисей Дмитриевной. Она вежливо цедит сквозь губы: «Не смущайте душу моей дочери, она ещё совсем ребёнок». Скрябин, будто уличённый в чём-то постыдном, вспыхивает и начинает уверять, что считает себя с Наташей женихом и невестой, что у него самые серьёзные намерения, что ... В ответ на лице матери лишь надменная улыбка.

После этого объяснения и прибегнули к помощи записок. Она с детской ещё радостью от общей их тайны, он с горечью.

Проклятая размеренность, куда от неё деться? Марш – пульс холода.

Достопочтенная Мария Николаевна действовала размеренно, определив Наташу после смерти Зверева в класс фортепиано к Косте Игумнову, а не к нему. Размеренность похоронная ...

В этом году две смерти. Вначале кончина Чайковского. Правда, воспринял весть эту только умом, и ... мимо. Слишком высоко, на Олимпе, был он при жизни. Да и не разделял Скрябин повального преклонения перед Чайковским. Преклонения, предполагавшего его единственность. Это отталкивало Скрябина: избирательность была навязана другими, а не им самим осознанная и прочувствованная.

В смерть Зверева поверил сразу. Окатило ознобом ужаса, вот она реальность – уход из жизни. Не маячившая где-то там вдалеке мысль, знание о конечности жизни и своей, и своих близких в необозримом будущем – после жизни. Даже не знание скорее, а вероятность, которая там, после, обещала легкомысленно ещё одну вероятность – избавления ... Ну, а вдруг?

На Даниловском кладбище, на похоронах, не испытал ничего, кроме отдельности от всего происходящего. Речь Кашкина. Максимов, Рахманинов, Игумнов, Мотя ... Холодность отчуждения вмещала и пронзительную связь, общность со всеми. Потому она и возникла, что Скрябин внезапно ощутил, увидел как бы весь мир, всех людей, и теперь с холодной пытливостью узнавал себя в этом мире. Никогда ранее он не чувствовал свою родовую принадлежность к миру людей с такой остротой.

На поминках кто-то съязвил о его, скрябинском композиторском дипломе. Вернее, о его отсутствии. А кто – стёрлось. Потом заговорили о Рахманинове, невольно сопоставляя. Конечно, автор «Алеко», Большой театр и прочее. А вот он, Скрябин, всё прелюдиями разбавляется, да романсы барышням сочиняет по случаю.

И замечательно! Собственная неуязвимость поражала Скрябина: ни зависти, ни желания следовать за Рахманиновым. Он с какой-то упоённостью осваивал только что открытое им чувство единства, общности. Непохожесть, даже порочность других, ещё более усиливали это чувство. Противоположность придавала в глазах Скрябина сообществу людей, причём этих же, во всём отличных друг от друга, оттенок роковой нерасторжимости. По жизни – все вместе.

Все вместе и один. Одна жизнь. Его, Скрябина. Как удивительно она сплетается, эта его жизнь, его воздух, которым он дышит, сплетается в злобещий похоронный ритм. А ведь он только что обрёл себя в единстве со всеми, и это обретение не уживается с маршем. И тем не менее, марш заполняет всё вокруг, узаконивает: прямолинейную категоричность Аренского, не верящего в композиторский талант Скрябина; твёрдость медицинского заключения Захарьина о его руке, ледяные улыбки Марии Николаевны, то бишь, Марии Дмитриевны – вот уже и забыл! – молчание Наташи, назойливую терпеливость тёти ...

Уже не избавиться, марш властно ведёт за собой.

– Александр Николаевич! Сашка! Опомнись! – взявшийся откуда-то Мавр.

Смуглое лицо Авьерино на морозе выглядит серым. Он продолжает тормозить Скрыбина, обнажая в улыбке белые, крупные зубы.

Между тем, марш шагает. Значит судьба. Только теперь, если суждено, надо перестать сопротивляться. Если суждено ...

– Чудак, ты и есть чудак! Нет, ну, право, куда же ты пропал? Я тебе записку за запиской. А он, пожалуйста, исчез. И Василий Ильич спрашивал. Я вчера уж и у Секериных был ...

– Что твоя рука? – Скрыбин будто очнулся, по лицу поплыла ласковая улыбка участия.

– На врачей плюнул! – Мавр захохотал. – Я же тебе писал о Шарко. Уж на что старикан силён был, а и то в наших профессиональных болячках положительно несведущим оказался. Переиграть руку – для него звучит как африканское заклинание. Представь себе, я потихонечку начал заниматься, и пока ничего. Ну, а ты что? Собрат по несчастью, ха-ха-ха. Угораздило нас переиграть руки одновременно. Может знамение какое? Рассказывай! А то я за границей отстал от событий.

– Всё хорошо, – Скрыбин продолжал улыбаться. – Рад тебя видеть. Занимаюсь.

– Да? А мне наболтали про твои руки. Я тебя как никто понимаю, сам сквозь это прошёл. Слушай, пошли на пруды! Там сейчас масса народу, и сестрички наверняка катаются на коньках! Секерины, а? – Авьерино подмигнул.

– Нет, Коленька, извини, мне домой надо ... тётя нездорова, – Скрыбин всё ещё улыбался, почти физически ощущая мучительность этой улыбки.

Но Мавр всё понял, или сделал вид, легко и без досады распрощался и убежал.

Дались всем его руки. Впрочем, болезнь их – благо. Ведь дали импульс сонате. Благодаренье судьбе? Но соната как раз на-

перекор судьбе и возникла. Защищает ... Почти овладел сонатой. Ещё только финал ...

Да звучит он, звучит! Марширует, хоронит.

А рояль? Что же, забыть? Выбросить из памяти счастливые минуты срастания с клавишами, когда исчезаешь и воплощаешься в какой-то высший парящий дух? Ведь только двадцать лет ему, двадцать ... как много ...

Какая там к дьяволу вечность и «ветер над могилами»! Он пойдёт дальше Шопена. Никакого многоточия! Невтерпёж уже, неумогу! Давно уже всё внутри построено, только записать скорее. Построен дом. Соната – дом. Вместилище, жилище. Только в конце – размеренность маршеобразного склепа. В конце чего? Жизни? Сонаты?

Любовь Александровна, сидевшая в комнате бабушки, не сразу уловила зловещую поступь басов рояля. А когда поняла, в ужасе взглянула на мать, – та спала. Она инстинктивно привстала с кресла, чтобы бежать на помощь Шуриньке: похоронный марш звучал с неумолимой властью.

Октябрь 1897 года

– Ну, полноте, голубчик, не надо так отчаиваться, – неожиданно ловким движением Сафонов достал из внутреннего кармана белоснежный платок и вытер со лба пот, – Положись на своего старого учителя. Что это, право, у тебя за крайности?

Но Николай Андреевич совершенно недвусмысленно отозвался о партитуре концерта! – Скрибин еле поспевал за энергично шагавшим Сафоновым.

Как же, позволь тебя спросить, он отозвался?

Сказал, что концерт – пакость! – голос Скрибина задрожал.

Ну и чёрт с ним, с Корсаковым! – вдруг закричал Сафонов, и его лицо побагровело. Он остановился и ударил себя в

грудь. – А я тебе говорю: всё пре-крас-но! Ежели ты ещё раз упомянешь Корсакова, я уезжаю, – он смахнул каплю пота с носа и устало закончил, – поскольку ты моё мнение положительно не ценишь.

Я, право ... – Скрыбин задыхался от волнения, – ну, простите, Василий Ильич, дорогой ... ведь это всё нервы, должны понять ... притом Одесса воистину невыносима после Крыма, повсюду этот гнилостный запах ...

Будет, – Сафонов улыбнулся и обнял Скрыбина за плечи, – на репетиции всё прояснится. А гнилью в самом деле вохнет ... Ну, да я устал с дороги, пойду к себе. Ты Веру целуй. Она к роялю то подходит?

Учит мою новую сонату! – Скрыбин поморщился.

Значит кончил?! Экой молодец, а молчишь. Вера должна непременно мне её показать, договорились? Ты, Сашенька, голубчик, помни, что Вера не только прелестная женщина и драгоценная твоя супруга, но и прекрасная пианистка. Да что ты, право, кривишься? Я настаиваю ...

Но соната ей положительно не удаётся! – с отчаянием воскликнул Скрыбин.

Так верно ты понаписал эдакого! – Сафонов вновь примиряюще обнял Скрыбина за плечи, – Сознайся, что намудрил.

Помилуйте, Василий Ильич, это самое простое, что у меня есть. Да финал-то вы слышали!

Да-да, прекрасно помню. Ну, мы ещё непременно поговорим. Пойду, полежу с часок. А ты сходи, дружок, к морю. О концерте не думай.

Скрыбин смотрел вслед удалявшемуся Сафонову, и постепенно всё восстанавливалось вокруг: бульвар, неспешные дамы, запах гнили, обрывочные интонации из концерта и совершенно ещё незнакомые, раздражение ...

Привычное многоголосие. Невыносимое, но привычное.

А Сафонов его положительно подавляет. Заполняет собой без остатка. И говоришь то вроде с ним о себе, а тебя ... нет. И всё же, как он ему благодарен, своему дорогому учителю, несмотря ни на что!

Привязалась тема второй сонаты и раздражает. А ведь вроде бы распрощался с сонатой, и покойно было. Странно, покой в сонате от неё, от Веры, и она же не чувствует музыки, суетится, не растворяется ...

А Василий Ильич верит в его фортепианный концерт. Да и сам он чувствует, что инструментовка не так уж дурна для первого крупного сочинения для оркестра. И зря Лядову написал, что для него, Скрябина, довольно и *приличной* инструментовки. Как будто и впрямь – довольно. Слово-то какое – *приличная*. А как съёжился от одного лишь недовольства Римского-Корсакова, оправдываться стал, словно виноват, словно не за своё дело взялся.

Скрябин быстро шагал по бульвару. Голова его была вскинута чуть наверх. Казалось, вот-вот он взлетит.

Равновесие убивается духотой или холодом? ... От не любви тягостно. За что так Римский-Корсаков к нему? Он вспомнил холодный блеск двойных стёкол Корсакова на Беляевских вечерах. А он с такой готовностью устремился – внутри чувствовал, что не от сердца, а лишь с готовностью – к стопам живого классика в надежде на благословение. И получил в ответ неприязнь. Впрочем, неприязнь ли? Может по справедливости его концерт – пакость ... и показывать его можно лишь в провинциальной Одессе?

Ах, соната, соната, что тебе от меня? Ведь не о тебе речь, а звучишь ... И гармония внутри нарушена, пропала. Только что была, ещё утром, когда проснулся и взглянул на спящую Веру. Боже мой, Вера, милая, милая ... Вот и гармония. Вот и не расплескай её. Дыши. Смотри на мир просто. Вера, Вушенька, милая, как ты меня учила: вот солнце, вот море, вот дерево, вот я ... И всё это – гармония.

Скрябин сел на скамейку под тенистым платаном.

Не надо усложнять. Вот люди. Они идут. Вот дама в дорогой горжетке.

Он прикрыл глаза.

Человек всё может. Он сильный. Принимаю всё вокруг: и

Корсакова, и Сафонова, и Вушеньку, и даму в горжетке ...

Соната звучит, нарастая, заполняя всё пространство. И нет уже Одессы с её ужасной горой Чумкой с холерными захоронениями, нет зала «Унион», где должна состояться премьера его фортепианного концерта ... Пустой зал вчера напугал – кресла одинаково прямоугольные, стоят в затылок, как шеренги солдат. Правда Сафонов утверждает, что акустика там чудесная.

Домой! Домой! Два дня не прикасался к роялю.

Скрябин резко встал и почти бегом направился вверх по аллее, щурясь от лучей закатного солнца.

Какова сила в цели! Цель, цельность ... И ведь цель-то мизерна, ничтожна – домой. А сила порыва необыкновенна. И не всё ли внутри человека – порыв? Мечты, желания, мысли, любовь?

И если цель не частная, а всеобщая? Тогда и общность обязательна, непременно *слиянность*, единство со всем *не-я*, когда исчезаешь во вселенском порыве ...

Однако, цели-то нет, одни иллюзии. Легко сказать – исчезнешь, когда даже сонату невозможно из головы выбросить. А она, соната, звучит и будто упрекает в несовершенстве.

Вот в море – равновесие, простор, гармония. Куда там его сонатке до величия моря. Кто-то выдумал, что его соната навеяна морским пейзажем. Чушь! Вот они рядом, как невыразительна соната рядом с морем. Но всё равно звучит! И не думает отпустить несчастного автора.

Скрябин вспомнил, как неистово бросился защищать сонату несколько дней назад от неточной интонации, закравшейся в исполнение Вушеньки. Как она испугалась, бедняжка, увидев его разъярённую физиономию.

Как он несправедлив к ней. Из-за сонаты. Но теперь понял: соната отдельна. Она уже не его. Она всеобщая. Как воздух. И он на неё, на сонату, никаких прав не имеет. Она звучит по своим законам.

Порыв не убить бы только! Продлить! Раствориться в нём ...

Вот и Херсонская улица, дом Навроцких. Из распахнутых окон – соната. Знал, чувствовал, будто не уходил – Вера всё играет. И как неверно, неточно всё в сонате! Порыв в сонате уживается, вернее, умиротворяется с последующей сладенькой интонацией. Хотелось крикнуть – ложь! И Вера не виновата, фальшива его соната ... Порыв должен не дразнить, а утверждаться во времени и в пространственном космосе. И вмещать море, Веру, его самого, цыганку, идущую навстречу ...

– Господин хороший! – Цыганка внезапно хватается Скрябина за рукав. – Горишь, ты весь горишь! Дай погадаю! Всю судьбу твою вижу, дай монетку. Сгоришь ты рано, и от тебя огонь пойдёт спасительный ...

Соната корчилась.

– ... огонь великий. И вся грязь вокруг тебя сгорит и очистит воздух ...

– Что за ерунда! – Скрябин вырвал рукав из пальцев тяжело дышавшей цыганки и вбежал в подъезд.

Странное пророчество цыганки не поразило его, а утвердило в только что пришедшей мысли о *всеохватности* порыва.

– Ах, Вушенька, всё это чушь! – воскликнул он, вбегая в комнату. В глазах у него стояли слёзы.

– Что с тобой, Саша? – Вера застыла на полуфразе, продолжая держать руки над клавиатурой.

– Ты больше не играй её, душенька, не мучай! Здесь всё пошло в этой сонате! Позволь, позволь мне ...

Скрябин сел за рояль и с преувеличенным пафосом и чувствительностью сыграл начальную тему Второй сонаты. Резко оборвал, сморщился, замолчал.

– Саша, это крайности, – с холодной надменностью произнесла Вера, – мне эта музыка нравится, и ты знаешь об этом. Зачем же, – голос её задрожал, – ты меня специально укорить желаешь? Моё исполнение?

Но Скрябин сидел, застыв, и не слушал. Вера повернулась и вышла из комнаты.

– Да тут не квинта надобна, а кварта. Острая, как нож ... – прошептал Скрябин.

Он как бы в растерянности пролетел над клавиатурой, и вдруг, в неистовом пунктире сыграл кварттовую восходящую интонацию в басу и тут же перенёс пунктирный ритм в правую ... нет, в этой тональности не звучит ... попробуем новую сонату в фа диез миноре ...

Июнь 1898 года

Как он сказал? Кажется так:

«Свободная и дикая душа бросается ...». Подошёл серьёзный, почти священнодействующий. Мотыльки аханий и притворных дамских восторгов остальных Шлёцеров без остатка растворились в торжественных словах.

И Скрябин сразу почувствовал: вот слушатель, равный музыке. Его слушатель. И девочка тоже, сестричка Бориса Фёдоровича, кажется, Таня.

Она не сказала ни слова, стояла рядом с братом, теребила в пальцах платочек и пожирала Скрябина тёмными глазами. Совсем ещё ребёнок, лет пятнадцати.

Странно, брат говорил и вроде бы отсекал всё остальное. Говорил значительно, а Скрябин и не запомнил кроме начала более ничего. Лишь осознал в общих чертах значимость сказанного. А вот девочку запомнил.

И потом всё странно было: Скрябин, не отошедший после исполнения своей новой Третьей сонаты, парил ещё в роко-чущем клокотании басов финала, а Шлёцеры – Павел Юльевич, Ида Юльевна, Мария Александровна, мать Бориса Фёдоровича и Тани – уже обступили его, осыпая поздравлениями. Молодёжь подошла к нему позже остальных и внезапно заполнила собой гостиную. Удивительно, что после слов Бориса Фёдоровича, его уже не волновало как обычно, дошла ли музыка до слушателей. Только что отзвучавшая соната, и он сам будто бы обрели значимость полезного и необходимого всем – Скрябин хорошо понял, что *всем!* – действия.

Когда старшие, словоохотливые шумные Шлёцеры увлекли Скрябина в кресло у окна, занавешенного тяжёлой, вишневой шторой, и Павел Юльевич по своему обыкновению перевёл общий разговор на себя, вспоминая свои былые пианистические триумфы – он бегал при этом по гостиной, размахивая руками и призывая в свидетели хлопотавшую о чае Иду Юльевну – Скрябин ощущал таинственную связь между ним и молчавшими братом и сестрой, Борисом Фёдоровичем и Таней ... Татьяной Фёдоровной ...

А тишина! Тишина. Она внезапно заполнила бренчавшую до этого гостиную Шлёцеров – это когда Павел Юльевич, вдруг усомнившись, вспомнил вновь о Скрябине. Но опять же только для того, чтобы похвастать нотами «Allegro appassionato», подаренными ему Скрябиным с трогательной надписью. Он размахивал нотами как флагом, а затем отдал заинтересовавшемуся Борису Фёдоровичу. Вот тогда и возникла тишина, упрочившая необъяснимую общность младших Шлёцеров, листавших с благоговейным трепетом страницы «Allegro appassionato», и автором.

Вечером, у себя на даче в Майданово, Скрябин чувствовал, что связь та не пропала. Он слышал, как Вера укладывала за стеной спать Риммочку, и нетерпеливо ждал того момента, когда в доме все стихнет, и он найдет жену, утомленно сидящую на веранде, чтобы поделиться с ней своей радостью.

Наконец-то, тишина! Скрябин выждал ещё несколько минут и без свечки, в темноте, добрёл до веранды, у диванчика опустился перед Верой на колени и утопил голову в складках её платья. Она ласково провела пальцами по волосам, и Скрябина пронзило: он *счастлив*. Слиянность с миром, так неожиданно зародившаяся сегодня посредством *его* музыки, приумножалась.

– Вушенька, родная, сегодня замечательный день! Я увидел себя со стороны, ты понимаешь? Осознал себя. Впрочем, я сам ещё толком не могу объяснить, но впечатление верное – со стороны. Осознал, с остротой осознал, что музыка

моя не только чувствительных барышень волнует. Она полезна. И этим я обязан Борису Фёдоровичу, да, да ...

Захолонуло сердце. Поплыли в темноте напряженные глаза Тани. Хотел и её упомянуть вслед за братом, но почему-то прикусил язык.

– Ты был у Шлёцеров? – оживилась Вера. – Что Боря приехал? Один?

– Да, заходил, и представь себе, я сыграл им Третью сонату целиком, после чего ...

– Ты не ответил мне, Боря один приехал? – перебила Вера.

– С матушкой и сестрой, я разве не сказал? Так вот, после сонаты Борис Фёдорович ошеломил меня. А я, ты знаешь, словно готов был к этому ошеломлению и нисколько не удивился.

– Чем же ошеломил тебя Боря?

– Принятием сонаты. Ах, не столько принятием, сколько высоким осмыслением. Он прочитал целую программу. И это после одного прослушивания! Только я в подробностях всё не запомнил, но он попросил моего позволения записать её и прислать мне.

– И ты позволил, конечно? – Вера улыбнулась.

– Разумеется. Он ухватил саму суть. Во многом. Вот послушай: «Свободная и дикая душа бросается в бездну страданий и сражений ...» Только почему дикая? Если она свободна, то как же она может быть дикой? Дикая уже несвободна именно своей дикостью ... Ну, да, впрочем, это не существенно. Главное, он уловил того человека-творца, который силён и который устремляется неумолимо к вершине торжества ...

– А понравились они тебе?

– Кто? – растерялся Скрябин.

– Ну, Борис, Мария Александровна, девочка?

– Они славные, но я тебе не досказал ...

– Ах Саша, голубчик! Ты меня пугаешь подобными речами. Твоя музыка, да и всякая другая, не нуждается ни в каких программах. В музыке должно всё выражаться в звуках.

– Да как же ты не поймёшь! – воскликнул Скрябин, но Вера приложила ладонь к его губам и прошептала:

– Тс-с, ты Риммочку разбудишь. Давай не будем об этом, а то, неровен час, опять поссоримся. Ты лучше скажи, ответил ли ты Митрофану Петровичу на последнее письмо?

– Нет, – Скрябин с трудом разжал зубы, так вдруг тяжело далось ему произнесённое слово.

– Я тебя прошу, Сашенька, голубчик, ответь сегодня же, до сна! Не следует его сердить. И прости ему его грубость. Надо нам думать о будущем, семья наша, даст Бог, скоро увеличится, – Вера вздохнула и провела ладонью по животу.

– Спокойной ночи, – процедил Скрябин, направляясь к двери.

– Но ты обещаешь мне ответить, Саша? – догнал его шёпот Веры.

– Обещаю.

Согнувшись, словно от тяжести, Скрябин прошёл в свою комнату и лёг на кушетку.

Каждый человек принимает в другом только ему удобное. Равное. Вот и Вера пытается его упорядочить по своему образу. Как она не поймёт, что всякий человек, если и подчинится, то только для вида?! Отдать крылья? Сломать? Зачем? Да и у самой Веры забори, попробуй – вцепится, не отдаст. И каждый так, даже не понимая истинного своего предназначения, но не отдаст.

А он, Скрябин, знает, уверен: люди сильны, могучи. Нужно лишь ощутить простор вселенной, мерцающий её холод, и обогреть своей любовью и добротой. Потом ...

Он летел. Чувствовал, что летит, ведь ощущение полёта было ему знакомо издавна. И звезда приближалась. Правда, настораживала тишина, гигантская пауза, возникшая после заключительного всплеска Третьей сонаты. Он летел в пустоте, в ужасающей его пустоте. Тем не менее, звезда приближалась. И хоть пустота страшила, ещё сильнее владел им восторг полёта, предощущения встречи со звездой. Но ... мимо! Ах! Он пронёсся мимо! И не звезда то была, а девочка Таня ...

Кольнуло в сердце. Скрябин открыл глаза, с трудом узнал облупившиеся стены своей комнаты, вздохнул и вновь смежил веки.

Но уже не звёзды. Их и в помине уже не было. Была земля без неба. Это видение не раз посещало его во сне: сонм нищих, горделиво шествующих мимо него, и кидающих ему, Скрябину, милостыню! Ему, поставленному кем-то здесь, чьей-то волей. Он не желает принимать подаяние, но вынужден принимать: более всех беден, более всех одинок ...

Очнулся в испарине, вскочил, прошёлся по комнате, сел к столу. На рукописи Третьей сонаты лежал конверт от Беляева. Будто придавливал. Скрябин смахнул его на пол.

Несправедливо, конечно. Если бы не Беляев, то и неизвестно, чем бы пришлось Скрябину зарабатывать себе на хлеб. Написал бы сонату или нет, кто знает. Соната и есть ещё одна попытка вырваться из оков зависимости. Разве не так? С другой стороны, сам факт её появления оправдывает эту зависимость. Клубок, дьявольски запутанный клубок ... А попробуй, размотай да разруби, и ты ... без средств, без музыки. Вера права: надо в сё проглотить. И то, что вместо двухсот рублей буду получать теперь только сто, да ещё благодарным быть ему за эти сто. Сглотнуть и грязные его хозяйские понукания вроде «свиньи» да «скотины». Почему же Беляеву нельзя, коли Серёжа Рахманинов, прослушав его симфонию, сказал: «Я думал Скрябин – свинья, а он композитор». Пошутил же на радость многим. Отчего же Беляеву не позволено шутить?

Ах, всё это – мусор, сгорающий в огне его музыки.

Скрябин достал чистый лист бумаги, обмакнул перо и вывел размашисто:

26 июня 1882. (Майданово).

Дорогой Митрофан Петрович!

Псылаю тебе полонез и 4 прелюдии. Будь так добр известить меня о получении их.

А ведь он добр, Беляев, добр. И дорог ему без всякого лукавства. И это не в оправдание унижения. Да и какое унижение, если он любит его искренне и нежно. А добр Беляев, воистину. Да подаренный рояль хоть вспомнить! ... Грубого в нём намешано, тоже правда ...

Ты меня совсем не понял. Ни о каких обязательствах с твоей стороны я не говорил и ни на что не рассчитывал, кроме того, что было ранее. Ты мне в продолжение многих месяцев высылал по 200 рублей и с моей стороны было очень естественно ожидать, что если ты что-нибудь изменишь, то предупредишь меня заранее и не поставишь в неловкое положение.

Как ранее ставил. И не раз. Вспомнить одни лишь заграничные пансионы, когда он, Скрябин, частенько вынужден был возвращаться к себе поздно вечером, крадучись, таясь от хозяйки, с которой нечем было расплатиться, а по ночам писать унижительные письма-отчёты о стоимости купленного белья, убеждая Беляева в необходимости самой ничтожной траты. А шуба, в которой он как чудище ходил по Парижу в мас, так как не было денег на пальто. Да что там, на то барская воля, сколько хочет, столько и пришлет хозяин своему холопу.

Что же касается предложенных условий, то знаешь, что будешь присылать мне, сколько захочешь.

И то, слава Богу.

Мне очень жаль, что ты не имеешь ко мне доверия.

Надо было написать не доверия, а что-нибудь вроде: не лезь в дела, в которых не смыслишь! Бедняжка, Митрофан Петрович, не думай, что написать прелюдию для фортепиано также легко, как распилить бревно на одном из твоих заводов ... Всё ему кажется, что ленюсь, не дорабатываю. Не понимает, что даже во сне работаю, даже сейчас, внутренне раздражаясь и

борясь, то ли с ним, то ли с самим собой, куда-то двигаюсь. И звучит внутри, только ещё неопределённо щемящий простор оркестровый. Однако, и тревожно как-то одновременно. Отчего? Ах, побыстрее бы кончить сие послание. Ведь несущественны слова, несущественны ...

Если я когда-нибудь не работал, то по болезни, или по другим важным обстоятельствам.

Вот так с ним, не мудрствуя, а успокаивая – в том и мудрость.

Сообщи, пожалуйста, куда едешь ты за границу и на сколько времени. Относительно концерта: не можешь ли повидать Кюи и передать ему относительно моего участия в концертах? Я даже не знаю его адреса.

И не хочу пока знать. Правда, времена меняются. Ведь никто иной, как Кюи ещё несколько лет назад высокомерно пустил по миру убийственный афоризм о скрябинских сочинениях, как о найденной шкатулке с неизданными сочинениями Шопена. А теперь, пожалуйста, всемилостивейшее приглашение. И не только он, а и пианисты признали, стали играть: Гофман, Костя Игумнов, другие. Только всё это ещё в преддверии. Та музыка – уже написанная, а грядёт ... Он чувствует силу, необыкновенную силу. И Борис Федорович с Таней это почувствовали. Если то был не мираж.

А Василия Ильича теперь не поймаешь. Мы на днях ездили в Москву и 3 раза его не застали. В переписке же наверное что-нибудь напутаешь. Кстати, нельзя ли это устроить как можно позднее.

До свидания. Крепко целую тебя и остаюсь искренне любящим тебя.

А. Скрябин.

Вот и свободен. И дышится легко. Сонату можно тоже ото-слать, только переписать набело, да проставить метроном.

Но в письме не упомянул о ней, будто охраняя. Пусть по-
лежит ещё немного, хоть и прояснилось сегодня у Шлёцеров
всё до конца.

Наплывают щемящие волны скрипок. И никаких гро-
зовых раскатов. Мученье сохранять в себе эту музыку,
всю музыку, и уже сочинённую прежде, и только что
нарождающуюся.

Скрябин подошёл к окну и растворил его. Прохладный
ночной воздух окатил его. Это дышал ночной лес, тревожно
и дразня. Что и удивило Скрябина, ведь лес – согласие и гар-
мония. Его спасительную соразмерность он ощутил ещё в
детстве, когда, словно просыпаясь от рыданий и торжествен-
ной решимости к самоубийству, после злополучной попытки
продиржировать самодеятельным детским оркестром, он
обретал лесное *неугомонье* как высшую согласованность с ми-
ром. И не было в том покое никаких щемящих интонаций, и
вот теперь, сейчас ...

Лес приоткрывал завесы тайны, терял прочность сиюми-
ноточной согласованности, обретая временной *огляд* и в про-
шлом, и в будущее, но как бы не разделяя их. Эту слитность
Скрябин ощутил особенно остро. Понятны становились
вздыхающиеся волны струнных, в которые его заволакивало.

Вспомнился недавний полёт во сне к звезде, странный лик
Тани Шлёцер, мимо которой он пронёсся. Обжигающий хо-
лод полёта и сейчас ещё ощущался будто наяву. Но слитность
времен внезапно исчезла. Потому ли, что напоминание о по-
лёте было невыносимо настоящему или потому, что Скрябин
с восторгом обнаружил вдруг в небе предрассветную силу
утра.

Апрель 1915 года

Значит утро. Свет пробивается сквозь тяжёлые шторы, осве-
щая дремлющую в качалке Веру. Правильно, что кресло-
качалку из кабинета перенесли сюда. Это, наверное, Таня
распорядилась. Скрябин вздрогнул. Это не Вера! Откуда ей

здесь быть, её не пустят даже на порог. Но как они похожи с Таней ... И обе стерегут, охраняют. Вот ведь судьба ему какая назначена свыше – быть несвободным, всегда, каждую минуту, даже в болезни.

Скрябин дотронулся до губы и ощутил под пальцами бинт. Слава Богу, надрез сделали вовремя. Повторяется лондонская история с этим карбункулом, ему положительно нельзя простужаться. И тогда в Лондоне, и теперь в Петербурге, его словно бы морозило во время концерта. Играл «Гирлянды» и ощущал спиной ледящий сквозняк. Теперь придётся поваляться в постели. Таня забила тревогу, уложила сразу же по приезде из Петербурга, не вслушиваясь даже в его рассказы о прошедших концертах. Да он и не сопротивлялся, знал по опыту, что бесполезно, отдался во власть даже с какой-то охотой – губу дёргало, а к вечеру и жар поднялся. Доктора оперативны в нынешнее время – резать и точка.

Без усов, он, наверное, смешной, нелепый. А ведь было время – ходил без усов. Когда первый раз отпустил усы и бороду, Сафонов его не узнал, прошёл мимо. Василий Ильич, милый, вот уже целая вечность, как не общаемся из-за пустяка, в сущности, теперь-то понятно. Ну, не принял он его разрыв с Верой, поддерживает её до сих пор. И потом, этот скандал в Америке, когда газеты подняли шумиху, и Таня вынуждена была уехать. Всё совпало, конечно, и он ни в чём не виноват был. Но Таня ... она не прощает.

Вот караулит его, будто в этом есть какая-то надобность. Можно было, в конце концов, и сиделку нанять. Так нет же, сама будет дежурить, чтобы он видел её жертвенность, её страдания. Как она измучила его в последнее время своими упрёками о потерянной своей жизни, о том, что он специально уезжает надолго без всякой надобности, что разлюбил её ...

И ведь убегал когда-то к ней от несвободы, непонимания Веры, которая пыталась подчинить его своей воле. И попал опять же в несвободу, только более изошрённую, изысканную, где всё делалось как бы во имя его творчества. Хаотичность прежней жизни вспоминалась как сон. Никаких случайных

встреч, строгие часы работы, время прогулок, время приёма гостей ... Ничего не должно отвлекать Сашу от творчества.

Ах, у него столько идей, такие грандиозные замыслы, большинство людей даже не понимают, насколько значительны его творения, а он такой слабый, ранимый, его нужно постоянно оберегать, у него столько недругов, кроме того, он на редкость доверчивый, он может даже с гарсоном войти в доверительную беседу ...

Скрябин вспомнил, как она испугалась тогда, застав его беседующим с *гарсоном* в «Славянском базаре». Он и не знал, что она стоит за его спиной и с изумлением вслушивается в разговор. Только потом, когда она упрекнула его в том, что он ценит какого-то *гарсона* выше её, раз доверяет ему такие сокровенные мысли, он понял, что она всё слышала. Они поссорились. Разве он не имеет права говорить, с кем ему вздумается, возмущался Скрябин. Как ты не понимаешь, уверяла, вытирая слёзы, она, что тебе я хочу только добра, я тебя оберегаю для тебя же, для твоей музыки. Избавь меня, горячился Скрябин, от этого невыносимого контроля. И не проси, это мой долг, рыдала она, пусть ты не понимаешь, обижаешься, но я и впредь буду оберегать, до последнего дня. В ответ на это у Скрябина уже не хватило аргументации и простой логики, чтобы продолжать спор. Задыхаясь от гнева, он крикнул, чтобы она прекратила говорить с ним по-французски, что он желает, чтобы в его доме звучала русская речь. Тут же картинно распахнулась дверь и в комнату ворвалась возмущённая тёща.

Больше они жестоко так не ссорились. Скрябин отступил. У него нет сил бороться. Он покорно выслушивал, с кем ему полезно общаться, а с кем нет, притворно соглашался с программами, сочинявшимися ее братом Борисом Фёдоровичем к его новым сочинениям. Мало того, сам принимался фантазировать, искренне веря во всё, что говорил. Так он отдыхал от сочинения музыки. Чаепития до двух ночи, пасьянс, доктор Богородский, княгини Гагарины, кривляющийся Подгаецкий Алексей Александрович, мотающий лысой головой, да мрачный Сабанеев, всё время что-то выглядывающий холод-

ными глазами, да Крейн, да Жиляев ... Как он устал от них всех, как он *несвободен*. До последнего дня своего. Последний ... А ни этот ли день, сегодняшний? Скрябин застонал от ужаса.

– Что, Саша, плохо? – приподнялась в качалке Татьяна Фёдоровна, – не молчи, скажи, Саша!

– Нет, мне лучше, – прошептал Скрябин. Говорить ему было трудно из-за повязки на губе, – жар спал, не волнуйся.

Но ты же стонал, я слышала, – продолжала настаивать Татьяна Фёдоровна, – я тебе так сочувствую, ты так страдаешь. Но потерпи, всё пройдёт.

Страдание необходимо. Это хорошо. Я был прав, когда это раньше говорил. И теперь чувствую в страдании себя отлично.

Теперь всё пойдет на поправку, – Татьяна Фёдоровна приложила платочек к глазам, – может, ты что-нибудь хочешь?

– Принеси портрет маменьки.

– Твоей? Из кабинета? Ты так хочешь? Я сейчас.

Вышла в недоумении. Расскажет теще, посоветуется. А уж его слова о страдании будет пересказывать со значением не один раз. Этим он угодил всем. Они ведь ждут нечто подобное, что можно истолковать в соответствии с придуманным мифом о его *скрябинском* предназначении.

Маменька ... Какая она была? Он её совсем не помнит, хотя столько слышал со дня своего появления на свет. То есть, это, разумеется, преувеличение – с первого дня, но всё-таки ... С первого дня. Ему столько раз рассказывали, что он тот день представляет себе во всех подробностях.

... год тысяча восемьсот семьдесят первый, двадцать пятое декабря, рождество. В доме близ Покровских ворот в Москве праздничное оживление, суета. Семейство полковника артиллерии в отставке Александра Ивановича Скрябина собирается на праздничный обед. Хлопают двери, съезжаются родственники. Все в сборе. Но трапезу не начинают. Ждут Николая Скрябина с женой.

В письме из Саратова начинающий адвокат уведомлял родителей, что к рождеству придет непременно. Один из младших братьев, шестилетний Митя, не в силах более терпеть голода и аппетитных запахов. Он украдкой пробирается в столовую, хватая с уже накрытого стола, на котором возвышается в центре запечённый свиной бок, кусок пирога с капустой, и ... встречается с укоризненным взглядом маменьки, Елизаветы Ивановны. Ох, и досталось бы озорнику в другой раз на орехи, только сейчас не до Митиных проказ. Непокойно на сердце у Елизаветы Ивановны. То и дело подходит она к окну, взглядывается в снежные сумерки, прислушивается, ни хлопнет ли входная дверь. А тут ещё все словно сговорились: подходят, успокаивают, мол, свет не ближний, могла и задержка какая в пути случиться. Но от этого участия, право, ещё несноснее. Но наконец-то, наконец, звякает в нетерпении колокольчик входной двери. Все торопливо спускаются вниз. Елизавета Ивановна успевает раньше прислуги. В открытую дверь, впуская клубы морозного пара, входит Николай Схрябин. Он в изнеможении прислоняется к косяку и машет в сторону экипажа, стоящего у подъезда.

– Люба ... – голос его клокочет, – ей плохо, надобно перенести её в дом ... и распорядитесь за доктором ...

Елизавета Ивановна энергично отдаёт распоряжения. Действие – это её стихия. Она выбегает в одном платье на мороз и помогает нести стонущую невестку в приготовленную для молодых комнату на втором этаже. Родственники обступают Николая. Глаза у него воспалённые. Монотонно, без выражения, он повторяет: «Да, простудилась Любушка в дороге ... представьте, разгорячённая выходила подышать на площадку в тамбур ... вся грудь заложена ...» И ведь надо же, вздыхают родственники, совсем не ко времени простудилась, сама на сносях, рожать вскоре, ах, беда какая ... Николая поят горячим чаем. Из соседней комнаты доносятся стоны. Он вздрагивает, порывается пойти к жене, но

его не пускают, отвлекают разговорами. Выглядывает Елизавета Ивановна и велит посылать побыстрее за акушером. Вид у неё невозмутимый, но Николай вскакивает и начинает в растерянности кружить по комнате. Единственная дочь Скрябиных, Люба, ласково берёт брата под руку и уводит из комнаты. Прибывает семейный доктор Скрябиных, за ним и акушер. У Елизаветы Ивановны уже приготовлена вода и всё необходимое для такого случая. Доктора находят состояние роженицы неудовлетворительным. И даже, когда на свет появляется младенец, то на него почти не обращают внимания. Все озабочены состоянием Любови Петровны. Новорожденного Сашу Скрябина бабушка уносит в свою комнату.

Первый день, последний день ... Это кто-то другой посчитает его дни. А для каждого человека любой день – первый. Ему уже сорок четыре. Он композитор. Музыкант. Отец, муж, племянник ... А ещё – пророк, мессия. Так его тоже называют. Он успел сочинить массу музыки. И ещё сочинит. Он должен закончить «Предварительное действие», а потом приняться за «Мистерию». Но странно, что сегодня его не одолевает музыка, не раздирает на части. Правда, и покоя нет. Но это от боли. Он не привык терпеть боль, оставаться с ней наедине. А каково было маменьке? В двадцать три года расставаться с жизнью?

«Он в маменьку, наш Шуринька», – сколько раз он это слышал от бабушки, крестной, тёти? Когда ему показывали портрет молодой женщины с пепельными волосами, и с таким, как ему казалось, суровым лицом, он не понимал, почему при этом надо так сокрушённо вздыхать и вытирать платочком слёзы. Зачем ему маменька, ведь на коленях у бабушки так уютно. И потом, у него же есть ещё крёстная, и тётя ...

Но разве он расстается с жизнью? Чепуха! Не надо паниковать. Таня не несёт портрета. Решила – неуместно. Всё за него решает. Впрочем, не она одна. Не она первая. За него и

другие решали, и решают. Он, видимо, сам вынуждает. Раз люди решают, делают за него, оберегают, значит, это не случайно. Сам же он ни за кого не решает, и не навязывает ничего никому, не считает вправе.

Однажды, лет в четырнадцать, он, воспользовавшись отъездом тёти за город, и имея на его взгляд весьма уважительную причину, – необходимость приобретения новых нот, – впервые отправляется в самостоятельную прогулку по Москве. Волшебство, простор, свобода ... Подросток-кадет опьянён. С восторгом вглядывается в лица людей, дома, улицы – всё прекрасно!

Добравшись до магазина на Кузнецком, он покупает ноты, раскрывает их и ... забывает о своих свободолюбивых помыслах. Его уже не интересуют лица незнакомых людей, не удивляют золотящиеся купола церквей. Погрузившись в свои мечты, он бредёт по Кузнецкому и, словно бы в наказание за проявленное легкомыслие, на него наезжает извозчик.

Результат плачевный – переломана ключица правой руки. И вот рука в гипсе. Наступает вынужденное бездействие. Это невозможно вынести. Скрыбин привык музицировать каждый день. Пытка видеть рояль и не прикасаться к нему. Он начинает перебирать клавиши левой, незаметно сочиняется прелюдия для левой руки ...

Работать каждый день ... А вот, сейчас лежит и нисколько не мучается, что не работает. Музыка, музыка, годы музыки, десятилетия ... Странно, что детство помнит, кажется, по минутам, а потом ... всё смешалось в одну неразрывную кучу, в непрекращающийся концерт: он всё играет и играет на сцене без перерыва, подряд, все свои сочинения с первого опуса, но как-то все разом, все вместе, – значит, возможно так! – вся жизнь в одном ослепительно жгущем аккорде, засасывающим в какую-то воронку, ах, не воронка, а зал, но почему-то пустой ... Для кого же он играет? Для Тани, Татьяны Фёдоровны, она его слушает, поглощает со сладострастием его музыку и просит, требует – ещё, ещё! ...

Сашенька, Саша, это я, – Татьяна Фёдоровна пыталась поймать руки Скрябина, – здесь больше никого нет, успокойся, тебя никто не хочет обидеть, это у тебя жар.

Пить, – прошептал очнувшийся от бреда Скрябин.

Он увидел, как Татьяна Фёдоровна махнула кому-то рукой, и вот уже чашка с водой. Его приподымают на подушках, он делает несколько глотков и засыпает.

Но сон короткий, тревожный. Открыв глаза, вновь видит в качалке Татьяну Фёдоровну. Он чувствует себя несравненно лучше, просит бульона, с аппетитом ест, пробует улыбаться.

– Ох, и напугал ты нас всех, – ласково журит его Татьяна Фёдоровна, – но, слава Богу, кризис миновал, ты пока спал, были доктора, так и сказали, миновал. У нас со вчерашнего дня не дом, а проходной двор, все звонят, приходят, интересуются, даже этот приходил ... прости, я забыла, ну, твой товарищ по кадетскому корпусу, с которым ты нас тогда так напугал, помнишь? Но я никого не пустила, доктора велят тебе много спать, ты отдохни, я пойду тоже вздремну, еле на ногах стою ...

Ушла, а портрета так и не принесла. Но ему непременно хочется взглянуть на портрет маменьки. Неужели он не вправе настоять на таком пустяке? Вот тётя бы принесла ... Легка на помине, заглядывает в дверь, неслышно подходит к кровати.

Посиди со мной, – просит Скрябин.

Посижу, посижу, – Любовь Александровна отодвинула кресло-качалку и села на красную банкетку, – ты что же, Шуринька, разболелся, нехорошо, и исхудал совсем ...

Постарела, нос вытянулся, а глаза будто резче обозначились, отметил про себя Скрябин.

Расскажи про маменьку, – попросил он.

Про маменьку? Можно. Она у тебя была красивая, видная собой. Была в ней величавость, статность. А на сцене она выглядела как богиня. Любовь Щетинина! Кто её не знал. Одна из самых талантливых выпускниц консерватории, любимая ученица Лешетицкого и Рубинштейна Антона Григорье-

вича. А ты помнишь, Шуринька, как я тебя водила к нему? Тебе было семь лет, и ты по целым дням играл на рояле. А где это видано, чтобы семилетний мальчик не хотел гулять, общаться со своими сверстниками и только играл на рояле? Я попробовала тебя обучить нотной грамоте, ты – ни в какую. Играть? Пожалуйста. Но по нотам ни за что. А потом, после смерти дедушки, Митя, твой любимец, поступил в кадетский корпус, и ты стал совершенно несносным: в комнатах один не оставался, обижался и плакал по пустякам. А по ночам долго не мог уснуть, требовал, чтобы я сидела около твоей постели. Ну, я испугалась, повела тебя к доктору Захарьину. Он внимательно тебя осмотрел и не нашёл ничего страшного, лишь нервное переутомление. Он посоветовал больше гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и заниматься музыкой минимум. Легко сказать – минимум, – а если ты ещё больше нервничал, когда тебе не разрешали играть на рояле? Словом, я не знала, что и делать. И вот тут с концертами приезжает Рубинштейн. Иду к нему. Он принимает меня сурово. Опять вундеркинд? Сколько он их прослушал, этих «вундеркиндов», которые на поверку оказывались таковыми лишь в воображении ослеплённых родителей.

Щетинина? ... Что говорит эта степенная молодая дама? Что мальчик – сын Любочки Щетининой, неожиданная кончина которой так поразила его несколько лет назад. Очень была талантлива ... Конечно, приводите, непременно послушаю.

Вот так, примерно, всё выглядело. Что дальше? На следующий день мы пришли с тобой вдвоём. Ты был очень славный, как кукла. Играл по слуху какие-то замысловатые мелодии. И так серьёзно, и с таким чувством, что Рубинштейну не могло не понравиться. И ты совсем не боялся его гривы, смотрел на него смело и с достоинством. Рубинштейн, не вставая с кресла, провёл своей огромной ручищей по твоей головке и спросил:

– Ты любишь сочинять?

Ты с таким удивлением посмотрел на него, мол, неужели дядя ничего не понял? Ведь столько времени играл ему, а

он спрашивает. Рубинштейн улыбнулся и подтолкнул тебя к двери. А оставшись со мной наедине, сказал:

– У вашего племянника большой талант. Предоставьте развиваться ему свободно. Не насилуйте его обязательными занятиями. Поверьте, всё придёт в своё время.

Так и сказал – в своё время. А как его распознать? Другие дети играют, а ты тоже нашёл себе занятие в перерыве между музыкальными, помнишь? Выпиливал рояли. Вначале они выходили грубоватыми, но ты сидел, корпел, а потом изловчился делать вполне изящные рояли со струнами из проволоки. А на последнем выдвигался пюпитр, имелись даже педали.

А помнишь, как познакомившись на детском утреннике с голубоглазой девочкой Лизочкой, ты прибежал в волнении домой, и потом, целую неделю сочинял оперу «Лиза», по всем законам: разрабатывал сюжет, писал либретто, затем музыку ... И это в семь лет. Своё это время?

Твой папенька, между тем, в письмах из-за границы настаивал, чтобы тебя определили в лицей. Сам же ты, на вопросы где желал бы учиться, неизменно отвечал – в кадетском корпусе. Впрочем, никого кроме меня, это не удивляло, ведь все Скрябины, кроме твоего папеньки, кадровые военные. В кадеты, так в кадеты. Начала тебя готовить. Ты легко усваивал все предметы. На удивление легко. И поступил с лёгкостью, выдержал экзамены первым из семидесяти мальчиков. Да ты спишь, Щуринька? А я заболталась и не заметила, старая ... пойду ...

Скрябин не спал. Он лежал с закрытыми глазами. Его душили слёзы. Он понял: всё кончилось, когда он стал кадетом, кончилась музыка, та, свободная жизнь звуков, дематериализованная стихия. А потом ...

По традиции каждый новичок должен был определить свое иерархическое место в ряду корпусных «силачей». Его сразу же презрительно заносят в разряд последних силачей. С ним и бороться не надо, достаточно пожать ему крепко руку, как

он начинает кривиться от боли. А уж вздуть кого-нибудь, – упаси боже! – это и вовсе не про него. У него и в самом деле не было никакого желания «вздувать» кого-либо. Но это обидное слово – последний ... С кем же побороться, ведь все значительно выше и крепче? Разве с одним из братьев-близнецов, который выше его на самую малость? Но братья дружно помогают друг другу, и он вынужден ретироваться ...

Презрительное отношение к новичку сопровождается затрещинами и пинками. Ах, с каким рвением он начал заниматься гимнастикой, только бы исправить положение. Но, увы, сил не прибавлялось. Вскоре к обидному званию «последнего силача» прибавляется ещё более оскорбительная кличка «брехун». Это, когда он на перемене, нагладевшись на подвиги кадетов, из которых самым заурядным было втыкание иголки в напряжённый бицепс, не нашёл ничего лучшего, как заявить в ответ на насмешки, что он умел выпиливать из дерева рояли.

Раньше музыка – это был весь мир. Теперь же – убежище, а мир существовал отдельно. И в этом мире надо было кого-то вздуть, быть сильнее или слабее, и даже если ты не желал, тебя всё равно втягивали в унижительное соперничество за право возвыситься, за право не быть самим собой. Эти солдатские шеренги, марши, войны, друг-на-друга ... Теперь и вовсе мир сошел с ума. А люди сильны и могучи, когда не унижают друг друга этой силой, а дарят её как любовь ... он и звал людей преодолеть себя и обрести себя ... какая-то путаница, других звал, а сам? Ну и что, вместе со всеми, преодоление бесконечно ... друг-на-друга-все-вместе-друг-на ... уже и дышать нечем, и все дирижируют, все могут дирижировать, его музыкой дирижируют, тащат в разные стороны, да это и не музыка, музыка осталась там, в детстве, а он зачем-то строил башню, храм ...

– Саша, это надобно подписать, на высочайшее имя ... прошение об усыновлении ... – Танино заплаканное лицо, бумаги, ещё какие-то лица.

Черкнул свою фамилию с чьей-то помощью. Ну да, они ведь ещё не расписаны с Таней. Дети не виноваты.

– Это катастрофа, прошептал он.

И завихрилась позёмка звуков. Наконец-то, облегчённо вздохнул Скрябин. Звуки дробились и исчезали, и вот всё неслышнее и быстрее звёздная пыль «Мистерии» – да, он слышал её, свою мечту, свою «Мистерию» – уносится вдаль. Он возвращался. Безбрежность манила, ведь можно было начинать всё с начала.

1982

ЛЕСТНИЦА К ЧЁРНОЙ ТУЧЕ

РОМАН

ФАНЯ

*Стежок, стежок, и два стежка,
Как сахар жизнь моя сладка.
(Еврейская народная песня)*

Фаня любила смотреть на лес. Она знала, что когда солнце спрячется за крышей соседней дачи, её вместе с креслом развернут к лесу, иставившему сейчас за спиной в полуденном августовском мареве.

Знала и ждала. Молодой сосняк, круживший между дачными домиками, в представлении Фани лесом не был. Так, одно баловство. Настоящий лес начинался для неё сразу же за дачным посёлком – высокий и сильный, он резко уходил в гору.

Несмотря на жару, сквозило, протягивало холодком. С Волги то доносился, то пропадал звук одинокой моторки.

Фаня смотрела на свою младшую сестру Дасю, снимавшую с верёвки сухие простыни. Как у неё ловко получается, думала Фаня. И полнота нисколько не мешает. И как всё больше и больше походит она на маму: так же вскидывает руки, улыбается, морщит лоб.

Семнадцатилетний их племянник Изя прыгает, дурачится, мешает Дасе снимать бельё.

– Я от вас не отстану, тётя Дася! Вы должны мне всё-всё рассказать!

Что он хочет от Даси? Бедный мальчик ... что она может ему такое рассказать? Да и зачем ему знать это нелепое *всё-всё?*

– Послушай, Изя, зачем тебе это *всё-всё?* – словно угадав мысли сестры, спрашивает Дася.

– Ты слышишь, Фаня? Пристал ко мне, как банный лист. А что я могу ему рассказать?

– Всё! С самого начала! Про местечко, где родились, про бабушку, про всех родных. Что за тайны? Я хочу всё знать! Или я не Левин?

Изя выхватывает из рук Даси горошистую простыню и начинает пританцовывать. Простыня летает над простодушно улыбающейся Дасей.

Вот оно, движение: Изин горб не так заметен, думает Фаня. И тут же остро ощущает изнывающее безмолвие леса за своей спиной. Безо всякой связи с Изей. Ощущает с саднящей неотвязностью, как собственную нелепость. От навалившейся внезапно тяжести прикрывает глаза. Ах, так вроде бы лучше. Слепящая неподвижность отодвигается вдаль.

Фаня слышит близкое похрустывание хвои под тяжёлыми отёкшими ногами Даси.

– Тебе не жарко? – спрашивает Дася. Фаня ощущает на своём лице дыхание сестры.

– А давайте, повернём её к лесу! – восклицает Изя и неожиданно лёгким движением передвигает Фаню с креслом в обратную сторону.

Фаня открывает глаза и жмурится от солнечного света.

– Ну что ты вечно выдумываешь, Изя! Сейчас же поставь на место! Разве можно её под солнцепёк?! – голос Даси дрожит от возмущения.

Совершая перелёт назад, Фаня успевает в самый последний момент разглядеть чуть покачивающиеся верхушки сосен – лес дышит ... Внутри у неё что-то отпускает, разглаживается.

Между тем, Изя и не думает оставить в покое свою тётку, Дасю Горелик. Он несёт в дом таз с бельём, успевая заговорица заглядывать в глаза шагающей следом Даси, подмигивать, улыбаться.

– Ну, тётя Дася! Ну, я прошу вас! Вы же мне обещали. Давайте сядем.

Они устраиваются на скамейке у кухонного окна. Фаня видит, как недовольно морщится Дася, поправляя на полном лице очки. Правда, это строгое её выражение никого из близ-

ких ввести в заблуждение не может. Тем более, этого плута Изьку. Уж он-то наверняка уверен, что Дася в конце концов уступит его уговорам.

Откуда в ней эта мягкотелая уступчивость? От кого? Ведь ни у родителей, да и вообще ни у кого из Левиных её и в помине не было.

... белое солнце слепит глаза. С кухни доносится дразнящий запах жарящихся творожных блинчиков. В палисаднике истерично носятся друг за другом квохчущие куры. Дасе шесть лет. На ней перешитое мамино платье в синих кружочках. Она размазывает по щекам слёзы. Во взгляде отчаяние. Фаня отобрала у неё куклу Розу. Просто вырвала из рук ни с того, ни с сего. Фаня уже собирается вернуть назад куклу, которая и не нужна ей вовсе – хотелось просто подразнить плаксу, – как раздаётся низкий, грудной голос тётки Ривке: «Нигегл, типичная нигегл!» Девочки оборачиваются. Маленькая, величественная тётка Ривке стоит на крыльце их дома и укоризненно качает головой. В длинном платье, отделанном кружевами, она кажется Фане царицей. Недоступной царицей, полной достоинства и презрения. Да, тётка Ривке не любит тех, кто не может за себя постоять. Разве могла она тогда даже предположить, что её ревущая племянница Дася, эта типичная, так сказать, нигегл, тербящая сейчас подол выцветшей юбчонки, через несколько лет спасёт, её, всемогущую Ривке, от верной гибели ...*

– Ой, борвесер,** отвяжись ты от меня! – смеётся Дася.

Лицо её разгладилось, и Фаня подумала, что вот теперь, когда она так заразительно смеётся, кажется, будто время не коснулось её напрочь. Ах, Даська, Даська ...

* Нигегл (идиш) – недотёпа

** Борвесер (идиш) – шалун

Как умудрилась эта бесхарактерная клуша, на которой всю жизнь ездили, кому не лень верхом, устоять перед тисками промчавшихся десятилетий? Ведь жила как все, уступая обстоятельствам. Впрочем, кто знает, что есть уступка в этом калейдоскопе событий, ошибочно принимаемом за бесконечную дорогу в будущее. А между тем, просто налетает в один прекрасный день вихрь и проносит тебя по детству, юности, лишениям и потерям, и вот уже финиш ... Радости? Любовь? Когда это было! А теперь ... да, собственно, как любить, если и двигаться, и говорить не можешь. Безмолвно? Бездейственно? Это не любовь, это мучение ...

– Вон о тётё Фане расскажите! – не унимается Изя, – она не будет возражать. Правда, тётя Фаня?

– Не стыдно тебе? – Дася встаёт. – Всё, поболтали, и хватит. Дел полно.

Переваливаясь с ноги на ногу, Дася тяжело взбирается по ступенькам. Хлопает дверь. Никого. Тишина.

Бедная Дася, бедный Изя ... как они похожи друг на друга. Неожиданно весь этот мир, всё видимое ей пространство, наполненное застывшим палящим воздухом, показалось Фане невыносимо хрупким. И захотелось раствориться в нём, словно оно нуждалось в этом исчезновении и беспричинной нежности, затоплявшей Фаню. Она смотрела на рыжеватый ствол молодой сосны. Где-то поблизости равномерно поскрипывали детские качели. Она пыталась представить себе лицо ребёнка, молча летавшего вверх-вниз, но не могла. Тем не менее, ей казалось, что ещё никогда в жизни не ощущала она с такой силой и полнотой нежность ко всему, что её окружает. Видимому и невидимому. Да, пока не стала калеккой, не ощущала ... Мир казался раньше тесным, плотно заставленным. Теперь же то малое пространство, что открывалось взору неподвижной Фани, разрасталось до беспредельности. Беспредельность эта вмещала прежний мир, в котором она с удивлением обнаруживала не замечавшуюся прежде про-

сторность, и нынешний, униженный самыми неожиданными подробностями. В сущности, в них-то, в подробностях и виделась таинственная разгадка беспредельности – любая, самая ничтожная малость цеплялась за другую, выстраиваясь в нескончаемую цепочку. Фаня чувствовала, как подрагивают у неё губы. Ещё одна малость ...

... когда немецкие самолёты налетели на поток беженцев, Дася почему-то побежала за мужиком в зимней шапке. Куда он, туда и она устремлялась как безумная, держа в одной руке графин с молоком, а другой прижимая к себе грудного Илюшу. Фане ничего не оставалось, как бежать вслед. Потом мужик в шапке неожиданно пропал, и они забрели в болото. Стоя в вязкой зеленоватой жиже, они провожали затравленными взглядами воюющие на бреющем полёте самолёты. Плотная болотная масса представлялась спасительным убежищем. Хотелось с головой зарыться в вонючую жидкость, только бы не слышать ухающих взрывов. Самолёты, казалось, не улетят никогда. Потом весь мир будто внезапно оглох. Слышно было только редкое болотное бульканье. Фаня взглянула на сестру. Дася стояла по пояс в воде с нелепым графином и спящим – разве не чудо? – Илюшей. На лице Даси застыла маска скорбного смирения. Это ли выражение, или внезапное ощущение освобождения, родившееся в наступившей тишине, заставило Фаню сделать шаг навстречу сестре и вырвать из её онемевшей руки полугодовалого племянника. Она была ниже Даси и сдавливавшая болотная жижа доходила ей до груди. Фаня держала крохотное тельце высоко над головой и улыбалась. Сколько минут они, боясь шелохнуться, так стояли? Или сколько часов? Только когда сверху закапало, и Фаня, облизнув машинально губы, поняла, что это не дождь, а Илюша напоминает о себе самым естественным в мире способом, она окончательно пришла в себя и крикнула Дасе: «Держись!» Теперь она была уверена, что они спасутся и будут жить дальше. Позднее, уже к

вечеру, когда отступавшие красноармейцы вытащили их из болота, и нашёлся почти сразу же брат Рувим, они долго не могли согреться. Однако, пробиравшая до костей дрожь, Фаню даже радовала: ведь они, несмотря ни на что, шли, двигались, а не стояли в засасывающей жидкости ...

Мимо дачи Николаевых пробегают дети с пляжа. На голоса выходит Николаев. Его асимметричное лицо с узким лбом и большой, выдающейся вперёд челюстью, никак не сочетается с короткой, округлой фигурой и длинными руками. Когда он улыбается, – при этом верхняя губа ползёт вверх, обнажая ряд ровных, крупных зубов, – постоянно настороженное выражение его лица внезапно становится простодушно-наивным. Беспочвенные улыбки Николаева раздражали Фаню. Вот и сейчас, со своей дурацкой ухмылкой, он, воровато оглянувшись по сторонам, наклоняется над морковной грядкой Веселовских. Он знает, что Фаня Левина-Шерстюк его не может выдать, но всё же прикладывает к губам палец – чем чёрт не шутит, договориться не мешает – вытаскивает за ботву хилую морковку, обтирает её о штаны и, с хрустом надкусив, скрывается за домиком.

Веселовские уехали в город. Значит никто не скажет сегодня Фане: «Ну, как самочувствие, бедняжка моя?» Чтобы не видеть накрашенного не по возрасту лица Мадам – так прозвал за глаза Веселовскую Рувим – Фаня обычно закрывала глаза, на что Мадам реагировала следующей дежурной фразой: «У нее даже на свет нет сил смотреть, бедняжка». Какая глупость – смотреть, не смотреть. Мадам и невдомёк, что свет и её лицо вовсе не одно и то же. Да и вообще непонятно: что это – свет? Он повсюду и нигде. Ты смотришь, смотришь, и видишь всегда что-то другое, а не свет. Иногда, правда, Фаня обнаруживала в ровном дневном свечении блики и почти незаметные вспышки, чему беспричинно радовалась.

Собственно, мне не осталось ничего другого, думала Фаня, как только всматриваться перед собой днём и ночью, следить

за мельтешением мошек в солнечных бликах, взбираться взглядом за ползущим муравьём по шелушащемуся стволу сосны до нижних, чуть покачивающихся веток, следить за дрожаньем невесомых паутинок, провожать скользящие по хвойному ковру изменчивые тени ...

По ночам тени бередили темноту и, тревожно пробегая по стенам, раскачивали дачу. Так казалось лежавшей без сна Фане. С веранды доносилось похрапывание Даси. Фаня следила за танцующими тенями на стене и ждала ... наваждения. Разумеется, это было наваждение, иначе и с ума можно сойти. И всё же, едва заслышав звук осторожных шагов, она начинала в отчаянии шевелить пальцами левой руки и вслушиваться до изнеможения, закипит ли в ночи иступлённый мужской шёпот? До сна разве, если в комнате твоей дочери мужчина ...

Как всё началось? Однажды ночью её разбудил голос Сонечки: «Что вы, дядя Арон? Что вам надо?» И следом горячий, пенящийся шёпот Арона, невнятное клокотанье. Только и различила в панике одну единственную фразу: «Какой я тебе дядя ...»

Арон в комнате её дочери? Её Сонечки? Ночью ... Что он хочет? И почему уверяет, что не дядя? ... Тогда и зашевелила впервые Фаня Левина-Шерстюк пальцами левой руки, пытаясь приподняться с постели. А потом замычала, как раненое животное, и потеряла сознание.

Очнувшись утром, она увидела около постели испуганную Дасю. На стене золотисто приплясывала и мигала керамическая тарелка в зелёных разводах. Паучьи разводы, подумала Фаня и прикрыла глаза. Но Дася успела заметить, что сестра пришла в себя, и на цыпочках вышла на веранду.

– Пришла в себя, – донеслось с веранды, – ты слышишь, Соня? Мама в себя пришла.

Ах, Соня, дитяtko, кровиночка, что же это ... И вновь, как ночью, Фаня завыла, не в силах более никак выразить своё отчаяние. В проёме двери появилась Соня: распущенные волосы, испуганный надлом тонких бровей, чуть приоткрытый рот ... Почему она в тёмных очках? ...

– Арон, беги за Коганом! – кричит Дася. – Фане опять плохо!

– Опять плохо? – безмятежный голос Арона.

Вот он и сам. Фаня перестала мычать и немигающе уставилась на Арона. Впилась взглядом в лицо мужа своей родной сестры. И с каждым мгновеньем ярость отлегалась от её сердца. Она смотрела на чудовище, мерзкое исчадьё, угрожавшее её дочери, а видела лишь глубокие серые глаза Арона, сочувственно обращенные к ней. Благообразно подстриженная борода, гладкая холёная кожа безукоризненно выбритых щёк, тонкие пальцы, державшиеся за дверной косяк ... Всё это увидела Фаня и впитала каждой клеточкой своего существа. Иступлённый ночной шёпот? Возможно ли? Она бредит. Да, она бредит, с явным облегчением решила Фаня и закрыла от внезапной усталости глаза.

– Беги, тебе сказали, за Коганом! Разве ты не видишь, что ей плохо?! – кричит Дася.

Арон исчезает. Только тогда Фаня ощущает резкий запах лекарств в своей комнате. Почти как в дни выздоровления. Ах, громко сказано: выздоровление. Смешно и только. Впрочем, смотря что принимать за норму. Если норма – кресло, вернее, жизнь в кресле, то почему бы и не *выздоровление*?

Тихонько насвистывающий, задумчивый Арон мастерил этажерку перед Фаниным креслом. Немногословный её родственник, которого она знала уже более сорока лет. Она наблюдала за ним, не переставая удивляться своему воображению. Разве способен этот деликатный пожилой еврей, проживший такую бесцветную жизнь, прятаться за подол своей толстой Даси, врываться по ночам к юной племяннице и так

самосжигающе перечёркивать то небольшое, что имеет – дом, покой, обеспеченную старость, преданную Дасю? Фантазии, фантазии ... уж от болезни ли, от старости ли, но это не что иное, как фантазии, уговаривала себя днём Фаня. И всё же сердце всякий раз тревожно ухало, проваливаясь в пустоту, едва она вспоминала ночные видения, которые к ужасу стали повторяться: осторожные крадущиеся шаги, шёпот ... Едва раздавались первые зябкие звуки, возвещавшие о начале миража, Фаня замирала, пытаясь разобрать слова, произносившиеся за стеной. Но не понимала ни одного слова, доносился лишь свистящий шёпот, иногда тихий смех Сонечки. И вновь шёпот, словно далёкий ветер, не прекращавшийся до рассвета.

Удивительнее всего, что после той жуткой первой ночи, Фаня стала чувствовать, что потихоньку выкарабкивается из болезни. Её левая половина тела будто оттаивала по крупичкам. Когда никто не видел, она шевелила пальцами, пытаясь при этом поворачивать каменным, неподвижным языком. И почему-то скрывала это от всех.

Август выдался на редкость знойным. Утомлённо плавилась дни. Липкая духота придавливала хвою, мягко хрустевшую под ногами Даси, Сони, Арона, Изи, Рувима. Они ходили вокруг кресла, на котором сидела парализованная после инсульта Фаня, кормили больную с ложечки, разговаривали, спорили при ней, и не подозревая, с какой невероятной интенсивностью она вслушивается, всматривается в обступавшее её тесное пространство.

Фаню удивлял Арон. Нет от него покоя, уже и по ночам мерещится в дикой роли. Собственно, почему Арон? Что он в её жизни? Что за странная напасть ...

... по Перевозной улице только что прогнали стадо, и в догорающих закатных лучах медленно оседала пыль. Фаня сидела на ступеньках крыльца родительского

дома со своей неразлучной подружкой Беллкой Штейн. Белка сняла с ноги туфельку и чуть наклонилась, чтобы вытряхнуть из неё камешек. Густая шелковистая прядь волос закрыла лицо подруги. Фаня подумала, что у Белки очень красивые волосы. В это время и показался из-за угла незнакомый парень с чемоданчиком. Так Фаня впервые увидела Арона Горелика, женившегося впоследствии на её младшей сестре Дасе. Она запомнила тот вечер, потому что было невыносимо тоскливо смотреть, как оседает пыль на Перевозной улице. Улице, на которой она выросла, окончила школу, и которую собиралась вскоре покинуть. Она уже представляла себе, как уедет учиться в Минск, будет ходить в шелковых тонких платьях по асфальтированным тротуарам, посещать оперный театр и прочие культурные заведения. А на Перевозной улице в её родном местечке каждый вечер, как и сегодня, будет клубиться пыль в закатных лучах солнца.

Когда из-за угла появился незнакомец, у Фани, – она это точно запомнила, – неожиданно перехватило горло. Чтобы не заплакать от подступившего кома, Фаня откусила большой кусок яблока и стала смотреть на приближавшегося молодого человека. Он возник в клубах пыли как видение: вначале неясные очертания высокого силуэта, затем стали видны длинные, почти до плеч волосы, большой открытый лоб, серые печальные глаза. Ему было около тридцати. Он шёл, глядя себе под ноги. Когда до крыльца, где сидели девушки, оставалось несколько метров, скрипнула дверь и из дома вышла Дася. На груди её лежала толстая длинная коса, гордость всей семьи Левиных

– Фаня, тебя мама зовёт, – сказала Дася.

– Ты же видишь, что я сейчас не могу, – ответила Фаня, воспользовавшись самым нежным тембром своего голоса.

– Почему ... чем ты занята? – простодушно удивилась Дася. Она никогда не понимала шуток, наивная

Даська, всё принимала за чистую монету. Между тем, незнакомец уже поравнялся с крыльцом.

– Как чем, – усмехнулась Фаня, – смотрю.

– Смотришь? – недоумевала Дася.

– Я смотрю на пыль! – сказала Фаня и с хрустом надкусила яблоко.

Белка хохотнула. Арон прошёл мимо. Фане показалось, что он съёжился от её слов, и она пожалела, что сморозила про пыль. Глядя в спину удалявшемуся Арону, Фаня почувствовала, как ей вновь спазмом перехватило горло. Она резко встала, по-мальчишески швырнула огрызок яблока через дорогу и крикнула в непонятной ярости сестре:

– Ну, что тебе?! Что?!

И убежала, хлопнув дверью. Наутро примчалась Белка и, захлёбываясь, выпалила, что длинноволосого красавца с серыми печальными глазами зовут Арон Горелик, что он будет жить у них, у Штейнов, что он дальний родственник её отца, что он видел много горя, что по профессии он сапожник, что ему двадцать восемь, что он прямо из Сибири, что он ...

Как оказалось, Белка ничего не приврала. Мало того, кружа воображение местечковых девушек, почти каждый день обнаруживались всё новые подробности из жизни Арона Горелика. Выяснилось, что он имеет диплом инженера, но предпочитает работать сапожником, что он уже служил в Красной Армии, в кавалерии, что умеет сочинять стихи и прочитал массу книг, что владеет французским, немецким, испанским и древнееврейским. Немудрено, что через некоторое время он сделался кумиром женской половины местечка, не прилагая, впрочем, к этому никаких особых усилий. На молодёжных вечеринках сидел скромно и говорил лишь тогда, когда его о чём-нибудь спрашивали, причём, немногословно и по существу. О доблестях своих не распространялся, о них узнавали от вездесущей Белки. На правах родственницы она вытягивала у него всё новые и новые

ошеломляющие подробности, воспринимавшиеся почти всегда поначалу с недоверием. В самом деле, разумно ли, обладая столькими достоинствами, прозябать в маленьком местечке? Об этом судачили не только девушки, но даже и старики. Но особенно ревниво относились к Арону парни. Под любым предлогом они испытывали его, проверяя достоверность сведений Белки Штейн, любившей прихвастнуть. Скажем, иностранные языки. По договорённости кто-нибудь приносил на вечерние посиделки Талмуд на древнееврейском и, будто ненароком, просил Арона прочитать то или иное место. Спокойно, словно не понимая подвоха, Арон читал с прекрасным произношением указанное место. Или стихи. С ними вышло настолько наглядно, что никто более не сомневался в способностях Арона Горелика сочинять стихотворные экспромты на любую тему – каждый из присутствовавших получил на память четверостишие. Между тем, все ждали: за кем из местечковых девушек начнёт Арон Горелик ухаживать. Но он не проявлял в этом плане никакой активности, был со всеми одинаково дружелюбен, приветлив. И не более. В то время в местечке «царствовала» Фаня Левина, что признавалось всеми безоговорочно. И девушками, и парнями. Чем брала в плен Фаня Левина? Глазами? Фигурой? Улыбкой? Другие девчонки не уступали ей вроде бы ни красотой, ни статью. Но было в Фане нечто такое, что необъяснимо притягивало к ней местечковых парней. Словом, Фаня была вне конкуренции. Поэтому когда она, спустя недели две, сама подседа к Арону Горелику и спросила дрогнувшим голосом: «Нравится тебе у нас в местечке?», многим стало понятно, что вскоре романтический пришелец начнёт приближаться к вполне определённом берегу. Можно ли было сомневаться за исход дела, если за него взялась сама Фаня Левина. Правда, смутил один нюанс, не оставшийся незамеченным, – это дрогнувший Фанин голос. Фаня и сама удивилась столь странному обстоятельству. Чтобы так предательски сорвался голос? Нет, такого

за ней прежде не водилось. Озадачило и то, что она первая сделала шаг к сближению. Мало того, её не покидало ощущение, что всё происходит как бы помимо её воли и желаний. Первое время после появления Арона Горелика она держалась в тени, исподволь наблюдая за печальным сапожником, пренебрегшим инженерным дипломом. Всё настораживало в Ароне и ... привлекало. Не без надежды ожидала она разрушения легенды вокруг Арона Горелика и потому одобряла в душе непрекращавшиеся попытки его проверить. Вместе с тем, за любым испытанием она следила не просто чересчур ревностно, а молчаливо подерживая, сочувствуя Арону. Чем меньше могла она объяснить логику поступков этого неожиданного пришельца, тем всё непонятнее становились её собственные чувства. Когда её брат Рувим предложил Арону Горелику прокатиться верхом на коне, Фаня от досады прикусила губу: а вдруг он оконфузится ... Но почти ничего не изменилось в лице Арона, едва коняга стал выделывать коленца, взбрыкивать и пытаться сбросить с себя наездника. Какая-то властная сила исходила от молодого сапожника – вот он удаляется, летит по скошенному полю в сторону Свислочи, пригнувшись, почти обтекая коня, сливается с сумеречной, синеющей далью, исчезает совсем ... Фаня ощутила солоноватый вкус крови во рту, глубоко вздохнула и поняла, что безумец с печальными глазами вновь победит. Она знала уже, что он не изменится в лице, когда будет спрыгивать с объезженного коня, только безграничная усталость промелькнёт на невозмутимом лице. Всё так и было: и невозмутимость, и печать усталости, когда он под восхищённые вопли девушек спрыгнул на землю. Безумец! Да, он всю жизнь казался Фане безумцем. Обладать стольким, и не воспользоваться ничем. Прозябать, коптить незаметно небо, при этом внешне будучи вполне довольным судьбой. Временами его существование отступало куда-то вдаль и переставало Фаню интересовать, но потом он вновь каким-то боком врывается в её жизнь, и всё словно бы на-

рушалось в общепринятом измерении. Правда Фаня уже давно научилась самоустраняться и не удивляться ароновским безумным штучкам. Тогда же, девятнадцатилетней Фане Левиной безумство представлялось единственно возможным достоинством в мужчине. Не как все – вот оно непреложное отличие от других. Иметь диплом инженера, когда им обладали единицы, и работать сапожником? Нет, можно с ума сойти! Не иначе, как в этом кроется тайна. Не иначе ...

– Мне просто больше нравится работа сапожника, – неизменно отвечал Арон на недоуменные вопросы.

– Что за логика? – взорвался однажды Рувим, – Ему больше нравится! Мне, может быть, больше нравится сидеть с удочкой. Нельзя жить только для себя. Сейчас стране нужны инженеры! Очень нужны! Зачем же ты институт закончил?

– Я ошибся, Рувим, – смиренно отвечал Арон бушевавшему от негодования Рувиму Левиному.

– Это не ошибка, а вредительство! – выкрикнул Рувим и, подойдя вплотную к Арону, процедил с ненавистью, – За такие ошибки мало морду бить. Я бы таких ...

Он схватил Арона за отворот рубашки и заставил его приподняться со скамейки. Руководитель борцовской секции, подбрасывавший пудовые гири как игрушки, Рувим к тому же являлся комсомольским секретарём. В наступившей тишине было слышно, как треснула рубашка Арона Горелика. По-прежнему невозмутимо, только ещё более смиренно, Арон сказал: «Ты не прав, Рувим». Потом резко повернулся и вышел из комнаты, оставив в руке Рувима клоч рубашки. Комкая в кулаке голубоватую материю, Рувим крикнул вслед:

– Трус! Трус ты, Арон Горелик! И вражеская личность!

После этого столкновения отношение к Арону Горелику изменилось. Его перестали приглашать на вечеринки, словно бы признав правоту Рувима. Исчезла с

молодёжных посиделок и Фаня Левина. Можно было подумать, что она заняла сторону Арона, но это было не так. Это было совсем не так, потому что ещё до стычки Арона с Рувимом она пережила ту сумашедшую ночь на берегу Свислочи, о которой никто кроме Фани и Арона не знал. Как они попали на берег Свислочи? Гуляли вроде бы вместе со всеми и неожиданно очутились одни. Фаня и не помнила, в какой момент они отделились от всех. Они сидели на срубленных сучьях. Фаню била дрожь. О чём они говорили? Ни о чём. Болтала в основном Фаня, а Арон лишь вежливо поддакивал. «Мне ужасно холодно» – призналась, наконец, она. Когда его пахнувший табаком пиджак лёг ей на плечи, она закрыла глаза. Фаня ждала, что он обнимет её и поцелует. Но Арон закурил в очередной раз и сказал: «Сейчас согреешься, пиджак тёплый». От Свислочи подымался туман. Фаня смотрела на расплывавшийся контур огромного вяза на том берегу реки и чувствовала, что с каждым мгновением жизнь покидает её. Она стала считать до ста, решив молчать. Молчать и ждать. Ведь не мог же он за сто мгновений не ощутить, что рядом с ним живой человек. Или он в самом деле безумец. Она сосредоточенно считала. Туман подымался всё выше и выше. Она досчитала до шестидесяти и повернулась. Арон сидел, откинувшись к кусту. Глаза его были закрыты. И высокомерная гордячка Фаня Левина ощутила, как жалость затопляет её сердце. Жалость к сильному, молодому мужчине. Она легонько провела ладонью по его щеке. Он не открыл глаз, только потёрся о её ладонь, как ребёнок. И Фане Левиной почувдилось, что всё это с ней уже было. И не однажды: туман, стелющийся над рекой, вырастающий вдали раскидистый вяз и затопляющая всё на свете жалость к мужчине с закрытыми глазами. Да, всё было. И щека с чуть отросшей щетиной, трущаяся об её ладонь, и ... Она глубоко вдохнула сыроватый речной воздух, и ощущение невремени происходящего испугало её. Она привыкла всё радостно узнавать и принимать, всему ра-

достно удивляться в окружавшей её жизни, а не лететь в бесконечную, засасывающую пропасть в безысходном в своей неотвратимости полёте. Впрочем, и полётом назвать то чувство можно было с известной оговоркой, ведь невозможно же лететь в ... прошлое. В чужое прошлое ..., но более всего изумляло ощущение привычности ... Фаня отдернула руку. Пиджак упал с её плеч. Она взглянула на Арона Горелика – ни один мускул не дрогнул на его лице. Он спал.

И она побежала. О, что это был за бег! Она изодрала в кровь ноги, порвала в нескольких местах платье. Уже дома, лёжа в кровати с открытыми глазами и не в силах унять дрожь, она поняла, что избежала чего-то страшного, непостижимого. Фаня перестала выходить из дома, рассказ о стычке Рувима с Ароном восприняла равнодушно. Внутри у неё словно всё оцепенело. Даже через несколько дней, когда Арон Горелик пришёл к ним в дом просить руки Даси, она нисколько не удивилась ещё одному, как она считала, безумному поступку сапожника, имевшего диплом инженера. Или инженера, работавшего сапожником ... Провожая Фаню в Минск, все её молчаливо жалели, уверенные, что она безответно влюблена в Арона Горелика.

Фаня наблюдала за Ароном. Кресло её было повернуто к его самодельному верстачку у пристроя. Уже давно остриг он свои длинные волосы, а вернувшись с фронта, отпустил себе маленькую бородку: облику сапожника, ремонтировавшего обувь на углу двух самых бойких городских улиц, бородка добавляла лишний оттенок странности, некоего несоответствия внешности и профессии.

Вот и вечер. Вскоре Фаню внесут на веранду, включают телевизор. На некоторое время звуки пространства исчезнут. До той поры, пока её после программы «Время» не уложат в постель, не напоят лекарствами и не потушат свет в комнате. Дася пожелает ей спокойной ночи, затем, спустя некоторое

время, с веранды послышится её присвистывающий храп, – вот тогда бередящее дыхание сосен начнёт оживать на стенах. Наступит ночь, и этот пожилой мужчина, строгающий сейчас доску, волею её безумной фантазии превратится в неистового любовника её дочери.

Иногда обжигало – а может, всё правда? Но сомнение сразу же садняще удалялось, ведь достаточно было взглянуть на благообразное лицо Арона, сосредоточенно склонившееся над рубанком, столкнуться с его печальным, спокойным взором, как любые сомнения исчезали. И потом, Фаня же знала его более сорока лет. Не может же то безумное предчувствие, охватившее её в девятнадцать лет от прикосновения к шершавой щеке Арона, перевесить все годы и десятилетия, которые муж её родной сестры мирно сидел в своей будочке и ремонтировал обувь советским гражданам.

Была, конечно, и война. Но и с неё он вернулся мало изменившимся, хотя пришлось воевать, и под Сталинградом, и в Германии. Да, была война, когда Фаня не находилась вблизи Арона, но остальное время она же видела эту бесцветную жизнь. Знала её и со слов Даси, оправдывавшей невыразительное существование своего супруга стремлением к покою.

Что же, их не переделаешь. У Фани жизнь была другая, у неё были дети. Как Дася хотела иметь ребёнка! Когда они с Ароном окончательно убедились, что своих детей у них не будет, то взяли перед самой войной из детприёмника грудного Илюшу. Да, за полгода перед началом ... Потом война всех раскидала, мужчины были на фронте. Арон ... да, если быть до конца откровенной, то следует вспомнить ещё об одной ночи. Правда и её Фаня не могла причислить с уверенностью к действительным событиям своей жизни. Так уж повелось с Ароном: то ли было, то ли нет – всё как в тумане.

... уложив Сонечку, Фаня потушила свет и подошла к окну. Моросил осенний дождь. Суколка, одноэтажный

старинный район Казани, пропадал в темноте. В комнату заглянула квартирная хозяйка, тётя Валя.

– Фань, ты свою уложила? – зашептала она, – пойдём, семечки пощелкаем. Меня угостили сегодня немного.

– Спасибо, тётя Валя, мне ещё постирать надо.

– Успеешь, небось, намаялась за день, пойдём.

Они прошли на маленькую кухоньку, сели за стол. Тётя Валя высыпала семечки из кулёка прямо на клеёнку. Фане было с ней легко: она не мелочилась, умела не только говорить, но и слушать. Скитаясь с Сонечкой по разным квартирам и углам, Фаня навидалась всякого. С тётей Валею, считала Фаня, ей повезло. О чём только они ни переговорили в короткие вечерние часы перемены. Муж тётю Вали и два её сына были на фронте, муж Фани Степан тоже воевал, изредка присылая короткие весточки. Фаня делилась своими горестями о Степане, о Мишеньке, оставшемся с родственниками Степана в оккупации, о Дасе с Илюшей, о Рувиме, родителях. Словом, Фаня о своём, наболевшем, тётя Валя о своём.

Ближе к одиннадцати вечера тётя Валя стала собираться в ночную смену. Тут и раздался осторожный стук в дверь. Женщины испуганно переглянулись, не иначе кто-то с плохой вестью. В такое позднее время в гости не ходят. Тётя Валя подошла к двери.

– Кто там?

– Фаня Шерстюк здесь живёт? – услышала Фаня голос Арона Горелика.

– А ты кто такой будешь? – не сдавалась тётя Валя.

– Да это Арон! Открывайте! – Фаня подскочила к двери и лихорадочно задвигала засовами.

– Арон, Арон, – обиженно заворчала тётя Валя, – ты про таких не сказывала.

Но Фаня уже не слышала её. Перед ней стоял Арон Горелик в солдатской шинели и улыбался. Фаня бросилась к нему, успев подумать, как редко видела она его улы-

бавшимся. Она не переставала его тормошить, спрашивала, откуда он взялся, как её нашёл, рассказала про Дасю, что она уже несколько месяцев в Чебоксарах, что недавно получила от неё письмо.

– А я думал, вы вместе, – улыбался Арон.

Значит, он ничего не знал. И Фаня пол ночи рассказывала ему, как они с Дасей бежали из Минска, как она случайно встретила своего Стёпу на вокзале в Казани, да так и осталась в Казани. Да, Дася первое время была вместе с ней, а потом, когда от него, от Арона перестали приходить письма, ей предложили работу учительницы. Как предложили? Ах, это длинная история, как-нибудь потом, но там ей лучше, там работа по специальности, и сытнее. А от Степана писем нет уже два месяца. А сам почему не писал? В окружении? Что же ты молчишь? Это страшно? А вдруг Степан тоже ... Нет, о Мишеньке лучше не спрашивай, одна надежда на родственников Степана, они ведь русские. Немцы их не трогают. Рувим тоже на фронте. Пишет. Был ранен. Я? Я ничего, работаю на Татваленке. Это сокращённое название фабрики. Делаем валенки, руки болят, а так, вполне можно жить. С хозяйкой вот повезло, хорошая женщина. О себе Арон не распространялся.

– Воюем, – повторял он, улыбаясь.

Да, часто улыбался в ту ночь Арон Горелик. Достал мыло из вещмешка, подарил. Потом она стирала, а он мылся за перегородкой подаренным мылом. Тётя Валя давно ушла. Они были одни в этом маленьком деревянном домике, в далёкой Казани, без привычного окружения родственников и друзей. За окном лил дождь, тоскливо сёкся о стёкла. Она постелила Арону в своей комнате на полу. Он сразу уснул, а она ещё долго лежала и не верила, что вон там, на полу спит Арон Горелик, в которого она была сто лет назад не то влюблена, не то непонятно что. Спит муж её сестры Даси, а та и не подозревает, что её Арончик вот так неожиданно свалился, словно с неба в эту осеннюю ночь к ней, к Фане, в Казань.

Так лежала Фаня без сна и думала обо всём на свете. Внезапно Арон застонал и жалобно забормотал во сне: ... келаф ... кмо ... келав ... алфэй ... шанималфэй ... шанним ... шаар ... хома ... хомахомахома ... пгиша ... музрах, музрах ...

Фаня накинула платок на плечи и присела на корточки у спящего Арона. Она потрогала его за плечо, но он не проснулся. Ей было страшно. Она успокаивающе погладила его по голове, Арон застонал ещё сильнее, а потом вдруг поймал её руку и притянул к себе. И вновь накатило как тогда, у Свислочи, только ещё острее и неизбывнее – дым пожарниц, незнакомый говор и раздражающее чувство, что всё это с ней было и раньше, мало того, всегда было и будет, что это судьба. Но теперь это не испугало Фаню. Повинуясь его рукам, она словно в забытии легла к нему под одеяло, он уже не стонал, не говорил ничего, сорвал одним движением с неё рубашку и овладел ею грубо, как изголодавшийся зверь. Всё существо Фани раскрылось навстречу этой ошеломившей силе и безмерность жизни без прошлого и будущего обожгла Фаню, вырвав из её груди нечеловеческий вопль. И вновь полёт ли, падение ли, когда горько пахнет полыньёю и под изнывающий звук флейты кружат в воронке незнакомые улицы старинных городов и лица, лица – улыбающиеся, кричащие что-то, укоризненно молчащие, ухмыляющиеся ... конский топот ...

Утром, проснувшись в своей постели, она увидела, что Арона уже нет. На столе белела записка: «Спасибо, поехал в Чебоксары, времени в обрез. Арон». Прочитав послание Арона, Фаня долго стояла босиком на холодном полу. Всё это сон, сон, оглянись вокруг, разве вяжется это реальное утро в реальной Казани со всем этим бредом? Теперь война, твой сын в немецкой оккупации, муж на фронте, сама ты должна идти валять валенки для советских бойцов, тебе двадцать шесть лет, ты сейчас включишь репродуктор, прослушаешь последние сводки с фронта, уберёшь эту смятую постель, разбудишь и на-

пойши чайем с сухарём Сонечку, и выйдешь на улицу Газовая. Переступая через лужи, ты направишься к мосту через озеро Кабан по направлению к своей фабрике. С тобой будут рядом идти такие же как и ты женщины, обвязанные платками, вы будете вдыхать сырой осенний воздух и пересказывать друг дружке содержание фронтовых писем, полученных накануне. Нет, у тебя большое воображение, милая. Вот что значит жить без мужа, кошмары видятся ...

ИСААК

*Лестницу приставлю к чёрной туче,
доберусь до Бога самого.
(Еврейская народная песня)*

– Изя, слушай, так и быть. Наша родня поселилась в местечке ещё в том веке. А может быть, и раньше. Я не знаю. Папа был очень добрый и справедливый. Это он в дедушку. Ты не представляешь, они были на одно лицо. И характерами были похожи. Что касается маминой родни, то они были веселее, любили шутки, розыгрыши, но тоже очень хорошие ...

Изя Левин слушает, прислонившись к сосне. Его лицо выражает нетерпение. Дася говорит внятно, с дикцией учительницы.

– Но так же не бывает, тётя Дася! – восклицает Изя.

Взлохматив привычным движением выющиеся волосы, он закружил вокруг Даси.

– Что не бывает? – растерянно переспрашивает Дася.

– Что все добрые!

– Значит, по-твоему, я выдумываю?

Лицо Даси покрывается пятнами.

– Так только в сказках бывает: папа добрый, мама, де-душка, бабушка, тётя, дядя ...

Дася встаёт, снимает очки и прикладывает к глазам платочек.

– Ты подумай только, – повторяет она, направляясь в дом.

Проводив взглядом жену, Арон щёлкает зажигалкой, прикуривает.

– Разве я не прав, дядя Арон? Бывает так, чтобы все добрые были? Молчите? Потому, что не бывает. Тётя Дася, папа, я, вы, мы ведь все такие разные. Правда или нет?

– Правда, – безучастно соглашается Арон, затягивается, выпускает дым и, глядя на закатное солнце, добавляет, – только для тётки Даси в самом деле все – добрые.

– А почему?

– Она так устроена, сердце у неё такое.

– А у вас?

– У меня другое. Таких людей как Дася мало. Раз в сто лет рождаются.

Арон внимательно смотрит на племянника, а Изя думает, что такой усталости во взгляде он ни у кого не видел.

– Дядя Арон, а может, вы расскажете мне? Вместо тётки Даси? Можете про себя ... Ну, не хотите про себя, расскажите про ... меня ... словом, давайте поговорим. Вот объясните мне, кто я такой.

– Исаак Левин, – усмехается Арон.

– Одно название, Исаак Левин ... дядя Арон, а вот вы старше тётки Даси?

– Старше.

Арон гасит сигарету и переставляет шезлонг спиной к закату.

– Знаете, дядя Арон, иногда мне кажется, что вам тысяча лет.

– Ты не намного ошибся, мой мальчик.

– Я не хотел вас обидеть, дядя Арон, честное слово! – Изя обнимает Арона за плечи.

– Ты не обидел меня.

– Обидел, я знаю ... это мука, я не умею разговаривать с людьми. Просто так разговаривать. О пустяках, как другие. Легко так, играючи. Мне кажется, что я ... ай, ладно, наверное, всё потому, что у меня в голове путаница.

– А у кого её нет? Покажи мне такого человека.

– Да вот, хоть вы! Только не обижайтесь. Мне кажется, что в вас есть какое-то ... знание что ли, чего-то основополагающего. Знание с большой буквы, понимаете? Нет, серьёзно.

– С чего это ты взял?

– Просто я заметил, что вы никогда ничему не удивляетесь. Словно привыкли ко всему, и к плохому, и к хорошему. Это обычно бывает или от большого самообладания, или от равнодушия. А у вас от *знания*, точно?

– Не знаю.

– Да ладно, можете не отвечать, я вас просто проверил. На откровенность. Можете ничего не говорить, просто я чувствую, что вы владеете какой-то тайной.

– Какой ещё тайной? Что ты, Изя.

– Я же вам сказал: можете не признаваться. Но я чувствую. Я всё чувствую ... иногда мне страшно, что я всё чувствую вокруг.

– Изя, дорогой, да что именно?

– Про себя ... про других ... ладно, вам скажу, потому что опять чувствую, что вам можно ... потому что сейчас конкретно ...

Изя лохматит голову, садится на землю рядом с Ароном и шепчет:

– Чтобы тётя Фаня не услышала. Мне кажется, она всё слышит и переживает. Так вот, я чувствую ... чувствую, что скоро умру. Не перебивайте! И ещё ... что нам всем грозит что-то ужасное. Всем, всем, не только мне, иначе бы я не сказал ...

– Изя, мальчик, ну что ты? Что грозит? Объясни толково.

– В том-то и дело, что толково не смогу ... какие-то странные вещи, нет, не странные, жуткие ... вот, слушайте ... В прошлый раз, когда приезжали Илья с Галей, мы все трое пошли

ночью купаться. Было душно, моросил такой реденький дождик, но странно, что с каждой минутой духота будто усиливалась. Вот ... мы разделись и бросились в воду. Я побултыхался немного и назад. И тут мне пришла дурацкая затея в голову – спрятаться. Впрочем, если бы не эта затея ... притаился я за кустом и жду. Галя с Ильёй долго плавали, и мне надоело уже сидеть в засаде. Только я решил выйти из своего укрытия, как они начали выкрикивать моё имя. Ну, понятно, я не отзывался. Они и решили, что я ушёл. Галя так и сказала: «Он уже давно дома спит». Стали они вылезать из воды, как внезапно из-за облаков выплыла луна, и я увидел на своём несчастье ...

– Говори! – торопит Арон.

– Нет, не могу ... мне, наверное, показалось ...

Изя в изнеможении прикрывает глаза, а потом начинает вдруг смеяться.

– Мало ли, что может показаться человеку ночью, ха-ха-ха ...

– Съто вы тут спятались?

Изя вздрагивает и оборачивается. За шезлонгом Арона стоит Женя Николаев, дебильный малый лет тридцати, имеющий обыкновение появляться совершенно бесшумно и неожиданно. Он как всегда слегка покачивается вперёд-назад и кривит обиженно губы.

– Мы не прячемся, Женя. Мы разговариваем. Ты иди, займись своими делами, – мягко советует Арон.

– Дай закулить, – просит Женя.

Арон даёт ему сигарету и огня. Прикурив, Женя медленно направляется к своему домику.

Арон поворачивается к Изе.

– Говори!

– Что говорить, у Ильи была голова телёнка, – шепчет Изя.

– И вращающиеся рога?

– Откуда вы знаете? – Изя в ужасе смотрит на Арона.

– А глаза? Ты не заметил, какие у него были глаза? Это очень важно, Изя, вспомни!

Изя впервые видит Арона таким взволнованным.

– В том то и дело, что глаза пропали, я до сих пор вижу перед собой эту морду без глаз ...

– Значит всё правильно, – говорит Арон. Глаза его тускнеют и в них вновь появляется выражение смертельной усталости.

– Но может, мне всё показалось, дядя Арон? Ведь была ночь!

– Думаю, что не показалось.

Арон закуривает.

– Но ведь Галя ничего не заметила! – в отчаянии выкрикивает Изя, – Она же была совсем близко!

– Ах да, Галя, – встряхивается Арон, – она, говоришь, не заметила? Как она себя вела?

– Они вышли из воды почти одновременно. Она всё время как-то смеялась, будто рычала, понимаете? Низко так, но, может быть, мне это всё показалось? Может, я был, в самом деле, болен в ту ночь?

– Дальше, дальше рассказывай! – нетерпеливо требует Арон, – что было дальше?

– Она его обняла и, рыча, повалила на землю. Потом они покатались каким-то клубком к прибрежным кустам у воды.

– Дальше! – глаза Арона горят.

– Я убежал, мне стало страшно ... я подумал, что заболел, прибежал домой, напился чаю с малиной ... наверное, я был болен ...

– Говоришь, не заметила? – неожиданно смеётся Арон.

– Что с вами, дядя Арон?

– И стала как-то странно смеяться? – продолжает веселиться Арон.

В окне показывается встревоженное лицо Даси. Руки у неё в тесте.

– Что вы тут хохочете? – спрашивает она, – Изя, ты сидишь на земле, простудишься.

Арон резко встаёт.

– Когда регистрация у Сони? – спрашивает он.

– Тише, Фаня услышит, – шепчет Дася.

– Надо было ей давно сказать, – говорит Арон.

– Какая регистрация? – Изя в недоумении.

– Видишь, даже брат не знает, что сестра замуж выходит.

– Тише, тише, тебе говорят! Сегодня приедет Рувим и всё Фане расскажет. Всё-таки он старший брат.

– Значит, Соня выходит замуж, выходит ... за кого же? – рассеяно спрашивает Изя и, не дождавшись ответа, бредёт в сторону своего домика.

– За Галочкиного брата, за Виктора, – шепчет вдогонку ему Дася.

Но Изя будто не слышит шёпота Даси. Не слышит и когда она уже в полный голос зовёт его приходить без опоздания к ужину. У себя в домике он ложится на кровать и приказывает себе: «Спать, спать ...»

... он шёл по лесу, знакомому до мелочей – сосны, сосны, берёзовая просека справа ... однако, протянув руку к ближайшему дереву, он обнаружил, что дерева нет ... не-лепица ... он отлично видит слоистую берёзовую кору, вздутый золотистый комок смолы, грибы на плесневелых пеньках, колышущийся папоротник ... попробовал перебежать к другому дереву – пустота ... лес жив, он дышит ... Изя чувствовал это, видел воочию приметы лесной жизни ... тем не менее, леса не было ... то есть, он был, существовал, но лишь до прикосновения ... словом, жил отдельно от Изя ... вокруг же Изя клубилась пустота, и он двигался в ней ... куда? ... вроде бы к лесу ... во всяком случае, лес окружал пустоту, в которой пытался освоиться Изя ...

Его разбудил звук подъехавшей машины. Отец? Нет, ему ещё рано. Значит, прибыли Веселовские или Гайфуллины. Сегодня пятница. Приедет много народа, из окон загремит музыка, начнёт пузыриться весёлое застолье. Как всегда по выходным. А в понедельник вновь станет тихо. Вдруг Изю с внезапной ясностью прошибло – понедельник может и не наступить для него. Всё так просто ...

Он вскочил с постели, лихорадочно оглянулся по сторонам: всклокоченный, черноволосый горбун с судорожно блестящими глазами, одержимый идеей грозящей опасности. Какой? И кому угрожает пресловутая опасность? Вот сказал Арону: нам всем. Родственникам? Или всем остальным людям тоже? Да и как спастись, если не знаешь, в чём опасность. Ну, Илюша с Галей. Ну, рога, рычанье ... дядя Арон что-то знает, но ничего не предпринимает. Чепуха, мистика какая-то. Ему всё почудилось. Изя подумал об отце, о его будто нарочитой отрешённости. Нет, он не поймёт. Кто же остаётся? Тётя Дася? Отпадает. Тётя Фаня? Соня? Ах да, она выходит замуж ... вот оно, ужасное начало ... Но почему? Почему? Этого Изя объяснить не мог, но теперь уже прочно увязал чувство грозящей опасности с замужеством двоюродной сестры. Ага, она выходит за брата Гали, так вроде бы сказала тётя Дася. А он вначале и внимания не обратил. Так, значит за Виктора, этого милиционера? Ему же далеко за тридцать, серые немигающие глаза, заросший маленький лобик, рычащий смех, тот же смех, что и у Гали. Березинский смех ... отец что-то знает про этих Березиных ... Ах, ерунда-не-ерунда, но отец что-то недоговаривает про Березина-папашу, с которым работает вместе, и при котором ведёт себя так странно: то неестественно смеётся, то молчит угрюмо. А старший Березин будто не замечает этих перемен в поведении отца. И ухмыляется.

Изя выходит из домика. Фаня сидит лицом к закату. Значит уже часов семь. Рядом с ней, покачивается Женя.

– Тебе холёсё, на солнысько смотлись, а длугие не смотлят, – говорит Женя.

– Тебе чего, Женя? – Изя подходит поближе, – ты её не беспокой, она болеет.

– Она не болеет. Она сидит, холёсё сидит, на солнысько смотрит. Дай закулить.

– Я не курю, Женя. Ты иди, вон тебя папа ищет.

– Лядно, – соглашается Женя и уходит.

Его отец стоит на веранде и подмигивает Изе.

– Привет, Изя! Как дела?

– Отлично, Валентин Иванович. Как рыбалка?

– Ничего сегодня не поймал. На Волге беспокойно. Как бы бури не было, – Николаев заливисто смеётся и манит Женю рукой. – Иди ужинать, куряка.

Изя смотрит на Фаню. Её маленькое тельце утопает в громоздком кресле.

– Хотите, я вам станцую, тётя Фаня? – спрашивает Изя. – думаете, я не умею? Ещё как! Не глядите, что ваш племянник горбун. Я о своём горбике и не помню! А знаете, как меня девушки любят? Они говорят, что у меня очень красивые глаза. Ведь это правда. Сейчас я вам станцую. Я знаю, вы тоже отлично танцевали. Так! Предпочитаете современный танец? Или народный? Танцуем фрейлахс! А то в воздухе сплошной трагизм. Итак, согласны? Нет? Можем и по-другому: не надо печалиться, вся жизнь впереди – запеваёт Изя.

– Вся жизнь впереди, налей-ка и жди, – подхватывает фальшиво чей-то зычный голос.

Изя замирает в замысловатом танцевальном движении. Перед ним стоит Ильдар Юсупов, его приятель и сосед по городскому дому. Ильдар добродушно улыбается. На плечах у него висит спортивная сумка.

– А я к тебе, старик, – говорит Ильдар.

– Уу-у! – радостно мычит Изя. – Привет!

Сразу же забыв о Фане, направляется к приятелю.

– Молодец, старик, что приехал! А то я тут чуть не рехнулся.

– Чуть не считается. А красотища у вас тут! – Ильдар раздувает ноздри. – Пойдём купнёмся.

– Пошли.

В домике они переодеваются. Изя с гордостью оглядывает могучую фигуру своего белокурого сверстника.

Дружба их началась при весьма необычных обстоятельствах. Как-то Изя под вечер возвращался домой. В подъезде его дома на подоконнике сидела компания из трёх подростков. Один брэнчал на гитаре. Завидев поднимавшегося по лестнице Изю, гитарист ещё сильнее ударил по струнам и с нарочитым задором затянул: «Эх, мороз, мороз ...» Остальные соскочили с подоконника и обступили поравнявшегося с ними Изю. Гитарист оборвал песню на полуслове.

– Шеф, – сказал он, – теперь ты нам изобрази.

– Не понял, что изобразить? – растерялся Изя.

– Шеф, не обижай нас, у Нинон день рождения ... Точно, подруга?

– Угу, – усмехнулась накрашенная девочка лет пятнадцати и скучаяще посмотрела в окно.

– Вот видишь, шеф, – продолжал гитарист, – ты что-то не понимаешь. А ещё шеф. Ну-ка, объясни ему, Рыбак.

Гитарист смотрел на Изю чуть удивлённо. Это и смутило Изю, замешкавшегося с ответом. Неожиданно он почувствовал сильный толчок, и низкорослый пацан по кличке Рыбак вырвал у него из рук футляр со скрипкой.

– Отдай! – рванулся Изя к Рыбаку, но путь ему преградил гитарист, поигрывавший с безразличным видом перламутровым перочинным ножичком.

– Открывай, Рыбак, – приказал гитарист, – раз шеф не хочет, придётся тебе исполнить что-нибудь в честь Нинон.

– Отдай, сволочь! – крикнул Изя.

– А шеф нервный попался, – флегматично заметил гитарист.

В этот момент и хлопнула внизу дверь в подъезде. Нинон что-то шепнула на ухо гитаристу. На нижней площадке по-

явился Ильдар Юсупов. Ещё один, подумал Изя. Воспользовавшись тем, что гитарист тоже глянул вниз, Изя толкнул его вниз на поднимавшегося Юсупова, затем одним прыжком достиг Рыбака и захватил его сзади за горло. Рыбак, поперхнувшись, попробовал вырваться, но безуспешно.

– Придушу вашего Рыбака, если кто сделает хоть шаг, – сказал Изя и для наглядности чуть нажал на горло своей жертве.

Рыбак захрипел.

– Теперь все потихоньку спустятся вниз, а имениница закроет футляр со скрипкой и передаст его мне.

В это время на площадку поднялся Ильдар Юсупов, ведя за вывернутую руку упавшего в его объятия гитариста.

– Значит так, ребяташки. Больше здесь не появляться, ясно? Здесь я живу. И к скрипачу чтобы пальцем не прикасались, ясно?

– Да ладно, Ильдар, – засуетился гитарист, подталкивая застывшую от страха Нинон, – мы просто шутили. Чего там ...

– Да отпусти Рыбака-то, скрипач, – улыбнулся Ильдар, – и давай знакомиться по-соседски ...

Вот так неожиданно вошёл в жизнь Изя Левина Ильдар Юсупов.

– Рисковый ты парень, – сказал Ильдар, когда они уже пили спустя полчаса чай на кухне у Изя.

– Скрипка, понимаешь, очень ценная, – смутился Изя.

– Сколько же стоит? Миллион? А если бы они тебя ножичком пырнули? Не дороже ведь жизни. Я этих ребяташек знаю.

– Подарок отца. Это ещё от прадеда моего скрипка. Семейная реликвия, так сказать. Ей больше двухсот лет.

– У тебя в роду все скрипачами были?

– Да нет, я первым буду профессионалом. Если буду. Но играть на скрипке умели все мужчины во всех поколениях. Отец рассказывал.

– А мне медведь на ухо наступил, – улыбнулся Ильдар,

обнажив крепкие ровные зубы, – но музыку люблю, может такое быть?

– Конечно, я знаю одного парня вообще без слуха, а он учится на фортепианном в музучилище. И, кстати, неплохо играет.

– Без слуха? – недоверчиво переспросил Ильдар Юсупов.

– У него внутренний есть. Слух у каждого есть, только у одних он развит, а у других нет ... Просто, в детстве с ними никто не занимался.

– Это про меня, старик ... – признался Ильдар.

Трудно представить себе было более разных людей. Однако, через некоторое время новый приятель казался Изе едва ли ни во всех отношениях идеалом. Уверенность эта возникла и строилась на представлении об Ильдаре, как о человеке цельном, лишённом всяких комплексов. Изе безотчётно нравилась манера Ильдара общаться: никакой рисовки и ложной многозначительности. Вот уж воистину, – быть, а не казаться. Ильдару всё удавалось. Во всяком случае, так считал Изя, который любую мелочь в жизни преодолевал с трудом, сомневаясь и убеждая самого себя в целесообразности этих мучительных усилий. У Ильдара же мысли и желания не были отделены, по мнению Изи, от поступков. Нет, он не казался Изе прямолинейным ортодоксом. В представлении Изи, Ильдар Юсупов жил в согласии с самим собой. Не то, что Изя.

А ведь тайны окружали Ильдара. Изя чувствовал. Не мог не чувствовать. Взять хотя бы его связь со шпаной. Почему они относились к Ильдару уважительно и даже с опаской? Что объединяло студента мединститута, ценившего хорошую книгу с полублатными стриженными личностями, околачивавшимися в подворотнях? Иногда Изя видел издали Ильдара, разговаривавшего о чём-то с «группировщиками», но никогда его об этом не спрашивал. Сам же Ильдар не распространялся на эту тему.

Беседовали приятели в основном о прочитанных книгах, которые Ильдар брал у Изи. Возвращая книги, Ильдар

любил порассуждать о прочитанных произведениях. Очень скоро Изя с изумлением понял, что книги для Ильдара лишь необременительный повод самоутверждения. Его размышления были лишены болезненных рефлексий и самообмана. Он точно знал свои желания и цели в жизни. Прочитанные книги поэтому не могли его увести в сторону – они или принимались, или нет. Порою практический энтузиазм Ильдара был настолько неподделен и заразителен, что Изя поддавался искушению пуститься тоже в довольно пространные рассуждения на избранную тему. Это, надо сказать, удавалось ему весьма и весьма, благо начитан он всё же был значительно лучше своего нового приятеля.

Темы, темы ... Их было великое множество. Но одна, несомненно, доминировала в беседах – тема любви. Притягательная для любого молодого человека, тема эта, тем не менее, раздражала Изю своей тривиальностью – как будто не о чём больше и говорить. С другой стороны, Изя успокаивал себя тем, что предмет разговора не столько любовь, сколько литература. И он, Изя, способствует, помимо всего прочего, выработке у своего товарища истинного вкуса.

Ильдар любил прибегать к впечатлениям своей личной жизни. И, надо отдать ему должное, как бы побеждал в споре. Как бы ... Что мог возразить Изя? В делах житейских Ильдар был более сведущ, нежели Изя. С видимым удовольствием делился он подробностями своих романов с женщинами, обстоятельно излагая нравственные, логические и прочие аспекты. Ах, как он умел естественно перейти от прочитанной книги к жизни! И из жизненных подробностей с достоинством вернуться к проблеме. То есть, попросту не замечать их, и если упомянуть пару деталей, то только чтобы обозначить ситуацию. Кстати, немалое место в рассуждениях Ильдара занимала физиология. Для непосвящённого в практику Изя, речь Ильдара звучала раздражающе. Впрочем, Ильдар умел обходиться без пошлостей. Вероятно, сказывалась его будущая профессия врача – обо всём говорить без преувеличений. Так существует в природе, и баста.

Иногда Ильдар добродушно интересовался, ну, мол, приятель, а что у тебя? В ответ Изя отделялся многозначительными междометиями, которые, по всей видимости, должны были означать, что Изя тоже, так сказать, времени зря не тратит, просто предпочитает о своём личном опыте не высказываться. Не вдаваясь в занудные расспросы, Ильдар принимал объяснения товарища за должное.

Словом, отношения их за год знакомства, если и не переросли в дружбу, то стали подлинно приятельскими. Изе нравилось проводить свободное время с Ильдаром, ходить с ним в кино, на футбол, просто гулять по улицам. Как ни странно, рядом с Ильдаром, он не так ощущал своё физическое уродство.

Надо сказать, что и Ильдар не без удовольствия общался с ним, иначе, зачем бы он стал приглашать Изю в свои компании и с гордостью представлять его как эрудита и чёткого парня. Ну, и разумеется, как скрипача.

Собственно, благодаря Ильдару, он и познакомился с Инной. Как-то осенью, в одной из комнат общежития мединститута, Изя по обыкновению сыграл по просьбе Ильдара «Мелодию» Чайковского. По окончании к нему подошла незнакомая девушка и сказала:

– Спасибо.

– Да чего там ... – замялся Изя, укладывая скрипку в футляр.

– Скажи, а Шостакович – гений? – спросила девушка.

– Шостакович? А при чём здесь Шостакович. Это был Чайковский. А впрочем, одно из двух: или гений, или злодей, – попробовал отшутиться Изя.

Девушка не улыбнулась. Её серые глаза неотрывно смотрели на Изю. Пристальное внимание незнакомки смутило: что она так его разглядывает, не видала горбатых? На язык просилась грубость, но выручил Ильдар. Подошёл, познакомил, перевёл разговор на какие-то пустяки.

Инна была подстрижена под мальчика, разговаривая, смотрела чуть в сторону, будто обдумывая услышанное, и

ободряюще кивала в знак понимания. Потом вдруг скидывала серые глаза и, не моргая, смотрела прямо в глаза собеседника.

На улицу они вышли вместе. Она была ростом с Изю. Шагая с ней рядом, он отмечал про себя стремительность её походки.

Инна работала в аптеке и собиралась поступать в медицинский. Ильдара знала со школы. О нём первое время и говорили. Вернее, говорил в основном Изя, похваливая приятеля. Инна молчаливо соглашалась.

Они шли по вечернему городу. Инна чуть впереди, едва касаясь, как казалось Изе, земли, а он со скрипкой под мышкой чуть сзади, на пол шага.

Её деревянный дом был окружён липами.

– Зайдём? – пригласила она.

– Зайдём, – неожиданно согласился он.

Направляясь по деревянному тротуару вслед за Инной вглубь маленького дворика, Изя чувствовал, как бешено колотится его сердце. После чая по её просьбе играл на скрипке. Она, свернувшись на диване калачиком, ни разу не шелохнулась. В тёмном коридоре, пахнувшем сушёными травами, спросила на прощанье:

– Придёшь ещё?

– А можно?

– Ты хороший ... – Инна прикоснулась сухими губами щеки Изю и положила голову ему на грудь.

– Покойно с тобой, – сказала она тихо.

Изю уткнулся лицом в её волосы и замер. Так они и стояли молча какое-то время, пока она не прошептала:

– Иди, уже поздно.

Домой он шёл медленно, шептал её имя.

На следующий день пришёл к аптеке на улице Горького и, облокотившись об изгородь Лядского садика, смотрел на окна аптеки. Инна вышла на улицу прямо в халате. Она улыбалась.

– Ты давно здесь стоишь?

– Не знаю, – пробормотал он.

– Я кончаю через полчаса, пойдём в кино?

– Пойдём, – с облегчением выдохнул Изя.

В кино они не попали, до вечера ходили по улицам в районе второго трамвая. Старая одноэтажная Казань несуетно обложилась скамеечками, лавочками, на которых сидели обитатели невзрачных покосившихся деревянных домиков. Если бы не трамвай, проносившийся время от времени, можно было бы поверить, что находишься в прошлом столетии: палисаднички, женщины, повязанные белыми платочками, шмыгающие туда-сюда ребятишки, коты, лениво потягивающиеся на подоконниках ...

Когда стемнело, Изя проводил Инну до дома.

– Зайдём? – спросила она, как и накануне.

И вновь эта маленькая комната с окном в палисадник, едва уловимый запах трав, дымящийся чай на столе и разговоры шёпотом. В соседней комнате спала бабушка Инны. Он рассматривал альбом с семейными фотографиями. Инна рассказывала о родителях, работавших по контракту в Монголии, о том, как один раз уже срезалась на экзаменах в медицинский.

Потом они танцевали под тихую, едва различимую музыку. Изя обнимал робко плечи Инны и не верил, что всё это происходит с ним: музыка, трущиеся об окна кусты акации, тёплые плечи под его деревянными руками ... С девушкой он танцевал впервые.

– Поцелуй меня, – сказала она.

Глаза её были закрыты. Изя тоже прикрыл глаза и дотронулся губами до её губ.

Щёлкнул выключатель. Он открыл глаза. По стенамплыли лучи от фар проезжавшей машины. Рука Инны потянула из темноты за собой.

– Куда ты? – спросил он, пытаясь унять дрожь.

– Тише, бабушку разбудишь.

Они упали на диван. Изя почувствовал, как расстёгиваются под быстрыми пальцами Инны пуговицы его рубашки. Он сжал в объятиях Инну изо всех сил, она ойкнула, уткну-

лась лицом в его грудь и стала в каком-то исступлении целовать её ...

Потом они лежали и молчали. От проезжавшего трамвая дрожала люстра под потолком.

– Выходи за меня ... замуж ... – сказал он.

Трамвай пропал в ночи, люстра застыла.

Изя повернул голову. Инна спала, чуть приоткрыв рот. Нежность охватила Изю с такой силой, что он ощутил почти что муку от неумения это новое чувство выразить. И заплакал. Инна проснулась словно от толчка и провела ладонью по его щеке.

– Ну, что ты, что ты ... – шептала она, покрывая его лицо поцелуями.

– Обожди ... дай я пойду, умоюсь ... это ... – бормотал он.

– Не надо, я так высушу, так ...

По вечерам Изя заходил за Инной в аптеку, и они пешком шли к ней домой.

Бабушка Инны не докучала разговорами, сидела у телевизора. Изю это вполне устраивало, так как ещё при знакомстве с ней у него возникло непонятное чувство тревоги. Короче, она ему не понравилась. Ещё бы, она так недвусмысленно отреагировала на его имя: сняла привычным округлым движением цепочку прилипших к губам семяночных кожурок и застыла, прищурившись:

– Изя? ... вон как ... ну-ну ... а полное имя как будет?

– Исаак, – ответила Инна.

– Вон как? Ну, ладно, кушайте, кушайте, я тут драников напекла. Угощай, внученька, гостя, – сказала и вышла, оглядев его с ног до головы насмешливым цепким взглядом.

– Ты не обращай на неё внимания. Бабуля у нас с фокусами, – сказала Инна.

– Да нет, она у тебя славная, – возразил Изя, стараясь подавить возникшую у него неприязнь.

В конце концов, какое ему дело до какой-то бабули, её взглядов и затаённой враждебности, если мир уже поделился на две части: Инна и – весь оставшийся. Вернее, по существу

мир и не делился, он сосредоточился на Инне. А прочее, в чём он ранее нуждался и без чего не мог обходиться, отдалилось в своей незначительности. И не надо было ничего дополнять в этом новом колдовском пространстве, улучшать, совершенствовать. Мир сузился до немногого: липы перед домиком, деревянный помост, запах трав в сених, старенький диван у низкого окна в палисадник, акация, – но это немногое как бы вмещало и всё остальное, оставшееся где-то там, в прежней жизни.

Словом, Изя полюбил. Это чувство было для него вновь. И поражало его тем, что разрасталось, умножая его силу и готовность принять всё, что окружало Инну. Казалось, мало любить только Инну. Всё, всё достойно было любви и участия. И не было враждебности и зла. Надо только любить. И ещё, он был уверен, что это состояние влюблённости теперь уже никогда не кончится. Просто не имеет права исчезнуть. А если вернее, он об этом вовсе и не думал. Так как ни в чём не сомневался. Просто жил в этом счастливом измерении. Иногда, правда, его пугала обыденность интонаций и поступков Инны. Но одновременно житейская незначительность ситуаций, реплик, жестов приводили его в умиленное состояние. Всё просто и естественно. Это норма. Привычная норма жизни. Мужчина любит женщину. Не горбун Исаак Левин, а просто мужчина. Как и должно быть. Как всегда и бывает в этом мире. Без всякой патетики и высоких слов. Всё буднично. Всё должно быть буднично. Потому и замечательно зевать казалось бы, от скуки по вечерам, пить чай из треснувших выцветших чашек, читать газету, ходить босиком, играть в домино, стричь ногти, танцевать ...

Будничность – вот непрекращающийся праздник жизни. Изя и Инна жили по закону торжествующей обыденности. Впрочем, жила так только Инна: жила как прежде, но ... с Изей. А он лишь примеривался с готовностью к предлагаемым условиям, ошибочно принимая приметы повседневности за будничность. А между тем, он открывал мир нежности и стра-

сти, в котором властвовала женщина. Ничего не скажешь, будничный праздник, да и только.

Так пролетело месяца два с половиной. Однажды вечером, когда Инна выбежала в магазин за хлебом, на пороге её комнаты появилась бабушка. Изя листал газету.

– Сидишь? – спросила бабушка.

Изя встал. Она прошла в комнату, присела на край дивана.

– Я вот давно хотела тебя спросить, мил человек, ты чего ходишь-то сюда?

– Как чего? – опешил Изя.

– Вот и я говорю, через весь город тащишься. И не устаёшь?

– С чего бы мне уставать?

– Гляди-ка, какой выносливый. А горбик-то не мешает? Да ты не обижайся, я по душевности. У нас, у русских, всегда всё по откровенности. Ты сам-то, каких кровей будешь?

– Кровей? Еврейских буду кровей.

– Вон как, ну и хорошо ... среди ваших тоже, небось, хорошие люди бывают ... А может, тебе среди своих подружку поискать?

– Среди своих? ...

– Ну да, среди явреев. Отыщется какая-нибудь ... небось, симпатичные тоже ведь встречаются, а?

– До свидания!

Изя направился к двери. С неожиданной проворностью бабушка выскочила за ним в сени.

– Не пара она тебе, не пара!

– Мы сами разберёмся! – зло огрызнулся Изя.

– Да из жалости она, дурачок, из жалости, – с внезапной смиренностью произнесла бабушка, – а ты уж и губы распустил, жениться собрался, я же всё слышу ...

Маленький, всклокоченный горбун со скрипкой под мышкой быстро шёл по трамвайному пути, отпугивая прохожих. Люди возвращались с работы. Толпы людей, живущих с ним

в одном городе, в одной стране, посещающие одни и те же магазины, кинотеатры, едущие на одних и тех же трамваях, автобусах ...

И он, Изя, отдельно от всех ...

Перед глазами стояло благообразное лицо старой женщины. Она права – из жалости ... Не избавиться от этой *отдельности*, как от проказы. Раз уж приобрёл, то на всю жизнь.

... это случилось в третьем классе. Нечаянно задев локтем соседа по парте, тщедушного Гудкова, Изя был ошарашен изменившимся выражением его лица. Гудков заорал на весь класс: «Ну, ты, еврей!» Но ещё более, чем его оскалом, Изя был поражён убеждённой Гудкова в своей правоте – безусловной и словно бы кем-то узаконенной. Иначе ведь не посмел бы – Изя хорошо знал трусливого Гудкова – вложить столько презрения в обычное, вроде, слово, прозвучавшее тогда впервые для Изи как ругательство. Нет-нет, ни за что не посмел бы. Да и повод смехотворный. Смутно пронеслось в сознании: русский – не ругательство, а еврей, значит ... Почему?! Да как он смеет?! Хотя и чувствовал, что смеет, что позволено ... только кем? ...

Драка была короткой и ожесточённой. Гудков был повержен.

Но от победы осталась только горечь, так как страшнее оскорбления Гудкова было молчание всего класса. Никто Гудкова не одёрнул, хотя его и не любили. И Изе ни слова поддержки. Вот тогда и обдало холодом *отдельности*. Потом обсуждали драку на классном собрании. Гудкова классная руководительница мягко пожурила, а поступок Изи – избивать товарища! – назвала возмутительным и не достойным звания пионера.

Через несколько дней у Изи стала болеть спина и начал расти горб. Врачи говорили, что это бывает от ушибов или от падения. В том, что эти два события совпали, было, как всегда считал Изя, нечто символическое. Мало того, ему часто каза-

лось, что если бы и исчезла вот эта появившаяся тогда в его жизни отдельность от всех, то и горб пропал бы.

Ужаснее всего, что отдельность от – *всех* ... С одной сторон – он, с другой – остальные. Причём, и евреи тоже среди остальных. Это угнетало более всего – евреи, неевреи ...

Вначале, после драки с Гудковым, он внезапно остро осознал свою общность с отцом, умершей матерью, тётками, другими родственниками. Он не один, их – много! Но утешение это пропало очень скоро – его возмущали родственники.

Да, нас относительно много, осторожно соглашались взрослые, но мы все второсортные, то есть не по существу, а в сознании других, и с этим нельзя не считаться, так уж сложились обстоятельства, так было уже тысячи лет, надо смириться, было и будет ...

Было? Да, это Изя понимал. Но что, так и дальше должно продолжаться? Нет, невозможно ... Что означает пресловутое *смирение*? И как терпеть второсортность? Если её нет и в помине. Фискал Гудков разве лучше Изи? Да в чем – в силе? В сообразительности? В смелости? В честности? Или Ковалёва Надька, списывающая у него задачи, – она тоже лучше? Тогда и вышедший недавно из тюрьмы Одинец, околачивающийся пьяный у них во дворе, лучше? Несмотря на то, что он, как говорят, даже человека убил? И тем не менее, лучше ... Но по какому праву?

По праву н е е в р е я внушали ему родственники. Но Изя не считал себя хуже Гудкова. И другие в классе так не считали. Ты ошибаешься, уговаривали его родственники. Изя плакал от бессилия и давал обещание смириться. Однако, в школе вновь, по любому поводу лез в драку. В нём появилась какая-то одержимость, теперь он хотел доказать всем свою полноценность.

Между тем, после случая с Гудковым, в классе к Изе переменились. Во всяком случае, ему так казалось. Вечно настороженный, он стал подозревать своих былых приятелей в молчаливой солидарности с Гудковым. Малейший намёк на

национальность воспринимал болезненно, дрался, грубил товарищам и учителям.

Дома о стычках в школе и во дворе не рассказывал, замкнулся. И с каждым днём чувствовал, как саднящая ноющая точка под лопаткой разрастается, мешая дышать.

Потом лечение, долгое хождение по врачам, перевод в другую школу. Постепенно всё как бы стёрлось. Появились новые приятели-евреи, общаясь с которыми можно было не опасаться оскорблений. Пришли книги, пришла музыка. В огромном пространстве звуков дышалось свободнее всего.

Инна жила тоже словно бы по законам музыки. Так думал Изя. Музыка и Инна – это было нечто для него неразрывное. Потому и жизнь Изя после встречи с Инной обрела необходимую полноту и завершённость.

И вот осталась только музыка ... Впрочем, осталась ли, если Инна и музыка неразрывны ... нет, нет, остался горб ... горбатый еврей, покинутый русской девушкой-музыкой, издевался над собой Изя.

Инна звонила несколько раз. Услышав её голос, он вешал трубку. Потом начались каникулы и блаженное одиночество: дача, тётя Дася, тётя Фаня, дядя Арон, по вечерам отец – свои родные люди. Свои – *несвои*, родные – *неродные*, евреи – *не-евреи* ... всё та же путаница омерзительная ...

Свои ... Однажды двоюродный брат Илья пригласил в гости. Собралась весьма большая компания. Поначалу как обычно посидели, выпили, стали песни петь. Кто-то затянул: «Русская удаль, русский простор, русская нежность ...»

И вдруг, неожиданно для самого себя Изя выкрикнул: «Русский позор!»

Все смолкли.

– Эта песня – великодержавный шовинизм, – отчётливо произнёс Изя в наступившей тишине.

– Ну ты, парень, в этой песне всё правда, – угрожающе забасил ближайший приятель, а впоследствии и родственник Ильи и Изя, Виктор Березин.

– Но почему тогда в других песнях не поют о татарской удали, чувашских просторах, еврейской нежности? – сказал он и вышел, хлопнув дверь.

После этого случая Илья не разговаривал с Изей очень долго. От родственников же пришлось выслушать очередную порцию нравоучений об осторожности и прочих ценных качествах, необходимых еврею в эпоху развитого социализма.

– Рувим, он свернёт себе голову, в кого он такой? – сокрушалась Дася.

– Ты бы ему рассказал про себя, – добавляла Фаня, пыхтя папиросой.

– Я рассказывал, – качал головой Рувим.

– Если вы намекаете, что папа сидел, то я знаю, – воинственно оборонялся Изя, – тогда было другое время.

– Изя, сынок, успокойся, – говорил Рувим.

– Папа, я не могу! Ты мне скажи, я – еврей?

– Ну, конечно, мы все евреи.

– Почему же вы шёпотом разговариваете на своём языке? Почему меня ему не научили? Илью? Соню? Откуда этот постоянный шёпот?

– Тише, не кричи, сейчас ... такое время.

– Да какое такое время, чёрт возьми?! В конституции сказано о равенстве всех национальностей.

– В конституции сказано, – с горечью подтверждал Рувим.

– Нет, он ещё совсем ребёнок, – восклицала Дася.

– Жизнь – это не конституция, можешь мне поверить как юристу, – добавляла Фаня.

– Не надо, вон папа – замдиректора. У нас квартира, машина.

– Да разве в должностях дело, сынок, в дачах, в машинах? А человеческое достоинство? Да, мы все люди – русские, чукчи, казахи, евреи. А на деле ... здесь ... поверь мне, надо потерпеть. Времена изменятся ... вот до войны этой проблемы не было, мы не чувствовали себя евреями. То есть, чувствовали конечно, но, в первую очередь, ощущали себя просто

советскими людьми, дружили все вместе – белорусы, евреи, русские. Антисемитизма не было, а теперь ... Следует ли на рожон лезть? Я тебя прошу, мой мальчик, ради меня, – слёзы катились по морщинистому лицу Рувима.

– Но мы же погибнем ...

– Нет, – Рувим обнял Изю за плечи.

– Без своего языка, с чужими именами и фамилиями, без своей культуры, забытые, испуганные ...

– Ты прав во многом, только мы не погибнем. Надо притаться, а потом всё наладится. Так уже не раз было в истории.

– Отца бы пожалел, – Фаня закуривала очередную папиросу и, выходя на балкон, кричала оттуда, – он столько перенёс, надо же совесть всё же иметь!

– Да, пережил, не дай бог другому, – вторила Дася, – ты смирись, мальчик, смирись ...

И Изя смирялся на время, отгораживался от всего и всех музыкой, играл на скрипке до изнурения. Музыка была его спасением, убежищем. По ночам же невыносимо давил горб. Изя плакал в ярости, закрыв лицо одеялом, чтобы не увидел отец. Плакал от бессилия и одиночества.

Друзья? Еврейские приятели возмущали его своей беспринципностью и равнодушием к собственной судьбе и судьбе близких. То есть, судьба волновала их в плане карьеры, личного, так сказать, обустройства – квартиры, шмоток, получение образования, овладения профессией. Словом всё волновало, кроме главного – достоинства личности. Роль этнических статистов без роду и племени их вполне устраивала. Да, они могли между собой повозмущаться неравноправием, и так далее, но изменить что-либо в своём положении, не говоря уже в положении всех евреев, даже и не помышляли. Уповали на грядущие изменения в необозримом будущем. В их покорности обстоятельствам Изя видел и ощущал беспомощность не только каждого из них конкретно, но и прежде всего – свою. И, принимая в определённых случаях позу гордеца, он, тем не менее, понимал, что его демарши, к сожалению, не более, чем поза. Поза выскочки и одиночки. И всё

же, не мог заставить себя во всём покориться, хотя и уступал часто в угоду родственникам.

Газеты утверждали, что еврейского вопроса не существует. Заметки подписывали известные писатели, артисты, учёные еврейской национальности. Давайте спокойно работать, как все советские люди, призывали они. И не поддаваться вражеской пропаганде о так называемой дискриминации евреев. Ага, значит, не он один так думает, делал открытие Изя. Только где эта вражеская пропаганда? Ему лично никто ничего не пропагандировал. Как все советские люди. Как все ... Изя вновь и вновь пробовал *как все* ... и ещё более натывался на отчуждённость ...

Среди ровесников Изя отдавал предпочтение Ильдару Юсупову, человеку весьма далёкому от него по воспитанию и интересам. Ильдар ни разу не дал повода мнительному Изе засомневаться в своей лояльности к евреям. Мало того, Ильдар пару раз оборвал в компании шуточки в отношении армян. Словом, один Ильдар и остался в окружении Изии Левина.

А Инна ... иногда Изе казалось, что она не при чём, что бабушка её специально всё ему наговорила, чтобы их поссорить, что надо бы с Инной объясниться. Но при малейшей мысли, что в разговоре придётся коснуться причины разрыва, то есть содержания их словесной перепалки с бабушкой, Изя приходил в ужас от возможного унижения. Говорить о своей национальности, уродстве? Обойдёмся без жалостливых, мстительно думал он, не признаваясь, что сходит с ума от желания вернуть всё. Да-да, в том-то и дело, что – *всё!* Что даже – о, ужас! – на бабушку согласен ... По ночам не выдерживал, повторял как в бреду – Инна, Инна ...

Ильдар с разбега бросается в воду и мощным броском отрывается от Изии. Окунувшись, Изя выходит на берег. Сев на песок, он наблюдает за плывущим приятелем и думает, что вот Ильдар приехал, и всё изменилось. Даже в пепельном закатном небе разлито спокойствие.

Вот Ильдар выходит из реки, стройный, красивый. И невозможно не ощутить его слиянности с невесомым, дымным небом, столетними соснами, парящими над Волгой, с величавой широтой реки. Перед вами сама гармония мироздания, – хотелось с пафосом кричать Изе, – и в центре её – человек! И не обидно Изе, не горько, что человек этот вовсе не он, а другой. Но человек! Значит брат человеческий! Значит, гармония всё-таки возможна – вот в чём главное.

Какое-то время приятели молча сидят и смотрят, как стекает в туманной пелене облаков огненный диск за противоположный гористый берег Волги. Потом идут босиком к домику Изя. Изя с удовольствием ощущает под ступнями пружинную упругость сосновых корней, и будущее уже не страшит его, как несколько часов назад.

Ужинают варениками. Ильдар ест с аппетитом, похваливая кулинарное мастерство тёти Даси. С их веранды виден дальний берег, на глазах темнеющий, сливающийся с горизонтом.

– А знаешь, – говорит Изя, когда Ильдар закуривает, – ещё днём я был уверен, что надвигается какое-то несчастье, представляешь?

– Бывает, – соглашается Ильдар, – старик, у меня есть одно предложение.

– Заранее согласен, – улыбается Изя.

– Тут неподалёку есть пионерлагерь, так?

– Есть, только я не помню названия.

– Не важно, мы отправимся сейчас туда и проведём там весело время.

– В пионерлагере?

– Вот именно, старик. Детки уже засыпают или заснули. А пионервожатые начинают скучать, понял? У меня там знакомые работают. Я и горючего захватил.

Ильдар выразительно показывает на сумку.

– А может, тут посидим, потрелемся, – робко предлагает Изя, – тащиться неохота.

– Не понравится, вернёмся, – энергично возражает Ильдар и набрасывает сумку на плечо, – тронулись!

База отдыха празднует конец рабочей недели. За освещёнными окнами мелькают оживлённые силуэты. Большинство дачников ужинают на открытых верандах, а то и прямо перед домиками за складными столами. По телевизору кончается программа «Время». Передают прогноз погоды. Дася готовит лекарство Фане.

На веранде домика Николаевых покачивается Женя.

– Гулять посьли? – спрашивает он.

– Гулять, – отвечает Изя.

– Дай закулить.

– Ты много курить стал, Женя. Не вредно тебе?

– Нет, не вредно.

– Ильдар, дай ему сигарету.

– А не спалит ли он тут лес? – сомневается Ильдар.

На мгновенье внутри у Изя что-то сжимается и тут же отпускает.

– Нет, он смирный, правда, Женя? – говорит Изя.

– Плявда, – соглашается Женя, – я смильный.

– А чего в шляпе сидишь ночью? – Ильдар протягивает Жене сигарету.

– Чтобы всё холёсё былё.

– Хорошо? – смеётся Ильдар, – А что это такое – хорошо?

– Холёсё, это когда холёсё.

– Ну, молодец, Женя, ты прямо философ, – удивляется Ильдар.

Они выходят из леса на шоссе. По нему фланируют дачники с детьми, из транзисторов звучит музыка, слышен девичий смех. Как всегда, шагая рядом с Ильдаром, Изя словно подтягивается, напряжинивается изнутри.

Вдали зажигаются фары автомобиля. Увеличивая тени людей, огненные глаза приближаются. Приятели сходят на обочину. Мимо пролетает «Запорожец». За рулём автомашины Рувим Левин.

Но Изя не узнаёт машины отца. Он заморожено смотрит на осветившееся лицо Ильдара Юсупова – на волчью морду, покрытую шерстью ...

РУВИМ

*Было всё, была свобода,
А давно ль? Тому три года.
И семья была и дом,
Были живы мать с отцом,
Было всё на белом свете.
(Еврейская народная песня)*

Подъехав к своему домику, Рувим Левин поставил машину вплотную к веранде. Он дал машине поработать немного на холостых оборотах и заглушил мотор. Посмотрел на часы – почти десять. Фаня уже наверняка в постели. Значит, можно отложить разговор с ней до утра, ещё раз всё продумать без спешки.

Всё тяжкое и неприятное сваливается именно на него. Раньше понятно было – единственный брат, мужчина, так сказать. Но и потом ничего не изменилось, чуть что – Рувим. Нечего и говорить, даже вернувшись из заключения, он вновь вынужден был разбираться во всякой семейной ерунде.

Дома темно. Осторожно подошёл к кровати Изя – пустая. Включил свет, увидел записку: «Папа, я у товарища. Не беспокойся. Кушай драники». Сел с запиской в руке на стул.

Изя, мальчик мой, что мне сделать, чтобы ты не повторил мой путь? ... Вот так же думал, наверное, и его отец когда-то. И что же, я его путь не повторил. Но я крепкий. А в Изе нет крепости Левиных, ни физической, ни душевной. Впрочем, у него самого много ли оказалось этой пресловутой душевной стойкости. Вот у Даси с Фаней ...

Бедняжка, Фаня. Ей уже не выкарабкаться. И Соня своим упрямством может только ухудшить её состояние. Вот уж никто не ожидал от племянницы такой прыти: замуж, и всё тут.

Беседа с Соней не получилась. Не то слово – беседа. Только начал говорить, как увидел в глазах кроткой, ласковой Сонечки тот знакомый огонёк отчаянности, которым славились Левины. Раньше, впрочем, славились. Теперь кто остался? Старики уже не те. А молодёжь? Гриша, старший, носит, конечно, фамилию Левиных. Но он пошёл скорее в жену – рассудительный, спокойный, флегматичный. Живёт как крот в своём Запорожье, всем доволен, варенье и компоты на зиму заготавливает ... А Изя? Изя, пожалуй, Левин. Да, несомненно, Левин. Только чересчур раним, вот что страшно. С его внешностью он так уязвим. В кого он? Фаня с Дасей утверждают, что в меня. Бедный Изя ...

А Соня, та прямо поразила.

– Если будете мешать, побегу из дома. Тогда всем ещё хуже будет, – сказала она.

Встала и пошла к двери. Вот тебе и кроткая.

Когда-то Фаня заявила примерно то же самое. Только тогда их отец не поверил дочери, снял со стены вожжи и протянул непослушницу поперёк спины. Фаня прикусила губу и повторила:

– Всё равно выйду замуж.

За что получила ещё один удар вожжами и была заперта в нежилой половине дома. Ночью она сбежала со Степаном Шерстюком. Вот уж сумасшедшая была у него сестрёнка.

Отец от горя слёг. Не мог себе представить, что его дочь

выйдет замуж за русского. Он запретил упоминать имя Фани. А вечером позвал его, Рувима, единственного своего сына, и сказал:

– Она не должна этого сделать.

Но что он мог? На него, секретаря комсомольской организации совхоза, тогда многие равнялись. Мог ли он быть на стороне отца, когда не разделял его взглядов. Отличать людей по национальным признакам казалось диким анахронизмом. Да к тому же, Степан был его другом.

Правда и Фаню никогда не понимал. То она с Ароном чуть не взбесилась. Потом со Степаном. Можно было и обождать. Постараться уговорить отца. К чему такой максимализм? Впрочем, сам он в те годы немногим, наверное, отличался от сестры.

Приехав к Фане в Минск, где она училась в университете, он застал там Степана. Ему показали брачное свидетельство. Что оставалось делать? Махать кулаками после драки? Они тогда вместе славно повеселились.

Через девять месяцев у них родился Мишка. Но отец уже к тому времени лежал парализованный после инсульта, да так до самой своей смерти и не простил Фаню, видеть не желал. Она смогла придти только на похороны. Бедная Фаня ...

Неужели всё в мире непременно должно повторяться и нельзя этому помешать? Фаня и Соня, он и Изя ... Нет! Только не это! Должно же быть какое-то равновесие в природе. Если уж нам всем достались голод, войны, тюрьма, за что же детям то же самое? Разве не сполна испили мы всяческого дерьма? Нет, у них всё будет по-другому! Должно быть ...

Рувим погасил свет и вышел на веранду. У Даси все спят. На соседней веранде сидит, качаясь, Женя. Он ложится спать, говорят, на рассвете. Несчастный мальчик ...

Счастлив, несчастлив. Пойди, разберись. Вот Илье и Соне счастье выходит только с Березиными. Осуждать их? Бог с ними. Значит судьба. Но примирить в своём сердце Соню и березинского выродка? ...

Изя, мальчик мой, ты прав, нельзя со всем мириться, но ...

За что ему, Рувиму, выпала ещё и эта мука в жизни – Березины? И разве расскажешь Изе обо всём ...

... эски называли его Паханом. Эски-уголовники. Если ему что-либо не нравилось, он сразу бил заключённого тяжёлым, шибающим с ног ударом по лицу. Сплёвывал и шёл дальше. Это было ещё в начале срока: обходя строй эсков на утренней поверке, Пахан остановился рядом с Рувимом и неожиданно ударил соседа Рувима, учителя из Литвы. Падая, учитель крикнул:

– За что?!

Пахан перевёл взгляд на Рувима. Тот опустил глаза, успев заметить, как хищно вздрагивают ноздри у Пахана.

– Плохо смотришь, антисоветская сволочь!

Пахан переступил через литовца и тяжело зашагал прочь. Только в год освобождения, в пятьдесят шестом, Рувим узнал, получая документы, фамилию Пахана. Все восемь лет, что отсидел Рувим Левин, Пахан-Березин был начальником его лагеря в Мордовии.

Рувима Березин ни разу не ударил. Над ним куражился его помощник Вахромеев – маленький, щуплый, глухо кашлявший мужичонка. Воспитательную работу Вахромеев проводил в своей каптёрке, вызывая заключённых на так называемую задушевную беседу. Вахромеев почти всегда бывал «под градусом». Интересуясь в оный раз статьёй и подробностями «преступления», он ковырял спичкой зубы и хмыкал. У евреев обязательно спрашивал – обрезанный или нет. А затем, преображаясь, начинал визжать, дёргаться. Приказывая заключённым раздеться догола, он заставлял их маршировать по каптёрке под «Марш Черномора» Глинки.

– Вот чем они наших баб портят! – кричал он. – Убью! Жидовня вонючая! Не останавливаться! М-а-а-арш ...

Как рассказать Изе, что он, Рувим Левин, завидя издали Березина, торопился опустить глаза, моля судьбу,

чтобы остаться незамеченным? Или, как описать своему сыну трясущиеся руки Вахромеева, ставящего заезженную пластинку с маршем Глинки на проигрыватель? И себя, голого, покрытого гусиной кожей – но не от холода, а от страха ... или драки уголовников, вши в лазарете ...

Рувим вошёл в дом и лёг. Он знал, что не заснёт, пока не придёт Изя. Лежал и пытался представить, как отнесётся к известию о свадьбе Сони Фаня. С подачи заявления в ЗАГС до регистрации полагается ждать месяц. А тут – пять дней. Березин всё устроил. Связи ...

Березин ... Теперь на всю оставшуюся жизнь они связаны. Детями связаны – это ли не насмешка судьбы? Илья женился на его дочери. Соня выходит замуж за его сына. Когда Дася рассказывала, что её Илья встречается с какой-то Галей Березиной, не мог он и подумать, что это дочка того самого. Мало ли Березиных на свете? Даже когда подали заявление в ЗАГС, не предполагал, что это ещё одна ловушка, уготованная ему жизнью.

На свадьбу не попал, был в санатории. По приезде показали свадебный снимок – в центре, рядом с невестой, увидел знакомое квадратное лицо, холодноватый прищур серых глаз и оттопыренные уши. Рувим побледнел, схватился за сердце. Вызвали «скорую», увезли в больницу. О Березине промолчал, никому ни слова.

Но уже пошло, поехало. Как в песенке: «Так они жили, спали врозь, а дети были». Принимая лекарства и процедуры в обкомовской больнице, Рувим заставлял себя свыкнуться с новым появлением Березина в его жизни. В конце концов, он может с ним и не видется. Эта мысль его вроде бы успокоила. Не хочешь, и не общайся – не в лагере.

Рувим стал уже поправляться, когда однажды в коридоре больницы внезапно увидел стриженую серым ёжиком Березинскую голову на крутой, в багровых складках, шее. Первым произвольным желанием было – спрятаться. Но Рувим сделал над собой усилие, отмерил ещё два шага. и ... всё же не

выдержал, вернулся в палату и симулировал сердечный приступ. Когда прибежал врач, он умолил перевести его в другой корпус, притворно жалуясь на недостаток воздуха в палате и на этаже.

В обкомовской больнице привыкли прислушиваться к капризам пациентов, начальство ведь. Благо, Рувим был ещё не на пенсии, да и лечащий врач как раз нуждался в кирпиче для дачи. Словом, его перевели в другой корпус.

Рувим клял себя за малодушие. Только бы не видеть эту харю, оправдывался Рувим перед самим собой. Однако на следующий день вся больница только и говорила о Березине. Произошло невероятное.

Некий Орлов, бывший политзаключённый, а ныне пациент обкомовской больницы, прогуливаясь, как и Рувим по коридору, и встретив Березина, вцепился ему в горло и стал его душить, произнося одно лишь слово: «Убийца, убийца ...» Березин легко отшвырнул от себя обессилившего старика. Тот упал на пол. На шум сбежались больные.

Под утро Орлов умер. Двое больных написали письмо, что не желают лечиться рядом с таким субъектом, как Березин. Когда стали собирать под письмом подписи, Рувим отсиделся в туалете. Нет, никуда не ввязываться, ничего не подписывать. Пусть оставят его в покое.

Чтобы замять скандал, Березина выписали из больницы.

Почти что зависть испытал Рувим к умершему Орлову. Ценой жизни, но сказал правду. А он? Нет, такие подвиги Рувиму Левину уже не по силам. А ведь когда-то был комсомольским секретарём, врукопашную на немцев ходил. Его ли бойцы звали «отчаянным»? Он ли выслеживал в сорок шестом году «лесных братьев» в лесах Прибалтики?

Мог ли предположить тогда Рувим Левин, счастливый муж и отец, что вырезанные им из журнала следки для сандалий, перечеркнут всю его судьбу.

Донёс его сослуживец Семенцов, с которым они накануне вместе ходили в баню. Весь в татуировках, Семенцов в тот день долго парился и веселился. Они оба получили пре-

мии, впереди выходные дни ... На следствии Семенцов дал показания о политической неблагонадёжности Рувима. Что им руководило, этим Семенцовым, с которым и встречались не больше, чем с другими, в основном на службе. Да вот разок в баню сходили ... Неужели и в самом деле Семенцова так возмутили портреты Кагановича на журнальных следках Рувима?

Отправляясь по этапу из ночного Таллина, он всё думал, что недоразумение вскоре прояснится. Вспоминал заspanные глаза беременной Цици, разбросанные по комнате вещи, маленького Гришу, который так и не проснулся при обыске. На следствии вспоминали и Степана Шерстюка, пропавшего на фронте без вести, и репрессированных родственников Арона Горелика, и то, что его отец не сразу вступил в совхоз, и невыполнение плана строительным заводом, где Рувим директорствовал перед арестом.

О смерти Цици узнал только через два года. Гришу и родившегося без него Изю забрала к себе Дася. К тому времени он уже не верил в недоразумение. Как и многие другие «политические» предполагал существование заговора внутри ЦК и правительства. Их называли «ортодоксами». Партийцы со стажем держались стойко и продолжали верить в незыблемость тех ценностей, которые отстаивали до своего заключения.

Как-то, на четвёртом году заключения, летом, на лесоповале, эки ждали грузовик, чтобы ехать в зону. Машина по неизвестным причинам задерживалась. Люди молча сидели на поваленных деревьях.

Неожиданное спокойствие затопило Рувима до основания волной сопряжённости и участия. Участвости – вот чего ему не хватало тогда больше всего. А в том лесном безмолвии участливость была без меры разлита и в темневшем сумеречном воздухе, и в застывших хвойных лапах, и в шальном неслышном комарином круговороте ... Эти сумерки разве вычеркнешь? Это его жизнь. Как и те, одержимые не-

истовым бегом, тридцатые годы. Или пьянящие месяцы после победы в сорок пятом. Он слушал далёкий птичий гомон, вдыхал одурманивавший хвойный дух ... Вот сидят на корточках его товарищи по несчастью. Вот деревья, птицы, трава. Мир, в котором всё сопряжено и наполнено участием. Как вместительны сумерки, если Рувим успел осветиться радостью и ощутить благодарность судьбе за открытие такой простой истины – живёт человек *каждое* мгновенье. И в горе, и в радости эти мгновенья драгоценны ...

С того вечера он не то, чтобы перестал верить в прежние идеалы, просто понял, что он не из тех людей, которые способны что-либо изменить в этом мире. Да и смысл теперь представлялся ему не в обязательном изменении всего и вся.

Он отошёл от группы *ортодоксов*. Даже не отошёл, а отдалился. И уже не так отчаянно думал о днях минувших, не считал, сколько осталось ему до желанной свободы. Было радостно приучать себя видеть смысл в этих, казалось бы потерянных годах, проведённых в неволе. Он заново узнавал себя: на утренних поверках с удовольствием вдыхал морозный воздух, вглядываясь в светлевшее небо. Вот он, некий Рувим Левин, стоит в драном ватнике среди других людей и встречает рассвет где-то в Мордовии. Какое интересное слово *мордовия* ...

Несвобода его более уже не страшила. Какая же несвобода, если внутри он совершенно свободен, думает о чём хочет, ощущает со всей полнотой своё тело, не потерял способности говорить, улыбаться, испытывать боль, радость ... И свободен в этом. *Свободен*. И как почти ничего не нужно, думал он, чтобы это осознавать. То есть, вообще, ничего. Впрочем, ему то нужна была как раз несвобода, чтобы понять. Вот смешно ...

Если бы не Изя ... Вновь пути обстоятельств, полу правда, зависимости и унижений. Теперь из-за сына, теперь ... Если бы не он, то и с Березиными можно было бы по-другому. Проклятые Березины! ...

Когда Пахан вошёл к нему в кабинет, противный озноб пополз по спине Рувима.

– Или не признаёшь? – Березин развалился в кресле и закурил.

Рувим кивнул, и неимоверным усилием воли заставил себя не вытянуться по швам.

– А ведь мы с тобой теперь вроде как родственники, – усмехнулся Березин.

Рувим вновь кивнул, не в состоянии разжать рот.

– Да ты чего, воды в рот набрал? Болеешь что ли? – В голосе Березина послышались знакомые рокошующие нотки. – Или разговаривать не желаешь?

– Горло, – выдавил из себя Рувим.

– Другое дело. Ты, кстати, молодец, не подписал тогда эту вонючую бумажку. Знаю, знаю, был ты тогда в больнице – свои люди сказали. А эти сволочи накатали телегу! Что же я не работал? Все чистенькие, значит, один я извалялся? Пусть выкусят! С одного корабля мы матросы, точно?

Чтобы ничего не ответить, Рувим потянулся к пачке папирос, закурил.

– Персональную пенсию заработал, ветеран партии, имею правительственные награды, – продолжал возмущаться Березин. – Ладно, хрен с ними. Я ведь к тебе по делу. Как с планом?

– Даём.

– Слушай, Михалыч, а тебе шестьдесят стукнуло?

– На будущий год.

– Значит, тоже будешь скоро пенсионером, – усмехнулся Березин. – Вообще так, Михалыч, хочу к вам завкадрами. Поможешь? Мне свои люди подсказали, что ваш кадровик на левых делах проштрафился. Да знаю, знаю, сведения верные. Местечко это вроде ничего, мне нравится. Ну, так как,поможешь?

– Поговорю с директором, – прохрипел Рувим, – крутой мужик.

– В том то и дело. Но ему сверху тоже подскажут, не сомневайся. А ты со своей стороны надави, по-родственному. Ладно, бывай, позвоню.

Когда дверь за Березиным закрылась, Рувим с изумлением обнаружил, что стоит, вцепившись в спинку кресла. Когда же он встал? Ведь заставил же себя сидеть при его появлении. А потом нутро животное заставило? Ах, тварь, какая же ты тварь, Рувим Левин – разговаривал с этим подонком, руку жал, поддакивал ...

Рувим схватил со стола керамическую чернильницу и в ярости швырнул об пол. Неужели эта образаина будет работать здесь, входить в его кабинет и по-хозяйски тыкать пальцем? Разве возможно Рувиму всё забыть: кровь литовца, колючую проволоку, унижения? Скажу директору, что Березин негодяй и убийца. Да, так и скажу, решил Рувим. Но и тогда уже где-то в глубине знал, что ничего не скажет, в лучшем случае проямлит, мол, решайте по своему усмотрению.

Да, пожалуй, впутываться он не будет. Разбирайтесь сами. Его дело снабжение и сбыт. Остальное его не касается. Берите хоть самого чёрта ... Всё равно сверху нажмут. Так всё и вышло ...

Сослуживец, родственник – тьфу! Завтра прикатят на двадцать четвёртой «Волге» всем своим выводком. И он будет их принимать, угощать. Всё ради детей. Они-то не при чём. Только почему их тянет к Березиным?

Забрать бы Изю, сесть в свой маленький «Запорожец» и умчаться куда-нибудь подальше. Ощущать скорость, произвольно то набирая её, то сбавляя ... В жизни всё не так: набираешь скорость, – оказывается, надо было сбавлять, – и летишь в кювет, калечишься. Потом наоборот. Впрочем, дороги то никакой и нет. Одно название – *вперёд*. Тут на одной решимости далеко не уедешь. Как внушить это Изе?

Скрипнула дверь. Изя? Надо встать, покормить. Он потянулся к выключателю.

– Не включай света, Рувим, выйдем на веранду, покурим.

– Арон? А я думал Изя вернулся.

Они вышли на веранду. Почти все домики стояли уже с потушенными окнами.

– Как Фаня? – спросил Рувим. Он никогда не знал о чём говорить с Ароном. Ощущение неприязни к нему не покидало Рувима с юности.

– Также.

Помолчали. Рувиму непонятно было, зачем Арон заявился к нему так поздно. Сухая, поджарая фигура Арона в темноте казалась юношеской.

– Ты говорил с Соней?

– Говорил, но всё бесполезно. Завтра регистрация в городе. Потом молодые сюда приедут.

– Завтра? – голос Арона вздрогнул.

– Да, завтра. Соня оказалась копией своей мамы. В глазах огонь, говорит: «Не смейте мешать, а то убегу из дома».

– И ничего нельзя сделать, Рувим?

– А что ты сделаешь? Наверное, она его любит, если так говорит.

– Любит? Этого не может быть!

– Почему не может, Арон? Она ведь выходит замуж.

– Ну и что, это ни о чём не говорит.

– Что с тобой, Арон? Как это ни о чём?

– А так ... Она тебе об этом сказала?

– Я не спрашивал. Это и так понятно.

– Ну вот, – засмеялся Арон.

– Что вот? Ты какой-то странный сегодня, Арон.

– Этой свадьбы нельзя допустить, Рувим, иначе ...

– Что иначе? Почему ты замолчал?

– Иначе ... иначе будет всем плохо, Рувим ... ты даже ... не представляешь насколько плохо ... – прошептал Арон.

– Разве может быть ещё хуже?

– Вы исчезнете и ...

– Исчезнем? Что значит исчезнем?

– Очень просто – исчезнете ...

– Мы? А ... ты?

– То есть мы, – поспешно исправился Арон, – наши дети ...

– Исчезнем, всё идёт к тому – горестно согласился Рувим.

Вдруг лицо Рувима перекошилось от ужаса.

– Смотри, смотри, – прохрипел Рувим, – какой он высокий ...

По лунной световой дорожке к ним направлялся Женя Николаев. Голова его упиралась в крыши домиков.

– Дядя, дай закулить, – сказал Женя.

Арон протянул ему сигарету, щёлкнул зажигалкой.

– Ты сегодня такой высокий, – сказал Арон.

– Я её выше могу, – сказал обиженным голосом Женя и, раскачиваясь, стал расти на глазах, вытягиваться вверх.

Рувим пошатнулся.

– Женя, хватит, иди домой, – сказал Арон.

– Навельху холёсё, вольков нет, – Женя уменьшился до своего обычного роста и зашагал прочь, в темноту.

Рувим стоял с закрытыми глазами.

– Что-то мне нехорошо, голова кружится, пойду, лягу.

– Конечно, ложись ... а знаешь, Рувим, я вспомнил сейчас вашего деда, – как он волка одолел, – смелый был.

– Спокойной ночи, Арон.

Держась за стену, Рувим прошёл в комнату, лёг в одежде на кровать. Ему казалось, что Арон не ушёл, стоит на веранде и прислушивается ... Переутомился. И Иззи нет ... Сегодня Арон такой странный. Вдруг забеспокоился. Всегда такой спокойный, равнодушный. И Женя этот чуть с ума не свёл. И про волков болтают оба чёрт те что. А сами и в глаза-то не видали. Дед ... что Арон знает ... слышал звон.

... по семейным преданиям был март. Сырой пронизывающий ветер врывался в открытую форточку. Большой обеденный стол, уставленный тарелками с холодцом и печёными сладостями, был накрыт сверху вышитыми полотенцами – ждали деда с ярмарки. Рувим и совсем ещё крошечная Фаня по очереди заглядывали в гостиную, но взрослые прогоняли детей из холодной комнаты. Очевидцы рассказывали потом, что дед проехал на волке всю Перевозную улицу, одаривая встречных прохожих ликующей улыбкой.

– Эй, вы! – кричал он, – смотрите, Лэйб Левин едет верхом на волке!

Когда он въехал к себе во двор, за ним уже следовала толпа изумлённых зевак. Виданное ли дело – верхом на волке!

– Смотрите! – кричали из толпы, – матёрый!

– Он хотел меня загрызть, – хвастал дед, – прямо из кустов на переправе прыгнул, да не тут-то было!

Руки деда крепко сжимали волчье горло.

– Дети, смотрите, – кричал дед, – это настоящий волк!

– Осторожнее, – донеслось из толпы, – его надо связать.

Все Левины высыпали на крыльцо. Рувим запомнил – на рыхлом мартовском снегу, рядом с сапогами деда, волчья лапы и пригнутая руками деда волчья морда ...

Дед перекидывает одну ногу и говорит с торжествующей улыбкой:

– Смотри, Рувим ...

Внезапно поскользнувшись, он теряет равновесие – и вот уже лежит с перекусанным горлом, большой, громоздкий, в распахнутом полушубке.

А рядом волк. Ощерившийся зверь с холодным, спокойным взглядом. Толпа глухо ухнула и расступилась перед хищником. Никто не успел и слова сказать, а волк уже бежал по Перевозной улице в сторону Свислочи.

И вдруг прорвало: закричали, заохали женщины, мужчины побежали вслед за зверем.

Но было уже поздно, мёртвый дед лежал посередине двора с застывшим на лице недоуменным выражением.

В сумеречном воздухе лужа крови казалась чёрной ...

ИСААК

*Дума горбуна любого
Менее мрачна,
Если где-то он другого
Видит горбуна.
(Еврейская народная песня)*

Ильдар выставляет на стол две бутылки вина.

– Музыка у вас имеется? – спрашивает он у рослой пионервожатой Веры.

– Конечно, Ильдарчик, только здесь нельзя на полную мощность – детки уже спят.

Вера порывисто обнимает Ильдара, её блестящие длинные волосы вспыхивают в полумраке комнаты.

– А где твоя подружка? – Ильдар заговорщицки подмигивает Изе.

– Придёт, не волнуйтесь.

– Может, пока примем? – Ильдар разливает по стаканам.

На закуску сардины в томате, ржаной хлеб, малосольные огурчики. После первой же дозы Изя сильно хмелеет. Берёт какую-то странную коричневую сигарету, затягивается и ... плывёт в тёплом, ласковом полумраке. Немного вина, ещё одна затяжка. Смеющиеся лица Ильдара и Веры то надвигаются на него, то удаляются в покачивающемся пространстве. Ах, как ему хорошо и покойно так вот молчать и нежиться на мягких волнах.

Когда перед хмельным взором Изя возникает лицо Инны, он протестующе бормочет: «Не надо ... никого не надо ... всё хорошо ...» И закрывается руками.

– Старик, да ты прилетай назад, – смеётся Ильдар, – это же неприлично, познакомься с девушкой.

– Мы знакомы, – говорит Инна и садится рядом с Изей.

– Ах да, я совсем забыл, – продолжает гоготать Ильдар, – с тебя штрафная, Иннуля!

Ильдар наливает в пустой стакан вина и придвигает его к Инне. Изя видит женскую руку, поднимающую стакан и неожиданно запевает на мотив известного шлягера: «Иннуля, Иннуля, Иннуля, тара-тара-тара-тара ...»

Он пытается отогнать песней нахлынувшее внезапно видение волчьего лика. Оно налетело на него со страшной скоростью ощущением разбивающегося в осколки льда. И тягучей болью от всего того неведомого, что надвигалось на него в последнее время.

– Старик, тебе что, плохо? – участливый голос Ильдара. – Его надо на свежий воздух.

– Нет! – ревет Изя и сбрасывает с плеча руку приятеля, – мне не плохо! Мне хорошо! И у меня есть тост, наливай!

– Вот это, старик, дело, – одобряет Ильдар, разливая по стаканам.

– За дружбу народов! – выпаливает Изя и, набрав воздуха, залпом выпивает.

Вера хлопает в ладоши.

– Ну, я думал что-нибудь оригинальное, – разочарованно гудит Ильдар.

Изя пытается возразить ему нечто гневное, справедливое, обличающее всех на свете, но язык его уже не слушается. Повернувшись к Инне, он дотрагивается до её волос, шепчет: «Инна ...» И проваливается куда-то.

Потом он чувствует сквозь туман, что его укладывают, стаскивают с ног кеды. Он умудряется поймать руку Инны, прижимается губами к её ладони, ощущая одновременно успокоение и сладкий ужас.

... он вновь шёл по лесу. Шёл и улыбался. Наконец-то можно было обнять деревья, ощутить под пальцами шелушащуюся кору, поймать висящую на шершавой паутине хвойную иголку ... Кусты уже не расступались перед ним как прежде, он мог даже наступить на отцветшие стебли ландыша ... И ещё одно неясное, путаное открытие, что всё совпадает (что – всё!?) и соединяется, что даже первые буквы этих слов (ах, значит, слова совпадают, что ли?) одинаковы: ДетиДеревьяДетиВолкиВожатыеВолкиЛесЛюбовьЛес ... Любовь, конечно, любовь ... имена близких ему людей начинаются, как и его имя тоже на И ... Инна ... Ильдар ... Иначе быть не может, это же соединительный союз И – соединительный ... потому всё и совпадает ... Ах, как радостно ощущение могущества – он всё мог! Правда оставалась какая-то последняя преграда, подчёркивавшая его прежнюю, он это хорошо осознавал, что прежнюю, отдельность от леса ...

Проснувшись, Изя долго не может сообразить, где находится, смотрит на стены, увешанные плакатами наглядной агитации: улыбающиеся пионеры и вожатые, пионеры и вожатые ... Вспомнилось: а вожатые не спят, по столовым шухарят ...

Изя выходит из дома. Пионерский лагерь спит. Он шагает по усыпанной гравием дорожке к воротам и думает, что уже суббота наступила. И ничего не изменилось. Он как и прежде не свободен от всего. Невыносимо ... от Инны, Ильдара, отца, Арона, от всего и всех не свободен он ... и от страха, от этой ночи, от звучащей где-то вдали музыки. Он не свободен, а они, весь этот мир, от которого он так зависим и не свободен, он, этот мир – свободен от Изя. Так тяжело от несправедливости ...

Вот он идёт в ночи. Слева сосновый лес, впереди пропадаящая вдали лента дороги. Никто не заставляет его передвигать ноги, вглядываться в звёздное небо, вдыхать знобящий речной воздух. Но как бессмысленна и не нужна Изе вот т а к а я

свобода, не сопряжённая ни с чем. Да и разве это свобода, если внутри он завязан в какой-то тесный, вязкий клубок?

С реки раздаётся смех. Изя подходит к откосу и видит внизу три смутных танцующих силуэта. Они двигаются вокруг лежащего на песке красноглазого магнитофона. Оркестр Поля Мориа, отмечает про себя Изя, не в силах оторвать взгляда от магических фигур танцоров.

– Эй, это же Изя! – доносится снизу.

Мистический танец застывает на мгновение и вновь продолжается. Одна из фигур, значит, Инна ...

– Спускайся к нам! – зовёт Ильдар.

Он отделяется от девушек и поднимается навстречу Изе. Ильдар совершенно голый. Однако, Изю это не удивляет, словно танцевать ночью на волжском пляже нагим считается в порядке вещей. И потом, там Инна ... Они танцуют с Верой тоже нагие. И вновь нагота не смущает Изю.

– Старик, тебя Инна ждёт, – говорит Ильдар, – она замечательная девушка, согласен?

... видишь ли, старик, я её, по-видимому, люблю. То есть, совершенно точно, хотя она и не мой идеал женщины, понимаешь? Не мой эйдес, так сказать. У каждого из нас существует свой, не так ли? Помнишь кантовское «С нами Бог»? То есть, внутри нас. Постоянно. Так не о женщине ли речь? Ну, давай, допустим эту возможность. Не она ли предмет поклонений и веры нашей? Да, и веры тоже. Во что? В истинность и непреходящность любви. Любви к себе? Вот и сотворяем себе Бога. Свой эйдес. Как уродец Сократ, воспевавший красоту. Как глухой Бетховен – музыку, но ... впрочем, не сомневайся, в конце концов, гармония творящего и творимого должна быть нами осуществима. И тобой, и мной тоже, не сомневайся. Ибо природа неизменна, меняются лишь наши ощущения. Попробуем лишь примирить их, эти изменения. Но как? Уповать на сами ощущения? Только на них? Однако, чувства, ощущения тоже ведь могут стать

источником знания? Они, согласись, не только переменчивы, они в одинаковой же степени и приблизительны. То есть, попросту говоря, неточны. Несовершенны. Да, это так. Как, кстати, несовершенны наши души. Поверь, это маленькое, постоянно сужающееся пространство, которое мы именуем душой, такое маленькое ... Но взгляды в него – пустыня перед нами, пустыня с редкими колючими кустиками. Вот и всё, что даётся человеку от океана всемирной, вселенской истины. Ты упомянул Инну. Я люблю её, но она не мой эйдес, не мой идеал, но я её люблю – вот парадокс. Ты слышишь? Согласен, что это парадокс? И не в этом ли парадоксе гармония творящего и творимого? И какое мне дело до того, что моё чувство к ней и представление о ней несколько между собой не совпадают. И не характеризуют, – что ещё более важно, – её подлинную, истинную. Вот и доверяйся ощущениям. Так кто она, Инна? Моё знание о ней, основанное на ощущениях? Или непознанное таинство? Так сказать, торжество непознанного в облике женщины? Которая, как музыка, безгранична. Кстати, о музыке и безграничности. Как часто в музыке чувство безграничности её же, музыку, и замыкает. Впрочем, разве возможно соизмерять человека с музыкой? Ведь её, по сути, так мало, музыки ... её, по сути и нет ...

– Старик, тебя Инна ждёт, – повторяет Ильдар.

Они спускаются к девушкам, и Изя, удивляясь собственной смелости, обнимает их за плечи. Инна склоняет ему на плечо голову. От сырых её волос пахнет рекой и травами. Он глубоко вдыхает и начинает двигаться в такт музыки. Но тут девушки выскальзывают со смехом из его рук и бросаются к реке. За ними Ильдар.

– Старик, догоняй нас! – кричит он.

Изя сбрасывает с себя одежду, и ветер с реки обдувает его голое тело, словно приобщая к некоей изначальности жизни, но не его лишь, отдельно взятой, а всеобщей жизни существ земных: деревьев, людей, рек, цветов, птиц ... Изя остро ощу-

щает эту воображаемую, желанную слитность со всем, что его окружает.

Голоса зовут его с реки, и он, сбросив оцепенение, разбежится и ныряет в чёрную гладь. Затем долго, насколько хватает дыхания, плывёт под водой. Вынырнув, прислушивается – голоса теперь у берега. Он плывёт назад, однако, голоса всё время странно и неуловимо перемещаются. Ощувив дно под ногами, он скользит по илистой поверхности к берегу, и тут река будто раскрывается с тихим плеском и выбрасывает к его ногам Инну. Он поднимает её на руки, не ощущая тяжести, и она обвивает его всем телом, невесомая и скользкая. Они сливаются в единое целое, обладая не только друг другом, но и этой ночью, лунной дорожкой на реке, прозрачным хороводом прибрежных сосен. И нет в звенящей первозданности этих мгновений никаких границ, беспредельность несет их на волнах, засасывает в участливое прибежище темноты ...

Потом они все вместе ели на берегу батон, разламывая его на куски, и запивали водой из чайника – двое мужчин и двое женщин. Была ночь, была змеившаяся по чёрной воде лунная дорожка, был ветер, пробегавший по их голым спинам и поднимавшийся к самым верхушкам сосен, смех, понимающие взгляды, музыка из кассетника ... И обманчивое чувство освобождения. Оно растопляло недоверчивость Изя. Неведомое ему прежде ощущение сопричастности и единства он принимал за освобождение. Полнота обладания жизнью, подаренная ему этой ночью неведомо кем, вроде бы требовала и от него такого же всеобъемлющего понимания.

И щедрости. Или прощения? Изя оказался к нему готов, отказавшись в одно мгновение с восторженной благодатью от какого бы то ни было права на что-либо, или на кого-либо. И на Инну в первую очередь. Не ревновал нисколько, когда видел, как прикасаются тесно друг к другу в танце Инна и Ильдар. И даже, когда они вновь пошли купаться, и Ильдар с Инной куда-то исчезли, это не омрачило его умиленной

участливости. Он поплыл в темноту, уверенный в том, что река – она была с ним заодно! – вновь расступится и подарит ему скользкое чудо.

И он не обманулся в своих ожиданиях. Всё было: и невестомость, и беспредельность. Однако, в самые последние, сладостные мгновенья он понял, что держит в объятиях Веру, а не Инну. И что – ничего не изменилось.

Изе захотелось умереть. Да, умереть захотелось Изе Левину, чтобы не лишиться обрётённого освобождения. Он, плача, целовал Веру, словно бы прощаясь, и не заметил, как подплыла Инна. Она улыбалась.

Инна обняла их обоих, и тут Изя внезапно увидел близко от себя голову телёнка с вращающимся рогом. Он в ужасе дотронулся до рога. Инна, вернее телёнок с чертами Инны, взял руку Изю и провёл по его голове – пальцы нащупали рог. Но ужас уже пропал, улетучился.

Какая разница, если свободен ... и они все вместе, едины ... сообща ... Они выходят из воды, и их встречает Ильдар. Он – волк. Самый настоящий, с поднимающейся шерстью на загривке, рослый, красивый волк с леденящим взглядом серых внимательных глаз ...

Изя открывает глаза. На стенах плакаты «Спорт-залог здоровья!» Что это? Ещё один: «ГТО – первая ступенька к мировому рекорду».

– Ну что, старик, очнулся? – за столом сидит и пьёт чай Ильдар, свежий и красивый. – Здорово мы вчера поддали?

– Сколько времени? – спрашивает Изя и не узнаёт своего голоса.

– Скоро уже десять. Пора трогать.

– А где ... – Изя оглядывает комнату: две койки, шкаф, раскиданные полотенца на стульях.

– Девчонки? – смеётся Ильдар, – они уже два часа как вкалывают с пионерами. Вечером увидимся, если захочешь.

Расспросить бы Ильдара о прошедшей ночи, но всё настолько невероятно, что лучше промолчать.

– Сейчас бы неплохо мясца на завтрак, а? – мечтательно произносит Ильдар.

Значит, всё приснилось. Солнце печёт в спину юношам. Один – высокий, со спортивной фигурой, шагает, высоко подняв голову. Другой – небольшого роста, горбун, старается идти в ногу с первым, но это ему не удаётся.

ДАСЯ

*Я вышла на крылечко,
Чтоб стало веселей ...
(Еврейская народная песня)*

Суббота! Раннее утро. Окна в дачных домиках ещё занавешены. Пожалуй, на всей базе отдыха одна Дася Горелик не спит, хлопочет по хозяйству. Она любит предрассветные часы, когда так приветливо оживает лес вокруг. Даже в плохую погоду день нарождается всегда с надеждой: начинают петь птицы, подлетают близко к домикам поползни, дятлы, а потом и белки просыпаются, норовят попить из пожарной бочки ...

Дася принималась за приготовление завтрака, откидывала творог для Фани, притаскивала воды и перестирывала накопившееся за день грязное бельё. Собственно, на даче она готовила на всю родню Гореликов, Левиных и Шерстюков. Рувим приезжал только на выходные, а Изя, хоть и спал в своём домике, но питался вместе со всеми. Разве могла Дася позволить, чтобы он перебивался всухомятку.

В выходные дни работы, конечно, прибавлялось, часто

приезжали Илья с Галей, но это радовало Дасю. Она любила, когда вся их вновь разросшаяся семья собиралась вместе за обедом. Подавая на стол или хлопоча на кухне, она не без гордости отмечала, что, несмотря ни на что, они остаются семьёй, содружеством родных людей.

И она, Дася Горелик, ещё всем им нужна: и Рувиму, и Фане, и Арону, и детям. Нужна, конечно, в мелочах, – постирать, сварить еду, подать лекарство, – но она не умела разграничивать малое от большого. Гораздо важнее было для неё ощущать свою необходимость всем этим родным людям. И даже если огорчало её иногда отсутствие ответного внимания и чуткости, то ненадолго, и не всерьёз.

В такие минуты она вспоминала маму, её вечно хлопочущие руки, никогда не лежавшие в праздной лености на коленях. Если мама садилась отдыхать, руки её были заняты штопкой или шитьём – это и был отдых. Что и говорить, семья у них была тогда побольше Дасиной, плюс своё хозяйство, живность, сад, огород. Правда, с пятницы на субботу всё стихало в доме, даже мама ничего не делала – шаббад ...

У Даси же суббота самый рабочий день – все съезжаются. Она уже с четверга начинала ломать голову о субботнем обеде. Сегодня она налепит пельменей. Правда, Арон их не ест, зато другие обожают пельмени. Ничего, она Арону сварит отдельно что-нибудь скоромное.

Дася улыбнулась. Она подумала про себя совсем по-русски – скоромное. Кошерное, говорят у евреев. Вот бы рассердился папа, если бы услышал, как его дети говорят, как думают, как живут. Одним Ароном остался бы, наверное, доволен.

Арон ест только кошерное, молится, отмечает все праздники. Никто об этом не знает, даже Фаня с Рувимом. Зачем им знать, только бы посмеялись над ним. Пусть каждый человек живёт по своему убеждению.

Но и гордился бы папа детьми своими тоже. Вон Рувим – заместитель директора завода. Фаня до болезни входила в адвокатскую городскую коллегия. Даже она сама, Дася, учитель, да еще орденосец ...

Мясо вроде бы не жилистое, но плохо прокручивается. Надо попросить Арона наточить мясорубку, ножи совсем затупились.

– Давайте подсоблю, соседка.

Дася вздрогнула и обернулась: перед ней стоял улыбающийся Николаев.

– Ох, испугали вы меня, Валентин Иванович! Умеее вы незаметно подкрадываться.

– Не подкрадываться, а неслышно ходить. Всё-таки бывший партизан. Давайте, помогу ...

Работа закипела. Николаев крутил весело. Дасе казалось, что у него никогда не бывает плохого настроения. И это при ненормальном сыне и без жены, которая, как говорили, сбежала от мужа с сыном в неизвестном направлении.

– Что-то вы на рыбалку перестали ходить, Валентин Иванович.

– Это верно, Дася Михайловна. А что, может вам рыбки надо? Так я съезжу, – с готовностью предложил он, обнажив в улыбке свои крупные зубы.

– Ну, из-за меня не надо. Я просто думала, что вы сами собирались, так я бы вам тогда тоже заказала на свою долю.

– А что, молодёжь приедет сегодня?

– Собирались.

– Ясно. С мясом всё. Дайте-ка руки обо что-нибудь обтереть. Потопал. Пожалуй, съезжу, порыбалу. Ветерок-то стих, похоже?

Николаев ушёл.

Повезло с одним соседом. Это вам не Веселовские, соседи с другой стороны. Вроде бы и неплохие люди, а сердце к ним не лежит. Вот и еврей, а чужие. Не променяешь одного Николаева на десять Веселовских. Ох, какие глупости! Дася устыдилась собственных мыслей и покраснела. Не всё ли равно – еврей, русский, чувашин. Разве до войны об этом вспоминали? Однажды только всколыхнулось их местечко, когда Фаня сбежала со Степаном – тогда вдруг все вспомнили,

что люди отличаются ещё и по национальным признакам.

Вот Изя упрекает старшее поколение, что мы не научили своих детей родному языку. Но разве он был им нужен? Ведь еврейских школ после войны не стало, театры, газеты тоже позакрывали. В миллионном городе до сих пор нет ни одной синагоги. Да и зачем им этот умирающий диалект, умирающие слова.

Шейхед – кто знает это слово? Кто такой был *шейхед*? Разве сможешь рассказать детям о старике Переле, важно шествовавшем каждый день с Базарной площади к синагоге. О, это был аристократ! Как почтительно кланялись ему все евреи. А Перель? Он едва лишь кивал в ответ. Кто он был – раввин? Нет, но второй человек после раввина. Значит доктор? Учитель? Мудрец, наконец? И то, и другое, и третье – это был резник мяса. Это был *шейхед*! Нужен кому-то этот пропавший из жизни резник? Нужно теперь это слово?

Или *аишвиве-бохер*. Что скажет им это слово? Поймут ли, что стать *аишвиве-бохер* для всех еврейских мальчиков считалось очень почётно? Ещё бы, с раннего детства быть при синагоге. Изучать Тору ... Нет, не нужно это детям. Ведь даже нам уже не было нужно. Мы жили школой, комсомолом, совхозными урожаями. А всё это ... просто мило вспоминать. Странно, но иногда ей хотелось обо всём рассказать ... Николаеву. И не просто рассказать, а вернуться, вновь пожить в том времени. И он чтобы удивлялся ... Чепуха, конечно. Да, мы родом оттуда, из своего детства, ничего не вычеркнешь ...

Ещё Изя затвердил, что мы стали никем. Как это так, мы живём, дышим, нужны ещё своим близким. Просто мы стали другими. Как тут не станешь другим, если за плечами Рувима и фронт, и тюрьма, и смерть Цили. Бедный, бедный Рувим ... А какой это был весельчак! Девушки провожали его влюблёнными глазами: комсомольский секретарь, первый силач местечка.

Однажды Рувим ... Ох, сколько с ним всяких случаев связано! Но помнятся всё больше смешные.

Вот хотя бы скандал с дядей Мендл. О, этот Мендл, сухой, жилистый старик, впавший в детство! Он приходил к папе и начинал бурно обсуждать события тридцатилетней давности, как если бы это случилось вчера.

– Скажи, Мойша, не перешли ли ночью японцы границу? – спрашивал он папу, воевавшего когда-то на русско-японской войне.

– Нет, – успокаивал папа, – этого не допустят никогда.

Так вот, Рувим подсыпал однажды в сигарку дяди Мендл соли для смеха. Мендл плакал от обиды и говорил:

– Ноги моей больше не будет в вашем доме!

Ох, и попало тогда Рувиму от папы. Хоть и любил он своего единственного сына безмерно, гордился левинской статью, хваткой, умом.

Дядя Мендл умер зимой. Дася хорошо помнит, как все взрослые в местечке ходили к заболевшему одинокому Менделу по ночам дежурить. И как однажды утром, когда дети ещё лежали в постелях, раскрылась дверь, вошёл отец с охалкой пахнувших снегом берёзовых поленьев, молча затопил печь и заплакал.

Дася была послана с траурной вестью к тётке Ривке. О, это совсем было не простое занятие – нанести визит тётке Ривке. Дася её очень боялась. Да что там, её все побаивались. Она считалась богатой, ведь у неё имелась лавка, в которой торговал её муж, щуплый и глуповатый Берл. Он приходился Ривке вдобавок ещё и родным дядей. И, как говорили взрослые, она его не любила и вышла за него замуж по настоянию родителей – это было, по рассказам, страшное время погромов. Дети у них рождались и умирали. Горе сделало Ривке замкнутой и властной. Анцл, единственный оставшийся в живых сын, рос болезненным, заикался, и характером напоминал отца.

Когда осанистая фигура тётки Ривке появлялась в доме Левиных, все невольно подтягивались, начинали говорить тише, дети переставали шалить и старались убежать на улицу. Только Фаня нисколько не робела перед тёткой Ривке. Да и перед кем она вообще робела, огонь и только – верхом ездила не хуже парней, даже воровала на спор яблоки из чужого сада. И вот Фаня ломает ногу, причём в трёх местах. Так тётка Ривке сама приглашает для своей любимицы доктора Файнбика.

О, эта отдельная история с доктором Файнбиком. Задолго до Фаниного перелома между Файнбиком и Мойшей Левиным, их отцом, произошла ссора. Ссора из-за коровы. Взрослые рассказывали, что Файнбик продал Мойше Левину корову. А та оказалась больная. Ну, ясное дело, покупатель потребовал вернуть уплаченные за корову деньги, а саму корову забрать обратно. Так Файнбик заартачился, и дело дошло до суда. Там, слава богу, постановили в пользу Левиных.

И вот, можно себе представить, Фаня ломает ногу, а доктор в местечке один – Файнбик. И к нему папа не может обратиться. Тогда дело в свои руки берёт тётка Ривке и отвозит больную к доктору Файнбику. Тот молча накладывает гипс, то есть выполняет свои прямые обязанности. Но злые языки в тот же вечер доносят, что едва дочь Мойши Левина покинула вместе с тёткой Ривке приёмную врача, Файнбик якобы произнёс:

– Ну, попался он в мои руки.

Это было совсем с его стороны глупо, ведь сломал ногу не Мойша Левин, а его дочь. И всё же, надо было такому случиться, – по вине Файнбика или нет, – нога у Фани не срасталась наверное год. Пока отчаявшийся отец не отвёз её в Минск, где ей наложили гипс по-другому. Правда, для этого врачам пришлось снова ломать Фане ногу.

А после пожара? Если бы не тётка Ривке, Левиным пришлось бы туго. Сам пожар Дася помнила смутно, ей было всего четыре года. Помнила только, что её перекинули через забор на лежавшие горой перины и подушки. Подушки, да одеяла,

больше ничего Левиным не удалось из огня спасти. Ах, если бы папа не закрыл тогда ворота ... Но разве он хотел дурного? Да, весь дом сгорел. Едва начался пожар на другом конце Перевозной, папа запер ворота, будто они могли бы преградить путь огню, и побежал помогать тушить пожар к соседям. А замки папины, надо сказать были сделаны на совесть. В общем, когда огонь перекинулся на их дом, во двор попасть никто не мог, лезли через забор, вытаскивали спящих детей и ... постели. А ключи от ворот папа потерял в панике. Словом то, что можно было перебросить через забор, то и спасли.

Дася сидела на руках у мамы, – младшая и самая послушная дочка, – и смотрела на полыхавший дом. Сухое дерево сильно трещало, пламя аж гудело, обдавая жаром. Но было совсем не страшно, потому что вокруг сновало много людей, мальчишки весело кричали, прыгали, пытались добросить до огня камни и палки ...

Пожар совпал с неурожайным годом, начался голод. Ко всему прочему сильно заболел папа. Врачи запретили ему есть ржаной хлеб, и мама посылала девочек к тётё Ривке за пшеничной мукой. Сёстры не хотели идти, так как тётя Ривке называла их дикарками – ни одна, ни другая не могли в её присутствии вымолвить ни слова. Это уже потом, почувствовав расположение тётя Ривке, Фаня осмелела. А вначале, когда тётя Ривке приютила после пожара Левиных в своём доме, где они занимали несколько месяцев зал, девочки робели в непривычной обстановке. В комнатах стояла красная мебель, во дворе высились многочисленные постройки, бродила всяческая живность, сновали чужие люди – тётя Ривке держала работников.

Позднее, когда они перебрались в заново отстроенную отцом половину дома, в пахнувшие некрашеными досками две комнаты, чувство зависимости от тётя Ривке уже не так угнетало, как поначалу, когда они с Фаней вынуждены были идти на поклон к Ривке за унижительным, как им казалось, подаванием. Завидев племянниц с самодельными мешочками

для муки, тётя Ривке, ни слова не говоря, забирала мешочки, и через некоторое время выносила их наполненными.

Могли ли девочки себе представить, что всего через несколько лет всё изменится, и властная гордячка тётя Ривке будет сидеть на кухне у Левиных и плакать. А по дому шёпотом поползёт страшное слово *лишенцы*.

Ривке появилась на рассвете с заспанным Анцлом и сказала с порога дрогнувшим голосом: «Берла забрали». На ней было какое-то невзрачное серое платье, на голове платок. Забрали ... куда забрали, зачем? Дася понять не могла, но в этом слове таилась угроза не только для Берла, которого *уже* забрали, но и для тех, кого *ещё* не забрали, то есть могли бы *ещё* ... Так чувствовала маленькая Дася.

По целым дням тётя Ривке просиживала у окна, дожидаясь (по рассказам, нелюбимого) Берла. Его выпустили только через месяц, чтобы он скончался у них в доме на следующий день. А тётю Ривке с Анцлом выслали из Руховичей как *лишенцев*. Прощаясь, она оглядела всех насмешливым гордым взглядом и сказала:

– Не жалеите меня. Как бы потом мне не позавидовали. Дай бог, конечно, чтобы этого не случилось.

Ещё несколько лет спустя, уже во время войны, в далёких Чебоксарах, тётя Ривке рассказала Дасе, что тогда её несколько раз тоже вызывали в сельсовет, где содержали под стражей Берла, и в присутствии каких-то представителей из центра, допрашивали. Уверяли, что Берл во всём сознался. В чём именно? Ты сама должна нам обо всём рассказать, напирал участковый Шварцман. Но что она могла этому рыжему Шварцману рассказать? Что она не вредитель и не английская шпионка? Разве Шварцман сам не знал этого? Берлу отбили почки. Он уже был не жилец, потому его и выпустили тогда. А их с Анцлом, как лиц нетрудового происхождения, лишили всего имущества, права голосования и работы на го-

сударственной службе. А что я могла делать своими тонкими аристократическими пальчиками? Ничего, пошла уборщицей на вокзал ...

Дася встретила её, если это можно было назвать встречей, в Чебоксарах. Тётя Ривке лежала на тротуаре в голодном обмороке. Надо было такому случиться, что именно в это время проходила мимо Дася Горелик с полуторагодовалым Илюшей. Она перевезла тётю Ривке к себе, а потом долго выхаживала истощённую Ривке, которая почти что уже ни на что не реагировала. Анцл погиб под Москвой. Она держала похоронку постоянно у себя на груди, и не разрешала себя раздевать, даже чтобы помыться. Она словно бы высыхала с каждым днём, превратившись в тоненькую девочку с морщинистым лицом и застывшими серыми глазами. Не причинявшая никому хлопот, тихая, незаметная. Так и умерла, тихо, во сне.

Перевидали всякого в жизни, как тут не измениться. Эх, Изя, ты тоже изменишься с годами. Тогда, может быть, поймешь, что людям надо многое прощать. Изначально все люди добрые. Злыми не рождаются.

Вот и Арон встал. Сколько это времени? Наверное, пора и Фаню кормить.

– Арон, Рувим приехал, ты видишь?

– Да, я его видел вчера. Он с Соней говорил.

– Что же ты молчишь? И что?

– А что говорить, сегодня регистрация.

– Сегодня? – Дася почувствовала слабость в ногах и ухватила рукой за дерево.

– Они все придут потом сюда, все Березины ... с нашими детьми.

– Как же так? Фане ничего не сказали. Это её убьёт ... Разве нельзя было подождать и сделать всё по-человечески?

Арон пожал плечами, взял пустые вёдра и отправился за водой. Какой же он бывает странный. Ведь Дася знает, что он добрый, но часто не может его понять. Он ведёт себя так, словно ему всё равно.

Что же делать? Надо готовить что-то к столу, неизвестно, сколько людей приедет. Ах, что это я о еде, ведь главное – Фаня. Кто ей скажет? Не слышала ли она наш разговор с Ароном?

Дася осторожно заглядывает в окно к Фане. Глаза у неё открыты. Лучше сразу всё сказать, пока она ещё лежит. Дася вошла в дом, приготовила лекарство, еду и отправилась в комнату к сестре. Кормя её жиденькой манной кашей, она, как и всегда, рассказывала ей новости:

– Ну вот, Фанечка, ты сегодня выглядишь, тьфу-тьфу, гораздо лучше. Через неделю снова привезём к тебе специалиста. Рувим договорился с каким-то профессором. Нравится тебе кашка? Жиденькая и совсем без сахара. Ничего, подлечишься, тогда перейдём от кашки к совсем другим блюдам, никуда они от нас не денутся. Рувим приехал. Отсыпается. У нас ещё не появлялся. Пусть выспится, он ведь работает на износ, совсем, как молодой ... Так, теперь лекарство. Умничка! Из-за Изьки у него тоже переживаний хватает. Да, детки нам всем хлопоты доставляют. Они не такие уж и плохие, наши дети. Только нам их понять надо. Вот и мой Илья. Так рано женился, совсем ещё мальчишка. Но ничего, живут неплохо. Хоть Галя и не еврейка. Да ты и без меня знаешь, что это не главное. Лишь бы они с Илюшей ладили. Правда? Вон Сонечка твоя тоже выйдет замуж, и ты будешь радоваться, если её муж любить её будет. Фаня, а ты хочешь, чтобы Соня замуж вышла? Ей уже пора, правда? Ты моргнула, значит, хотела бы, так я поняла? Конечно, зачем ей в девках засиживаться, она у нас как цветочек, красавица ... А знаешь, Фаня, ты только не расстраивайся, Соня выходит замуж ... да, представь себе. Скрывала от всех, чтобы тебя не волновать. Мы сами только

что узнали, вот боимся, как ты к этому отнесёшься? Ты рада? Я так и знала, Фанечка, родная моя. Это счастье. Он из хорошей семьи, да ты может и видела его, это родной брат Илюшиной Гали, представляешь? Виктор, офицер, положительный такой, вежливый, тридцать лет. Разница в возрасте, конечно, но ничего. Вот мы с Ароном прожили вместе, дай бог каждому ... Ладно уж, скажу, всё до конца – регистрация сегодня. Ты плачешь? Расстроилась? От радости? Ну, тогда можно. Я тебя сейчас одену в светлое платье, причешу, и предстанешь перед гостями нарядной и красивой. Всё-таки, ты как была, так и осталась самой красивой женщиной из тех, кого я знала в жизни. И возраст с тобой ничего не делает. Да, Фанечка, жизнь летит вперёд, детки наши женятся по очереди. Вот и Сонечка. Сейчас тоже начну реветь. Арон! Арон, иди сюда! Помоги Фаню на воздух вынести. Она уже всё знает! Арон, ты представляешь, она нисколько не расстроилась ...

Вдвоём они посадили Фаню в кресло и вместе с креслом вынесли из дома. На базе ветеранов труда, в дачном посёлке на берегу Волги начинался новый день.

ИЛЬЯ

*Еду дни и целые недели,
Но с конями мне не совладать:
Белый конь плетётся еле-еле,
Чёрный рвётся так, что не сдержать.
(Еврейская народная песня)*

Салатного цвета «Жигули» быстро набирали скорость. Молодожёны сидели рядом с Ильёй на заднем сидении. Рука младшего Березина лежала на плече Сони Шерстюк. Впрочем, уже не Шерстюк, а Березиной. Тёмные очки в модной

оправе скрывали её глаза. Она сидела, не опираясь на спинку сидения и чуть наклонившись вперёд, отчего впечатление было такое, будто жених не обнимает невесту, а пытается лишь до неё дотянуться.

Всё это раздражало Илью. Одни выкрутасы и больше ни чего: то, видите ли, ей так, то эдак. Что она, что Изька – родня подобралась один к одному. Изька стóит, конечно, десятерых. Не говоря уже о Мишке. Тот взял и, – полный аут, – укатил в Израиль. Ему-то хоть бы что, прекрасно там устроился. Он вообще живчик такой, прыныра. А мы тут – гори синим пламенем. Сколько раз ему ни говорили, чтобы он и о других подумал – куда там, ему на всех наплевать. Тётю Фаню чуть в могилу не упёк, а всё же своего добился. Скотина, а не родственник!

Зато теперь все знают, что у него братец смотался. Тесть, чуть что, так притыкает: «А может тебе тоже в Израиль двинуть?» Причём, со своей ухмылкой презрительной, а Израиль произносит ещё и специально с ударением на последний слог, да растягивает – Израи-иль.

Да, тесть его не очень жалует. Вон, своему Витьке на свадьбу новые эти «Жигули» подарил, а им лишь ковёр хреновый. Когда Галка заикнулась о машине – не в подарок, а помочь достать – разъяснил популярно:

– Твоего Горелика ещё проверить надо, может он в Израиль убежит, как братец.

Сказал, как отрезал. Это у него чётко, без еврейских шуточек, колебаний и прочей сентиментальщины.

Сонька ещё не понимает, как ей повезло. В начале ломалась полгода, разговаривала с Витькой высокомерно, высмеивала его. А он втюрился, болван, без оглядки, всё сносил, согласно улыбался. Куда только подевалась его раскованность – прямо агнец божий и только.

Да, в этой истории ничего понять не возможно. А Соньку вдруг будто подменили – пять дней назад вдруг согласилась, да ещё торопить стала.

Ну, Березиным два раза говорить не надо. Включили в ход свои связи и на ближайшую субботу добились регистрации – как пожелала королева.

Но Сонька была бы не из их родни, если бы вновь не начала выкамаривать. И где – в ЗАГСе! Принялась плакать, словно её силком на виселицу волокут. Вот, штука! И сейчас сидит, как вкопанная, напыжилась, отвечает только – да, нет ...

Всё-таки справедливости нет. Его Галка просто красавица по сравнению с Сонькой. И дочь ведь, не кто-нибудь, а папочка-Березин с ней нисколько не считается, дурой называет. Зато перед Сонькой разыгрывает роль великосветского графа. И это перед еврейкой! Илья ведь знает, что он евреев терпеть не может. Вспомнить хотя бы, что он с Галкой из-за их женитьбы не желал полтора года общаться, а потом швырнул им этот монгольский ковёр, будто милостыню. Да и стал принимать их у себя в доме лишь после того, как узнал, что Илья по крови и не еврей вовсе, что он лишь приёмный сын евреев.

Да, Галка – молодец, не побоялась тогда отцовского гнева, поставила перед фактом и всё. Стерпится – слюбится. Родная всё же. Конечно, если бы они не учились в другом городе, то, скорее всего, их роман бы закончился отцовским запретительным стоп-кадром. А на воле закружило голову Березинской дочке, не привыкшей себе ни в чём отказывать. Так пришёлся ей по душе приятель её брата, встретившийся случайно в кафе «Ли́ра», что забыла напрочь отцовскую азбуку и пошла под венец с рыжим евреем по паспорту – Ильёй Гореликом.

Соня, разумеется, не дурнушка. Но её красота слишком национально выражена – чёрные большие глаза, густые брови, нос с горбинкой, вьющиеся волосы. Внешность, так сказать, во всех смыслах типичная ... Илье нравились больше блондинки типа его Галки, с маленьким носом, короткой модной стрижкой, длинными стройными ногами и пышным бюстом.

Да и вообще, с Березиными Илье было как-то удобнее. Причём, со всеми Березиными – они казались *настоящими* и определяли для него нормальную жизнедеятельность вокруг. Нормальную – без выпендрёжа – и этим всё сказано.

А за свою родню Илье всегда было стыдно. Особенно перед Березиными: за этот вечно извиняющийся заискивающий псевдоинтеллигентский тон, за акцент, который так и не вытравился в течение шести десятков лет проживания среди русских. За их русские народные песни, которые они, демонстрируя свою, так сказать, интернациональную сущность, пели с показным удовольствием в компаниях.

Да, это было сплошным притворством. Уж Илья то знал цену подобным песнопениям и гнилому братанию со всеми. Ох, сколько наслушался он разговоров о еврейской проблеме, о некоей особенной роли евреев. Зачем это: среди своих одно, а на людях другое? Если тебя унижают, так не подпевай общему хору. Пой свою песенку. Лично он страдал не столько от унижений, сколько от этой ненужной ему родственной общности.

Вот и сегодня предстоит пытка. Мать будет выспрашивать, улучив момент, не обижают ли его Березины, не антисемиты ли они, а он станет раздражённо грубить. На людях же мать будет притворно подкладывать в Галкину тарелку угощений, обнимать её, робко поглядывая на сына – сердится ли ещё?

Отец же, как всегда, равнодушно отмолчится, не произнеся за вечер и пяти слов. Дядя Рувим ... это зависит от ситуации. Рядом с Березиными он ведёт себя очень странно: куда девается его местечковый юмор и замдиректорская спесь? То он хихикает невпопад, то смотрит как-то исподлобья. Да ну его к чёрту! Ну их всех! Надо держаться ближе к Березиным, поменять фамилию, как советует тесть, а то фамилия Горелик сразу же вызывает у людей недоверие. Так и не двинешься дальше старшего инженера. А ведь у него хватка есть – это

тесть признал, особенно после того, как Илья достал ему стройматериалов по бросовой цене. Правда, для этого пришлось поунижаться перед отцом из-за денег, чтобы сунуть кое-кому в лапу, но тесть в детали не вдавался. Он похвалил за результат.

А отец – кулёк, конечно. Башлей куча, а родному (хоть Илья и знает, что он приёмный) сыну тоже не желает помочь финансово с машиной. Тут они с тестем будто спелись.

Хотя, на ремонте башмаков отец наверняка целое состояние сколотил. Первое время стыдно было признаться Галке, что его отец простой сапожник. Да уж, её бате он не чета, тот полковник МВД в отставке.

Илья смотрел на литой затылок тестя, жесткие оттопыренные, будто двигающиеся уши, и думал, что Витька в него, такой же сбитый, крупный мастодонт с оттопыренными лопухами. Только волосы сын зачёсывает не как отец назад, а набок, чтобы прикрыть уже образовавшиеся залысины.

По торжественному случаю, тесть машину вёл сам, лениво держа свои огромные ручищи на баранке.

– Ну, как там, молодожёны, не укачивает? – хмыкнул он, поглядывая в зеркало. – Ты чего, Соня, напряглась? Расслабься, машина то теперь твоя, собственная, откинься на сиденье, привыкай пользоваться. Мы, Березины, живём в полную грудь, усваиваешь? С сегодняшнего дня ты наша, точно, Илья?

– Точно, Геннадий Васильевич, – поддержал Илья.

– Ты напитки в багажник положил, Илья?

– И напитки, и рыбу с икрой, а мясо Нина Викторовна должна прямо из столовой сама привезти.

– Ну и ладненько.

– Пап! Тут же ограничение скорости сорок! – воскликнула Галя, сидевшая впереди с отцом.

– Березины не ездят сорок, – усмехнулся Березин.

– Вон пост ГАИ, остановят! – Галя испуганно обернулась на Илью.

И в самом деле, гаишник вышел к обочине дороги, сделал им знак остановиться. Не снижая скорости, Березин проехал мимо.

– Березины не останавливаются по каждому случаю, – повторил старший Березин.

– Пап, он номер записывает, – сказала Галя.

– Не суетись, ты, Галка, пусть записывает, – подал, наконец, голос жених.

– Геннадий Васильевич, он за нами поехал, – сказал Илья.

– Вижу, – ответил Березин, – придётся объяснить сержантику, что к чему.

Резко затормозив, машина встала у обочины. С двух сторон дороги зеленели ровные ряды берёзовых посадок. Мотоцикл ГАИ подъехал через полминуты. С ленцой в походке, поглядывая на проезжающие машины, сержант направился к салатному «Жигули».

– Эй, сержант, нельзя ли побыстрее, – заметил Березин, – а то я тороплюсь.

С лица сержанта сползла флегматичная усмешка.

– Вы слишком торопитесь, гражданин, – отчеканил он, – предъявите ваши документы.

– Ты вот что, сынок, сначала представься, как полагаются по уставу, – ласково пожурил Березин.

– Сержант ГАИ Соловьёв, прошу документы! – лицо сержанта побледнело.

– Ну, так вот, сержант, ты уж нас больше не преследуй, ладно? Я этого не люблю, – так же ласково продолжал Березин, – моя фамилия Березин, документы тебе ни к чему, понял? Бе-ре-зин. Номер ты мой записал? Будь здоров!

И не дав опомниться обескураженному сержанту, «Жигули» резко тронулись с места. Вскоре дорога пошла вдоль Волги по сосновому лесу. В открывавшиеся прогалины просматривалась река, поблёскивая вдалеке на солнце.

- Здорово вы его, Геннадий Васильевич! – восхитился Илья.
- Да ладно, будет об этом, – пробурчал Березин. – Ты лучше скажи, ваши знают о регистрации?
- Дядя Рувим должен был рассказать. Главное, Сониная мама ...
- Ты бы сняла уже очки, Соня, – попросил Виктор Березин.
- У меня глаза заплаканные, – сказала Соня.
- Ты, Витька, не приставай к жене, ей тёмные очки идут, – поддержал Соню Березин-старший.
- Пап, ты только очень много не пей, – робко произнесла Галя.
- Цыц, мелюзга! – ухмыльнулся Березин, – яйца курицу не учат.
- У тебя ведь печень больная, пап, – обиделась Галя, – я же о тебе беспокоюсь.
- Вот и хорошо, молодец. А то Соня может подумать, что я пьяница какой-нибудь, – сказал строго Березин и вдруг передразнил, – ты только очень много не пе-е-ей.
- Да я ... – начала плаксивым голосом Галя.
- Всё, хватит! – прервал её Березин, – нашла тему.
- Отец, а мы ночевать где будем? В город вернёмся? – спросил Виктор.
- Илья, как там у вас с лежачими местами? Дадите переночевать бедным родственникам?
- О чём разговор, Геннадий Васильевич! У нас же там два домика. Места на всех хватит.
- Слыхал, Витёк? Всем хватит. Можно было, конечно, к нам на дачу поехать, но надо уважение Сониной маме оказать. Правда, Сонечка?
- Точно, Геннадий Васильевич! – ответил за Соню Илья.
- Я ведь не тебя спрашивал, – ласково пожурил Березин.
- Всё хорошо, – сдавленным голосом произнесла Соня.
- Вот и я так думаю, – сказал Березин.

Дорога повернула к Волге. Показались голубые почти слепленные друг с другом домики базы ветеранов труда. Река

издали была бело-молочная, сливавшаяся с выгоревшим под ярким солнцем небом. Березин нажал на клаксон три раза.

– Пусть знают, – усмехнулся он, – Березины едут.

ФАНЯ

*Что прошу – сама не знаю,
Чем дышу – не понимаю.
Лишь луна одна сияет,
И она не понимает ничего.
(Еврейская народная песня)*

Вот оно, дитяtko её, кровиночка, бежит навстречу своей матери, тоненькая, воздушная, в белом платье, только ... в чёрных очках, почему она в очках?

Соня наклоняется к матери, и Фаня слышит прерывистое дыхание дочери, ощущает родной запах свежести и ветра – от Сони с детства пахло улицей, словно она, как губка, впитывала кожей солнце, дым, ветер ...

Фанины губы шепчут едва слышно: «Очки ...» Но Соня понимает, прижимается к неподвижному лицу Фани.

– Это у меня глаза заплаканные, мамуленька, потом сниму, ладно?

Она целует Фаню, но та уже смотрит на стоящего позади Сони молодого мужчину с крупным волевым лицом, худого и подтянутого. На мужа её дочери. Она и его, и папашу уже раньше видела, но не присматривалась. Он наклоняется к Фане, целует ей правую руку, потом неловко – в лоб. Фаня вдыхает мышиный запах, смешанный с одеколоном. Вот он, избранник моей Сонечки. Вкус странный, но ничего не поделаешь.

За ним кланяется и пожимает Фанину руку старший Березин.

– Как здоровье? – говорит он, – будем отмечать, гулять? Ваша дочка красавица. Мы очень рады.

Да уж, не чета его сыночку ... Впрочем, мужик, как мужик. Как обидно, что она ничего раньше не знала. Почему Соня ей ничего не рассказывала о Викторе – так, вроде, зовут молодого. Ах, да, врачи, наверное, запретили беспокоить.

А потом все забегали, загалдели, и Фаня прикрыла глаза.

– Её надо унести пока в дом, – услышала Фаня Дасин голос, – пусть пока полежит. А здесь всё равно придётся на этом месте стол ставить, Арон! Где Арон? Куда он пропал?

– А что надо делать? Фаня, ты скажи, – это голос Рувима.

– Командуйте, Дася Михайловна, – говорит Виктор.

– Нужно перенести Фаню осторожно в дом и положить её на кровать.

Фаня ощутила на ногах прикосновение ледяных пальцев и с ужасом подумала, что эти пальцы будут теперь дотрагиваться до плеч, до всего тела её Сонечки, её родниковой сладости. И, значит, конец её собственным ночным кошмарам? Это всё было к свадьбе. Дася думала, что я расстроюсь, а я обрадовалась: всё остальное с Ароном – галлюцинации. Арон пропал? Куда пропал? Он вообще странный. Но всё-таки, почему именно Арон являлся ей в бреду? И никогда Степан ... Стёпа, Стёпа, наши дети уже давно выросли ... дети? Нет, у неё одна только дочка. А Миша? ...

... их последнее свидание. Она в длинном атласном халате, нога на ногу, в глубоком кресле, медлящая зажечь сигарету, чтобы незаметно было, как дрожат её пальцы. Напротив, на стуле, обросший, бородатый молодой мужчина в кожаной модной куртке – её сын. Он закуривает, затягивается и спрашивает чужим голосом:

– Так ты не дашь разрешения?

– Нет.

– Тогда нам больше не о чём разговаривать, – её сын встаёт и уходит.

На ковре остаются грязные следы мартовской распутицы. Она подходит к окну и видит, как он переходит на другую сторону улицы. Высокий, стройный, её первенец и баловень, ни разу не оглянувшись, заворачивает за угол.

Больше она его не видела. Через два часа ей позвонили с работы и велели срочно придти. Председатель адвокатской коллегии нервно подписывал бумаги.

– Да, воспитали сыночка ...

– Позвольте ...

– Нет, не позволю! – неожиданно закричал он. – Не забывайте, что вы являетесь членом партии! ... Ваш сын тут такое вытворял, требовал, чтобы ему выдали справку о вашей зарплате. Он, видите ли, собрался выехать в Израиль. Могли бы нас, уважаемая коллега, поставить об этом хотя бы в известность.

– Но я не дала ему разрешения. Его опутали, он такой доверчивый, мягкий ...

– Что-то я этих качеств в нём не заметил. Он у вас уже не мальчик, так что не будем демагогией заниматься. Вы, как советский человек и коммунист, должны чётко заявить о своей позиции. Вы меня поняли?

– Да, – пролепетала Фаня, – я вас поняла ...

В тот же день она написала два письма: одно в соответствующие органы, в котором просила ни в коем случае не выпускать её сына в Израиль, и даже применить к нему в случае необходимости полагающиеся меры пресечения. Другое письмо с проклятиями было адресовано сыну.

Придти и опозорить свою мать! Нет, этого она простить тогда не могла. Ведь он только о себе думает. Заиграл – в Израиль! Наша родина – там, я еврей! И прочую чепуху. Что ему до матери, которая с таким трудом одна воспитала

двоих детей, дала им образование, во всём себе отказывала, замуж не вышла, хотя и могла ... А теперь вот, только на ноги встали, только зажили ... Он разве поймёт, что пока Рувим сидел, ей хода совсем не давали, вежливо отказывали в ведении дел, даже не стеснялись высказывать ей в глаза недоверие из-за Рувима. Только с годами стала пользоваться уважением, квартиру дали трёхкомнатную, Сонечка подросла ... А ему на всё наплевать ... Говорила же Фаня ему, что он вообще не еврей, а полукровка, ведь Степан был русский. Нет, говорит, в Израиле национальность считают по материнской линии. Ведь и языка не знаешь, пропадёшь ... – твердила Фаня.

Всё бесполезно. Так и уехал всё-таки. Охмурила, опутала его змея эта, Рива ... киска такая заграничная, как из журнала мод. И говорила всегда с такой вежливой, непроницаемой улыбочкой. А Миша и купился на внешнее, *сиюминутное*. Привязали его, как козу, к столбу заграничному, он и блеет ... А Фане, своей матери, посмел напомнить о её замужестве и бегстве из дома. Да, она ослушалась тогда отца, но дома родного не забывала никогда, до сих пор саднит эта рана ... А он припомнил ...

Она бы тоже могла многое что припомнить.

... когда в сорок пятом они с Рувимом приехали в Руховичи, она, сломя голову, как сумасшедшая, пробежала мимо своего дома, – мимо! Вернее, мимо пепелища. Бежала к нему, своему сынуле в дом Шерстюков ... а как встретил он свою мать? До сих пор перед глазами картина: стоит её Мишенька, семилетний полненький мальчуган, одетый по военным временам очень прилично, и смотрит исподлобья на свою мать. Тиская незнакомое тельце, Фаня ощущала скованную враждебность мальчика. Авдотья Шерстюк, мать Степана, протянула им маленький узелок Мишиных вещей.

– И это всё? – спросил Рувим, одетый ещё в офицерскую форму.

– А что ещё, что? – засуетилась Авдотья, теребя передник, – вот внука сберегла, сказали бы спасибо.

– За мальчонкой прячешься, сука ты фашистская! Знаем, чем ты под немцами занималась ... Отдавай наши вещи!

– Какие вещи? Наболтали всё, а ты и поверил.

– Бабушка, не хочу я с ними, я с тобой останусь, – захныкал Миша.

– Вон и ребёнка напугал. Это мамка твоя, Михась, ты с ней должен жить.

– Не хочу к жидам, – сказал Миша, обнимая Авдотью.

Фаня с Рувимом переглянулись.

– Нельзя так говорить, Михась, – сказала Авдотья, подталкивая внука к двери, – иди, погуляй пока во дворе.

Миша выбежал. Авдотья села на лавку у стола и аккуратным движением расправила юбку на коленях.

– Последний раз спрашиваю, отдашь родительские вещи?

– Я же сказала, нет у меня.

– Ну, ладно, – Рувим вытащил из кобуры пистолет, – я отсижу пару лет, думаю, больше за такую шкуру не дадут, но тебя, фашистская сволочь, я на тот свет отправлю за всех погибших, за всех, кого ты немцам выдала ...

– Рувим, – закричала Фаня, – оставь её!

– Нет ... за маму ... за маму и других ... – Рувим пытался сбросить повисшую на нём Фаню.

Авдотья забилась в угол и затравленно смотрела на Рувима, а затем мелкими шажками стала подбираться к выходу.

– Стоять! – Рувим оттолкнул Фаню и выстрелил в потолок.

– Да я что, Рувимчик, – перекрестившись, пролепетала Авдотья, – я же за вещами, может, в действительности кое-что и завалилось.

Она открыла сундук и стала торопливо извлекать

платки, мамину шубу, расшитые ещё Фаниной бабушкой полотенца, скатерти, платья ... Фаня, всхлипывая, завязывала всё узлом в простыни ...

– Если бы не ребёнок, и тебя бы я завернул в саван, подстилка фашистская, – не удержался на прощанье Рувим.

Направляясь к Шерстюкам за Мишей, они знали всё об Авдотьё и её дочке Шуре, сестре Степана. Едва началась война и в их местечко пришли немцы, мама отнесла Авдотьё Шерстюк все ценные вещи. Когда спустя какое-то время она явилась рано утром за некоторыми из вещей, чтобы обменять их на еду, – евреи жили к тому времени уже в гетто, – Авдотьё стала кричать, что какая-то жидовка смеет от неё что-то требовать. На шум выскочили из дома солдаты, стоявшие у Шерстюков. Один из них вскинул автомат. Так погибла их мама ...

Евреев из гетто полностью уничтожили: их увозили куда-то по ночам на грузовиках. Никто из них не вернулся. А жён коммунистов сожгли, привязав к столбу на Базарной площади – так погибла её лучшая подруга Беллка Штейн.

Шерстюки тем временем развлекались, обхаживали немцев. Особенным успехом у солдат пользовалась семнадцатилетняя Шура, белокурая красавица, родившая перед самым концом войны от немца ребёнка. С немцами и бежала до самой границы, а потом вернулась в Руховичи вместе с сыном и жила какое-то время в доме Шерстюков. Но это было уже после ...

Спасибо, конечно, Авдотьё, что Мишеньку сберегла. Хотя, своё кровное и берегла, ведь родной же внук. Степан не дождал до победы, не то порадовался бы в кавычках подвигам своей, как он её любовно называл, мамани.

В Казани Миша вышагивал поначалу по комнате, как по вокзалу, словно ждал, что вот-вот откроется дверь и за ним бабка явится. Ел жадно, по-крестьянски что ли, берёг вещи, осо-

бенно обувь: с ботинками, в которых его отпустила Авдотья, вообще не расставался, – приходя с улицы, аккуратно связывал за шнурки и перекидывал через плечо.

К родным привыкал долго, ох долго ... Не раз плакала Фаня по ночам, вспоминая *откровения* её семилетнего сыночка, с которыми набрасывался он на меньших по возрасту Илью и Соню: «Все вы тут жиды, не люблю я вас ...»

Теперь вот в Израиль уехал *по зову крови* ... Ох, неисповедимы судьбы людские.

А Фаня сломалась, не выдержала, инвалидом стала. Хотя на работе её не тронули, даже партийного взыскания не получила – вот что значит, вовремя отреклась, бдительность гражданскую проявила ...

АРОН

*Не молись о том творцу,
Чтобы кончились печали.
Если кончились печали,
Значит, жизнь пришла к концу.
(Еврейская пословица)*

Арон вышел из леса. В одной руке он держал сучковатую палку, в другой корзину с грибами. Он был похож на странника – высокий, поджарый, с загорелым лицом.

– Арон, – обрадовалась Дася, – как хорошо, что ты набрал грибов. Я сейчас поджарю их. Соня приехала, а это Виктор ... поздравь молодых.

– Поздравляю, – сказал Арон, но руки никому не подал и оглянулся, – а где Соня?

– Она в доме, переодевается, – ответил Виктор и протянул Арону пачку американских сигарет.

Мужчины закурили. Между домиками уже составили несколько столов. Дася торопливо расставляла тарелки с угощениями.

– Все пошли на пляж, – сказал Виктор, – а я вот жену жду, – он улыбнулся, – непривычно так говорить – жена ...

– Ничего, привыкнете.

Женя Николаев, покачиваясь, стоял у другой стороны стола.

– Дай закулить, дядя, – сказал он.

– Ты бы шёл отсюда, парень, – брезгливо ответил Виктор.

– Я дам ему свои сигареты, угощайся, Женя, – сказал Арон.

– Зря вы это.

– Что именно?

– Приваживаете его.

– Соседей в жизни не выбирают, – сказал Арон.

– Я с вами не согласен, – Виктор глубоко затянулся, – человек должен выбирать соседей, иначе жить противно.

– Может быть, – уклончиво заметил Арон, – только в жизни не всегда так получается, как хочешь.

– Мне тозе плётивно, – сказал Женя, обиженно скривив губы.

– Видали? – захохотал Виктор. – Шутить любишь, парень?

– Люблю, – криво осклабился Женя, не переставая раскачиваться.

– А ещё что любишь? Выпить любишь?

– Люблю.

– Вот умора! Ладно, попозже выпьешь за здоровье молодожёнов.

Когда Виктор смеялся, его лицо прорезали три продольные полосы – лоб, глаза, рот.

– Я тозе сколё зенюсь, – сказал Женя.

– Да, – продолжал веселиться Виктор, – чокнутый, а такой забавный.

– Забавного здесь мало, – сказал Арон и направился к дому.

– Поторопите там Соню, – крикнул Виктор вслед Арону и раздражённо придавил лесного таракану, ползшего по столу – на скатерти образовалось тёмное пятно. Оглянувшись, Виктор переставил на пятно миску с солёными огурцами.

В комнате у Сони было жарко. Окна занавешены. Праздничное свадебное платье валялось скомканное на полу. Соня лежала, уткнувшись в подушку. На ней был выгоревший ситцевый халатик. Плечи её вздрагивали. Арон подошёл, дотронулся до плеча. Она замерла, обернулась и, сдерживая рыдания, бросилась ему на грудь.

– Что ты наделала, – сказал он, поглаживая её по волосам.

– Арон, – всхлипывала она, – Арон ...

– Успокойся, всё можно ещё исправить.

– Арон, – Соня прижималась к нему, словно желая спрятаться.

– Соня, мы должны бежать, – сказал Арон.

– Бежать?

– Другого выхода теперь нет. Не бойся, я тебя украду. Ведь крали раньше невест на свадьбах, – улыбнулся Арон.

– Нет, это невозможно, я убью маму ... я всех убью ...

– Ты всех убьёшь своей свадьбой. Это я тебе говорю.

– Нет, Арон, для меня это единственный шанс выжить.

Я не могу больше жить в этом доме и смотреть в глаза тёте Дасе, маме ...

– Но ты не должна выходить за этого ...

– Я уже вышла за него.

– Мы убежим.

– Я не могу.

– Соня! Ты скоро? – донёсся голос Виктора.

Соня двинулась к двери, но Арон крепко сжал ей руку. Глаза его горели.

– Слушай меня внимательно. Время истекает. Только не перебивай. Ты убежишь со мной, поняла? Иначе все погибнут, и ты тоже. Сегодня же. Я просил тебя не перебивать. Я

знаю это точно. От тебя зависит многое, почти всё – исчезнут здесь евреи или нет ... Сегодня должно произойти что-то страшное, ты поняла?

– Ты нарочно меня пугаешь, – Соня ласково провела ладонью по его руке. – Какие евреи?

– Молчи! – он резко сбросил её руку. – Это не шутки, времени в обрез!

– Арон, откуда это ты всё берешь, откуда знаешь?

– Потому что мне уже две тысячи лет.

– Неправда, ты совсем ещё не старый и выглядишь на тридцать, не больше.

– Ты ничего не поняла. Я сказал тебе правду. Я не ... Арон Горелик, – зашептал он, – я ... Агасфер.

– Кто? Агасфер? – улыбнулась Соня.

– Ты и не слышала про такого?

– Нет.

– Не слышала про вечного жида?

– Нет, а кто это?

– Это я, – в голосе Арона слышалось отчаяние, – куда мы пришли!?

– Ну, что ты выдумываешь, Арон.

– Я не выдумываю. Постарайся понять, сядь вот тут, не вскакивай. Подождёт тебя твоя убудок. Я тебе приказываю меня выслушать. Когда-то, очень давно ... я не подал руки Господу ...

– Арон, ты что, верующий?

– Я же просил тебя не перебивать! Да, я верующий, но не в этом дело. Боги, Боги ... вера в Бога ... всё не просто, ты веришь в одного, наказывает тебя другой, вот и не знаешь, порой, кому руку подать ... я давно ничего не понимаю в этом мире ... верить, не верить – всё одно ... но я наказан – жить и ничего не понимать, хотел ... может и разберусь позже, времени у меня много ... но я уже пережил и крестовые походы, и инквизицию, и погромы ... Я хорошо знаю, если появились телята с вращающимися рогами, то жди беды. Понимаешь ты или нет? А сегодня ведь девятое число месяца ава! Это ужасное знамение, если перед девятым числом, они появляются,

так уже было, и не раз: в Иерусалиме, потом в Кордове ...
езде, везде ... мы должны бежать, Соня ...

– Опомнись, Арон, что ты говоришь? Я боюсь! При чём здесь Иерусалим? Ты не заболел ли, ты хорошо себя чувствуешь, Арон? Какие ещё ... рога? Не пугай меня ... Ты хочешь, чтобы всё оставалось по-прежнему?

– Она меня не слышит, – устало произнёс Арон.

– Я тебя слышу, только ...

– Последний раз говорю тебе – мы должны бежать! Вернее, ты. Мне всё равно ничего не грозит. Я бессмертен, к сожалению ... а ты, вы все погибнете.

В дверь просунулась голова Виктора Березина.

– Соня, ты не забыла, что мы на пляж собирались, – спросил Виктор.

– Уже иду. Дядя Арон, вы пойдёте с нами?

Ничего не ответив, Арон направился к двери, прошёл мимо Виктора, затем мимо хлопотавшей у газовой плитки Даси и зашагал в сторону леса.

В соседней комнате в судорогах корчилась Фаня Левина-Шерстюк. Она слышала весь разговор и, в отличие от дочери, поверила каждому слову Арона Горелика.

У свадебного стола, уже уставленного тарелками, одиноко раскачивался Женя Николаев. На его лице блуждала бессмысленная улыбка идиота.

ИСААК

*В краю глухом затерянном,
На голой высоте,
Молоденькое дерево,
Подобно сироте.
(Еврейская народная песня)*

Изя и Ильдар лежали чуть в отдалении от основного пляжа под кустом пышного, разросшегося ивняка. Изя видел, как на пляже появились Илья с Галей, Березин-старший с Рувимом, но не сделал ни одного движения к ним навстречу.

День плавился на переломе к вечеру, растворяя в едином, сплошном мареве голоса, смех, треск моторок, храп Ильдара Юсупова ... Незаметно Изя тоже уснул, сморенный солнцем.

Очнулся он от возгласа Ильдара:

– Вот это да, старик! – заморожено произнёс Ильдар, – ты когда-нибудь видел нечто подобное?

По пляжному песку в сопровождении Виктора Березина шла Изина двоюродная сестра – значит, свершилось.

И сразу Изю словно бы обожгло. И навалилось, сдавило грудь обручем.

– Что ты там увидел, Ильдар?

– Видишь девушку, старик? Видишь или нет? Вот бы её у этого хмыря украсть ... – мечтательно сказал Ильдар.

– Зачем?

– Затем, что мы жаждем молний и подвигов, затем что покорность – это не для нас ... затем, что обретенное счастье – это прибавляет силы в человеке ... затем, что когда в воздухе пахнет грозой, природа – а это мы сами – не знает другого пути, как преодолевать препятствие ... затем, что ...

– Что за пафос? На тебя что-то не похоже.

– Не похоже? Это не я сказал, это ...

– Это моя двоюродная сестра, – глухо отозвался Изя.

Но Ильдар не слышал, заворожено провожал взглядом Соню, подошедшую к распластавшимся на песке родственникам. Сбросив лёгкий халатик, она осталась в чёрном купальнике, поправила воздушным движением рассыпавшиеся по плечам волосы, и побежала к воде.

И бег её, лёгкий бег молодой женщины, – Изя чувствовал это, – необъяснимо связан был с тем безысходным предчувствием, преследовавшим его в последнее время. Будто чья-то невидимая цепкая рука сгребала всё это пространство с лесом, рекой, воздухом в удушающее объятье.

– Старик, тебе она нравится? – вдруг в какой-то лихорадке спросил Изя.

– Нравится? Не то слово, – сказал Ильдар, – я не знаю, что и сказать. Неужели это твоя сестра?

– Двоюродная сестра. Её зовут Соня. Слушай, старик ... давай её ... в самом деле, украдём!

– То есть?

– Ну, ты же сам предложил!

– Ты что, серьёзно?

– Серьёзней не бывает.

– Ну, это я так сказал, – Ильдар закурил.

– А я *не так*, – настаивал Изя, – ты должен её украсть, старик! И спасти от этого ... субъекта. Они сегодня поженились, представляешь?

– Нормально.

– Нет, это не нормально. Тут всё не так. Я до конца понять не могу, но думаю, она его не любит!

– Не любит?

– Нет-нет, что-то заставляет её пойти на это замужество. Но что? И вообще, Ильдар ... ты согласен?

– Это что же, мне потом на ней жениться надо будет? – засмеялся Ильдар.

– Зачем? Ты просто её украдёшь, а там ... там видно будет!

Может ... и полюбите друг друга ... Но ты скажи, в принципе, смог бы ты это осуществить?

– Естественно.

– Значит решено?

– Один не смогу. У вас что, сегодня свадьбу играют?

– Не знаю, что-то вроде того, наверное. Я сам ничего не знаю, всё так неожиданно.

– Тогда сделай так, чтобы я был приглашён вместе с Верой и Инной. Один я не справлюсь.

– Считаю, что вы все уже приглашены.

– Теперь ещё вот что, – сможешь достать ключи от машины твоего отца?

– Зачем?

– Ты что же думаешь, я её на себе потащу? На дворе двадцатый век. Главное, добраться быстро до города. Машина не пропадёт – оставлю у дома. Теперь поговорим о деталях ...

Склонившись к ивняку, юноши зашептались. Ничего не подозревавшая Соня плескалась в искрящейся воде вместе со своим мужем Виктором.

Мало кто заметил в пляжном гаме, как причалил на своей моторке Николаев – в ведре у него бились ещё живые рыбины – два осетра.

Старший Березин, искупавшись, лежал на животе и изредка деловито поглядывал на часы. Торжественный ужин назначили на семь часов. Что-то тревожило старого отставного офицера, но что, он понять не мог. Ему хотелось побыстрее добраться до стола, пропустить пару рюмок водки и расслабиться.

Рувим и Илья с Галей направились с пляжа к домикам, чтобы переодеться и помочь накрывать на стол.

До ужина оставалось сорок минут.

ЛЕВИНЫ

*Господи, любовь мне сердце жжёт,
Нет ни на минуту мне покоя,
Может статься, тот меня поймёт,
Кто когда-то сам познал такое.
(Еврейская народная песня)*

Фаню Левину вынесли на улицу, когда уже все расселись за столами. Не было только Арона Горелика. Сколько его ни искали, ни кричали, никто его найти не мог – исчез Арон Горелик, как сквозь землю провалился.

Кресло Фани поставили рядом с Соней. Фаня невидящим взором смотрела на стол, на шумно переговаривавшихся и смеющихся людей.

В ушах у неё до сих пор звучал голос Арона. Сказал ли он правду? Мол, я предупредил и ухожу. Это было подло с его стороны – сбежать, бросив всех на погибель. Мог бы в таком случае предупредить и Дасю, и других, а не только Соню. Что с неё возьмёшь – девчонка.

Какой это ужас – немота ... телесная, душевная ... когда даже знание бесполезно. Теперь ей многое понятно: и дым пожарищ тогда у Свислочи, и та их единственная казанская ночь во время войны, и недавние её ночные видения. Только смысла-то в чём? В чём смысл всего? И в чём смысл жизни Арона Горелика? Ошеломлять и доводить до безумия женщин, чтобы бросать их в самый последний момент ради следующей? А в промежутках постная, размеренная жизнь в какой-нибудь глуши, наподобие Руховичей или Казани. Видите ли, он бессмертен. Да на что нужно это бессмертие, если годами, тысячелетиями приспособливаться, пресмыкаться, и лишь, когда взиграет плоть, вспоминать время от времени, что ты человек и мужчина.

Впрочем, что она знает об Агасфере? Чуть больше Сони. В детстве им пугали детей. Знает, что наказан он бессмертием за предательство. А за что, за какое предательство? И кем наказан, не знает.

Пригрозил опасностью и сбежал ... Фаня не хотела верить в катастрофу. Ей казалось, что опасность уже миновала, раз Арон Горелик исчез. Ну, а Соня? Время излечит её от этой напасти. Родит ребёнка, появятся настоящие заботы. Уж лучше эти Березины, чем Арон ...

Ах, что-то упустила, что-то важное, что же? ... так, Арон ... Агасфер ... сбежал, бессмертие ... вот оно, вот – бессмертие ... значит оно существует ... вот чему удивляться надо ... какая там любовь, бегство от опасностей, свадьба ... всё чепуха, если возможно бессмертие ... для кого-то, не для неё, во всяком случае ... а ей казалось, что уж она-то будет жить, если не вечно, то почти что вечно ... даже когда валялась парализованной в этом кресле, всё заглядывала в будущее, словно там её ожидала бесконечность ... и другие суетятся, словно они бессмертны, покупают навечно дома, берегут тряпки, держатся за свои служебные места ... и она за свою коллегию когтями цеплялась ... от собственного сына отказалась ради ... как сказать им всем, что мы смертны ... эй, люди, слушайте меня: мы смертны, живите ... только как это ...

Между тем, веселье за столом разгоралось. Тамадой был поначалу Николаев. Он вспенивал веселье шутками, подмигиваньем, праздничными тостами. Уже много раз пили за молодых, кричали «горько!» Жених впивался с жадностью в губы невесты, целовал взасос, затем выпивал очередную рюмку и всё более мрачнел. Губы Сони вспухли. Она продолжала сидеть в тёмных очках, и невозможно было определить её настроение. После каждого тоста она пригубляла свой бокал, иногда улыбалась, и для стороннего наблюдателя выглядела вполне счастливой и довольной своей судьбой.

Правда, посторонних за столом поначалу было немного. По правую руку от жениха располагались Березин с супругой, женщиной небольшого росточку, прибывшей на свадьбу перед самым торжеством. Далее направо от Березина сидела Инна, затем Ильдар, Вера и Изя. Далее восседал тамада с сыном, которого, несмотря на недовольство Ильи, Дася усадила за стол, поместившись с ним рядом. Далее пустовало место Арона Горелика. Затем Рувим, Галя, Илья, и, наконец, рядом с невестой, чуть поодаль от стола, Фаня.

Странное застолье, странное ... Ведь совсем и не весело было за столом. Нет, смех раздавался, и говорили, как всегда в таких случаях, невпопад, громко, и дружно кричали «горько!», но по спинам сидевших будто пробегала время от времени изморозь. Все чувствовали её леденящее прикосновение, все без исключения, но каждый полагал, что это лишь его собственное ощущение. А между тем, лёгкая позёмка вьюжила по базе ветеранов труда, приводя дачников в замешательство. Холод распространялся от свадебного стола во все стороны, и, словно магнит, притягивал туда людей.

Когда начались танцы, и молодые сделали по традиции первое «па» под щемлящую мелодию вальса, вокруг стола уже кружило множество незнакомых людей. Они стоя выпивали, поздравляли издали новобрачных, брали прямо руками солёности с тарелок, галдели, дробились на мозаичные группки.

Гости подходили и целовали Фаню Левину, мать невесты. Она чувствовала хмельные прикосновения чьих-то незнакомых губ и смотрела на танцующих. Мелодия вальса была старая, под неё танцевали ещё Фанины родители. Фаня смотрела на Соню, на её неподвижное бледное лицо, прикрытое чёрными очками, на налившиеся глаза её мужа. Вальс, вальс – и так всю жизнь, – раз, два три, поворот, раз, два, три ...

Березин-отец танцевал с Инной. Её маленькая ручка пропала в его ладони. К удивлению Рувима, Березин танцевал

хорошо, вёл свою даму с лёгкостью и даже изяществом. Что же это? Всё, значит, уравнивается в танце? Каким образом? В чём колдовство музыки? Вот он, Березин, его смертельный враг, нет, даже не враг, а антипод всего человеческого, – так ловко чувствует природу и язык танца, природу прекрасного? Вовсе не хуже этой девочки, тростиночки, травинки чистой. И вот они вместе кружатся в танце, получая от него не только удовольствие, но и словно подтверждая этим танцем возможность единства несовместимого. Да и сам Рувим, как бы ни холодил ему спину лёд отчуждения против всех этих людей, он был – хоть и как наблюдатель – в танце был *вместе* с ними. И эта неразрывность была ещё более мучительнее отчуждения. Ах, если бы не Изя ...

Изя тоже не отрываясь, смотрел на Инну. Он знал, что Ильдар поручил ей нейтрализовать Березина. И всё же ... С изумлением наблюдал Изя за бессловесным диалогом Инны с Березиным. Вот кончился вальс, но они танцуют вместе дальше. Теперь медленное танго. Инна держит уже свои ручки на плечах Березина. Изе видна стиснутая двумя пятернями спина Инны. Мясистый нос Березина хищно приюхивается к волосам Инны, его глаза опущены на партнёршу, которую он, как мёртвую бабочку, прижал к своему животу. Если бы не передвигающиеся ноги, то можно было бы подумать, что спина в Березинских пятернях неживая, столько в ней покорной податливости. Пятерни беззастенчиво передвигаются по спине ...

Изю бьёт озноб. Что Ильдар? Почему он медлит? Ах, нет, он танцует уже с Соней. А Виктор? Стоит, пошатываясь, курит с какими-то мужиками ... Так, все пошли к столу, Виктор разливает по рюмкам, выпивают ... Хорошо, значит, у Ильдара есть ещё время. Но он молчит, почему он танцует молча? ...

Дася и Николаев шли по лесу. Дасе идти было трудно. Николаевская лайка тянула поводок через заросли густого кустарника, высокий папоротник, поваленные сухие деревья.

– Мог ли он так далеко уйти, Валентин Иванович, и зачем?

– Не волнуйтесь, – Николаев успокаивающе улыбался своей детской улыбкой, – Может за грибами?

– В такое время? Какие там грибы? У Сони свадьба. Да и за грибами он уже ходил сегодня. С ним что-то случилось, я чувствую.

– Да что вы, Дася Михайловна, поверьте мне, он просто гуляет. Мы сейчас его догоним и вместе все посмеёмся.

– Нет, вы меня просто успокаиваете. Я сердцем чую, здесь что-то не то. Всё так некстати, там свадьба, а мы ищем тут в лесу Арона.

– Дася Михайловна, свадьбе уже не до нас, пусть молодые одни веселятся.

– Я вам так благодарна за помощь и ... участие.

– Какая вы щепетильная, Дася Михайловна, мы же соседи.

– Все люди соседи ...

– Как вы хорошо сказали! Вернее и быть не может, потому люди и должны жить как соседи, а не как ...

Лес сгущался, опутывая густой липучей паутиной, сухими ветками, буреломом. Внезапно лайка жалобно заскулила и прижалась к ногам Николаева.

– Ты чего испугалась? – Николаев потрепал собаку за ухо.

– Может, здесь есть волки? – встрепенулась Дася.

– Какие ещё там волки, – добродушно улыбнулся Николаев, – давайте передохнём немного. Вы садитесь, Дася Михайловна, вот сюда, на пенёчек. Подержите-ка поводок, я сейчас.

Николаев скрылся в кустах.

– Куда же вы, – хотела позвать Дася, но лайка вдруг так резко потянула поводок, что Дася неловко свалилась с пенька и выпустила его из рук. Ну, вот, какая я неуклюжая, собаку упустила. Сегодня всё нескладно получается. Плохой день. И Арон пропал. Хорошо ещё, что Валентин Иванович ...

Дася не додумала про Николаева, потому что увидела красную ягоду и непроизвольно потянулась к ней. Ощувив во рту терпкий сок раздавленной ягоды, она испытала неожиданное облегчение, будто камень с сердца свалился. Сорвала ещё одну, проглотила, затем ещё ... Какая нелепость, думала она в какой-то радостной лихорадке, ползает старуха на пузе за ягодами, радуется как ребёнок, и обо всём забыла. А Фаня? Арон, дети? Но нет, не охватило Дасю привычное беспокойство о близких. Она продолжала беспричинно радоваться. Это её удивляло – беспричинность. Одна, в лесу, всеми брошенная, даже собакой ...

– Ау, Дася Михайловна, вы где? – раздался голос Николаева.

– Я здесь, собираю ягоды, – отозвалась Дася, – идите сюда!

Как он похож на лося, подумала Дася, когда кусты раздвинулись, и она взглянула на Николаева.

– Вы так похожи на лося, – сказала она.

– Я и есть лось, – виновато потупился Николаев, – а это вам, ягоды.

– Какой вы внимательный ... только вы чуть запоздали, я ими уже объелась, но всё равно приятно, спасибо.

– Значит, вы тоже ...

– Что тоже?

Догадка пронзила Дасю. Она вскочила на ноги и оглядела себя.

– Я ... лосиха? – изумилась она.

– Можно не сомневаться, – с гордостью подтвердил он, – красавица!

– Просто лосиха? А ты ... просто лось?

– А как же, лоси. Самые настоящие.

– И больше никто? – продолжала допытываться она, – ведь у людей все разные, помнишь? Чёрные, белые, русские, евреи ...

– Забудь про людей, – сердито сказал он и устремился вглубь лесной чащи.

Она радостно направилась за ним.

ФРЕЙЛАХС

*Спокойной ночи вам,
Спокойной ночи вам,
И дай вам Бог
Не знать моей печали ...
(Еврейская народная песня)*

Застольное брожение охватывало постепенно всю базу ветеранов труда. Уже непонятно было, из какого домика звучит музыка, откуда раздаются возбуждённые голоса, и что за незнакомые люди бродят повсюду. Нет, то не было привычным субботним опьянением, а каким-то всеобщим сумасшествием с фейерверком тостов и поцелуев.

Когда горизонт стал наливаться закатной мощью, и жаркое ещё солнце покатило к противоположному гористому берегу Волги, угарный дым праздника сместился к реке. Разгулявшиеся, хмельные дачники устремились пёстрой толпой на берег.

Впереди, размахивая огромной суковатой палкой, шествовал Ильдар Юсупов. Он и воткнул её поближе к воде в песок. Сразу же полетели в кучу сучья, картонные коробки, гнилые доски. Кто-то плеснул на деревянный хлам бензином, и костёр вспыхнул с испугавшей всех силой. На какое-то время люди смолкли: невозможно было не поддаться заволаживающему гудению пламени. Только пьяный Женя Николаев кривлялся под воображаемую музыку.

А потом заискрилось, взбунтовалось пространство, с тягучей неизбывной энергией раскручивался вокруг костра людской хоровод. И песня полилась, затянутая низким мужским голосом:

... Шумел, горел пожар московский,
Дым расстился по реке,

А на стенах вдали кремлёвских
Стоял он в сером сюртуке ...

Река, треск огня и люди, приплясывавшие в торжественном шествии.

... И призадумался великий,
Скрестивши руки на груди,
Он видел огненное море,
Он видел гибель впереди ...

Магической, зловещей силой веяло от хмельного хоровода. Крепко взявшись за руки, пели Ильдар, Соня, Рувим, отец и сын Березины, Женя Николаев, Инна, Вера, и ещё множество других людей – все пели. Среди поющих Изя с удивлением обнаружил улыбающуюся ему бабушку Инны.

Изя тоже прихрамывал в общем шествии, зажатый с двух сторон Ильёй и Галей. Они зычно подпевали хору. Их руки крепко сжимали Изины ладони.

Его поражало, что все (все!) знали слова этой старинной песни. Все, кроме него, собиравшегося стать музыкантом.

... И притаив свои мечтанья,
Свой взор на пламя устремил,
И тихим голосом сознанья
Он сам с собою говорил:

Зачем я шёл к тебе, Россия,
Европу всю держа в руках?
Теперь прикинув головою,
Стою на крепостных стенах» ...

На звуки песни стекался народ, хоровод разрастался, ширился. Казалось, все собрались тут, у реки.

Но у домиков Левиных, в кресле, сидела Фаня Левина-Шерстюк, и, полуприкрыв глаза, слушала жену старшего Березина:

– Я так вас не оставляю, голубушка. Пусть молодёжь повеселится, а мы тут с вами посидим, поболтаем. Я вам признаюсь: Соня мне очень пришлась по душе. Тихая такая, скромная. Только во всём мужчинам нельзя уступать. Витя ведь мой весь в отца. Вы не смотрите, что он молчаливый. Он с характером, может и вспылить. Да что там, скажу вам прямо: они оба бешеные ... меня, – Березина начала всхлипывать, – ну, да ладно ... но Соню я в обиду не дам! ... Мы уж с ней вместе будем держаться ... Зато они, мои мужики, всё – в дом, ничего не могу сказать, мы ведь зажиточные. Мой, конечно, погулять любит, да я рукой махнула ... это он в лагерях набаловался, знаете, заключённые женщины на всё готовы ради послабления, ну и ... а так, семья у нас дружная ...

Между тем, песня на реке крепчала и повторялась:

... Войска все созванные мною,
Погибнут здесь среди снегов,
В полях истлеют наши кости
Без погребения, гробов.

Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда,
То вознесёт его высоко,
То бросит в бездну без следа! ...

Едва последняя строчка заканчивалась на горькой ноте, как кто-то истошно заводил куплет сначала.

– Эх, Россия-матушка! – воскликнул наконец всё тот же голос, и песня распалась.

Это был Березин-отец. Он смахнул выступившие слёзы.

– Выпить бы! Давайте выпьем за нашу многострадальную Россию! Чего только не испытала наша земля. А ну, Илья, сгоняй за водкой!

– Гонять не надо, – хмельно подхватил Илья, – Галя, доставай! – он взмахнул театрально рукой и упал на песок.

Галя достала из спортивной сумки водку и стаканы.

– Слабак ты, Илья, а вот твой дядька покрепче. Так ведь, Рувим, с-сродственничек ты мой? Хорошая песня, за душу берёт. И всё там правда. Про судьбу, а? То вознесёт, то бросит. Только Россию не трожь! То вознесёт, то бросит ... Рувим меня понимает. Уж мы с ним хлебнули ... давай выпьем на брудершафт, Рувим!

– Я ведь не пью, совсем, – отвечает Рувим, заискивающе улыбаясь.

– Врёшь! Ты просто со мной целоваться не хочешь!

– В самом деле, я совсем не пью, – продолжает бессмысленно улыбаться Рувим.

– Но ты ведь еврей, – Березин рыгнул.

– Так что с того?

– А то, что еврей за компанию и повесится.

В толпе хихикнули. Всё больше людей прислушивались к разговору Рувима с Березиным.

– Верно я говорю? – Березин повернулся к лежавшему на песке Илье.

– С-совершенно в-верно! – неожиданно по-военному рявкнул Илья, и обречённо махнул рукой, – чего уж там ...

Изя Левин встал впереди отца.

– Отец не пьёт! – голос Изи дрожал от возмущения.

– А тебя не спрашивают, сопляк, – Березин отодвинул парня рукой, как надоедливую муху.

В толпе уже смеялись в голос.

– Да щёлкни ты этого недомерка, чего он встречается! – крикнул мужик с клюкой и стал наступать на Изю, – Не то я его сам поддену сейчас!

Он поднял клюку и начал тыкать ею в грудь Изе.

– Вот она, награда на всю жизнь, чтобы такие пархатые на дачах жировали!

– Вмажь ему, дедусь, вмажь! – раздалось из толпы.

– Клюкой его!

– Вы! ... – голос Изя сорвался, глаза его сверкали.

– Тише! – закричал Рувим, – Изя, сынок, мы же шутим, просто шутим ... – он поднёс стакан водки ко рту, закрыл глаза и залпом осушил его.

– Я же говорил, – хмыкнул Березин и опрокинул свой стакан.

В толпе загалдели. Рувим посмотрел на сына. Изя плакал, слёзы катились по щекам, он утирал их краем рубашки.

– Послушайте! – закричал Рувим, – однажды, это было давно, мой отец, нет дед, проехал верхом на волке! Представляете? Верхом на волке! Волк хотел его загрызть, а отец, то есть дед его победил и проехал по улицам верхом! Верхом! Кто может это из вас?

– Врёшь! – ухмыльнулся Березин.

– Не смей! – взвизгнул Рувим и сделал шаг по направлению к Березину.

– Что?! – изумился Березин.

– Что?! – повторил не менее изумлённый Илья, – вы что, дядя Рувим, совсем уже?

В это мгновение Изя почувствовал, что кто-то всовывает в его руки скрипку. Откуда она здесь?

– Играй, давай быстрее, – прошептал ему на ухо жаркий девичий голос.

– Цыганочка! – крикнула Инна и подёрнула плечами.

Изя ударил по струнам почти автоматически. Инна! Это она ... Зачем она здесь, в этом хаосе?

Моментально забыв о Рувиме, Березин, ослабившись, впился взглядом в танцующую Инну.

Ошеломлённый выпитой водкой и собственной дерзостью, Рувим обессиленно присел на поваленное бревно. Изя его спас, сынок ... мой сын ...

Изя стоял на пеньке, потом чьи-то руки его подняли и водрузили между ветвями высокой ивы. Танец быстро стал всеобщим, но управляемым буйством. По мановению смычка Изи он то замирал, двигаясь кошачьей крадущейся поступью, то неожиданно набирал силу и, воспламеняясь, летел без оглядки по кругу. Лихо отплясывал мужик с клюкой в паре с какой-то необъятных размеров женщиной. Ритуально строгий круг соблюдали бритоголовые подростки. Выкидывал лихие коленца пьяный Илья. Заворожено двигался за Инной отец-Березин ...

Между тем, у свадебного стола, продолжался нескончаемый монолог его жены:

... эх, цыганочку заиграли, слышите? Вы любите цыганочку? Я в молодости всё пыталась научиться, да никак не получалось, смелости, что ли не хватало ... А мой-то до сих пор танцевать горазд ... небось, сейчас отплясывает ... а пусть попляшет, злость немного выпустит, недавно я ему связала пуловер, так он ...

Изя с упоением набирал высоту. Изя парил. Он – властвовал ... И они принимали его силу, подбадривали, поощряли его криками. А ведь только недавно они же готовы были его разорвать на части. Вон тот мужик с клюкой – какой ненавистью горели его выпученные глаза. А остальные? Подстрекали сладострастно к расправе. Выходит, прав Ильдар: коптить, умножать силу и – властвовать? ...

Что же за существо ты – человечище? Жить, коптить воздух любой ценой – в этом вся суть? Танцуя, любя, рожая, скучая, завидуя, убивая, унижая ...

Ах, зачем отец вспомнил об этой истории, семейной легенде? В чём её смысл? Проехать верхом на волке? Устоять перед хищником? Среди людей уцелеть бы, и остаться человеком при этом ...

Откуда эта неистребимая потребность в человеке к насилию и унижению? Ради чего?

Вон Инна кружится в танце. Ну-ка, перейдём на «Фрейлахс», всё-таки свадьба! Хотя ни невесты, ни жениха уже не видно. И всё же, нате вам, кушайте «Фрейлахс!» Чем он хуже «Цыганочки» ... оп-па, оп-па ... Ничего, все пляшут за милую душу. И клюкастый, и бритоголовые, все ...

Но что это? Куда бежит Инна? В пляжную раздевалку? Зачем? Купаться? За ней в кабину вваливается Березин. Стервец! Как он смеет?!

Изя обрывает мелодию и спрыгивает с ивы. Танец разваливается. Толпа обескуражена.

– Ты чего бросил, скрипач?

– Давай музыку!

– Эй, горбатый, играй, пока верблюдом не сделали!

– Лови его! – орёт клюкастый.

Изя неуклюже бежал к раздевалке, утопая в вязком волжском песке. За ним, гикая, мчались бритоголовые. Уже почти достигнув цели, он увидел, как из кабины вышел Березин, застегнул на брюках молнию, и, сплюнув, зашагал к реке. Изя рванул дверь в раздевалку, но тут его настигли бритоголовые, подхватили под руки и поволокли назад. Он успел увидеть блаженно улыбавшуюся старуху с задранной юбкой. Это была Иннина бабушка. Где же Инна? Он же сам видел ...

Но бритоголовые уже поднимали Изю под улюлюканье толпы на дерево, требуя музыки. Вновь зазвучала скрипка, и понёсся по волжскому берегу весёлый еврейский свадебный танец Фрейлахс.

И вновь Изя Левин властвовал и был как бы *над* людьми. Впрочем, только *как бы*. Нет, не более того. Конечно, он задавал ритм, но люди распоряжались им по собственному усмотрению. И всё же, непривычное и обманчивое ощущение собственной власти не покидало Изю. Хотя, может быть, виновата в том была не только музыка, но и высота дерева, которой он был как бы равен, а потому и неуязвим. Пока он на высоте ...

С высоты он и увидел, как поплыло дымное облако к угасавшему солнцу, и окутав его своей тяжестью, поволокло светило за горизонт. Река напряжинилась, и первые гребни волн разбились о песчаный пляж. И стемнело вдруг быстро, только остывавший костёр мерцал где-то внизу под звуками скрипки. Но вот кто-то прыгнул через костёр, вот ещё один со свистом пронёсся над огнём. Изя прибавил темп, завихрил ещё больше движение. Ему уже не видны были лица, только силуэты и мелькавшие тени. Он и не глядел вниз, его внимание было приковано к черноте горизонта, сквозь которую пробивался полумесяц.

Изя различал уже во мраке его кровавые подтёки. И скрипичные пассажи, помимо воли скрипача устремлялись всё неукротимее и необузданнее в чёрную высоту, где, вспенивая горизонт, царил изогнутый, багровый профиль полумесяца. К берегу, тесня друг друга, приближались острова. Всё перемещалось и клочкотало в скрежещущем пространстве – буря ...

Вот с хрустом повалилась сосна, придавив тлеющий костёр. И в это же самое мгновенье гигантская волчья тень взметнулась в тёмное небо. Изя узнал знакомый уже оскал Ильдара Юсупова! Изловчившись, волк зацепил лапами кровавый полумесяц и с торжествующим ликованием хищника проглотил его.

Раскрытая волчья пасть, заглатывающая ночное светило – это увидели все на земле. И упала темнота на берег, на реку, на лес. Смолкли поражённые люди, застыли в немом оцепенении.

Даже Березина замерла на полуслове и невольно коснулась руки Фани – рука была ледяной. Березина вскрикнула и невольно отпрянула. Её вязаная кофта затрещала, зацепившись за кресло Фани. «Она мертва, она мертва», – повторяла Березина, лихорадочно пытаясь распутать петли своей вязаной мохеровой кофты. Неужели скончалась ... безмолвно, не издав ни единого звука, а она значит, повествовала всё мёртвой, о ужас ...

Внезапно резко пахнувшая жидкость полилась сверху на Березину. От неожиданности она упала в объятия мёртвой Фани и запуталась ещё более. Уткнувшись лицом в мягкую грудь покойницы, облитую той же жидкостью, Березина застонала от ужасной догадки – бензин!

Задыхаясь, она вывернулась и увидела над собой качающуюся фигуру. Березина отпрянула и, вдавившись в рыхлое тело своей недавней собеседницы, с хрустом раскусила пуговицу на её платье. Длинная рука чиркнула спичкой. Березина потеряла сознание, и в то же самое мгновение Женя Николаев кинул спичку на моментально вспыхнувшие тела обеих женщин. Он смотрел на огонь, курил и бессмысленно улыбался.

Изя водил смычком по струнам, но звуков не слышал. Только вой ветра, раскаты приближавшегося грома и улюлюканье ожившей толпы. Изя слышал также звериное рычание, клацанье зубов, видел мелькавшие быстрые тени внизу.

– Где моя жена?! – донеслось, – отец, где Соня?

– Я её не видел, – ответил Березин сыну.

– Соня! – закричал Виктор.

– Соня! Соня! – заорала на множество голосов толпа.

– Я ничего не вижу, отец, – вдруг плаксиво пожаловался Виктор.

– Я сам ничего не вижу. И костёр погас, едрёна мать! Илья! – зычно позвал Березин.

– Я здесь, – слабо отозвался Илья, – я ещё сплю, или нет ...

– Вставай, мудака! Мы же не знаем местности. Всё погасло, давай, очнись!

– Соня! – надрывался Виктор.

– Илья, Соня пропала. Надо искать! – приказал Березин.

– Как, пропала? Просто её нет поблизости. Галки тоже нет поблизости ... Галка!

– Они её запрятали! И сами попрятались! – раздался голос клюкастого. – Но одного я нашёл! Того, кто водку не хотел пить. Вон он мотор прилаживает к лодке. Бежать собрался, сукин сын!

– Стой, Рувим! – Березин побежал к нему. За ним ринулись остальные. – Где Соня? Куда вы нас заманили?

– Жиды проклятые! – визжал клюкастый.

– Никто вас не заманивал, – голос Рувим был спокоен.

– А невеста где? – не унимался клюкастый.

– Где Соня? – взвизгнул Виктор, – где моя жена?!

– Уехала на лодке ... увезли, – сказал Рувим и указал рукой на вздыбившуюся Волгу.

– Как? Кто увёз?!

– Врёт он всё!

– Поехали, покажу, – предложил Рувим.

– И поедём! – крикнул клюкастый и первым полез в лодку.

– Садись, братва!

– Ты тоже поедешь, Илья, – сказал Березин и подтолкнул зятя к реке.

В лодку набилось много людей. Клюкастый сидел около Рувима, который правил мотором, и зорко наблюдал за ним. Впереди восседали отец и сын Березины. В ногах у них пригнулся Илья Горелик.

Откуда-то взялась водка. Бутылку пустили по кругу. Огибая остров, затянули песню.

– Смотрите, лес горит, – крикнул кто-то.

– Домишки евреев, а не лес, – мстительно оборвал клюкастый, – а то понастроили на земле нашей!

– Долго ещё, дядя Рувим? – спросил жалобно Илья, – я весь промок.

Брызги от волн обдавали сидевших в лодке. Тьма обступала моторку с людьми, лишь видны ещё были удалявшиеся с бешеной скоростью полосы огня на берегу. В считанные минуты лодка выехала на середину бушевавшей реки и заметалась на одном месте. Чихнув пару раз, заглох мотор.

– Ты куда нас привёз, чёртово семя?! – выкрикнул клюкастый.

– Приехали, – сказал Рувим и улыбнулся.

– Они нас специально сюда завезли, отец!

Виктор схватил Илью за отворот рубашки.

– Я не при чём, Витя! Клянусь, я ничего не знаю!

– Врешь, скотина! – Виктор со всей силы ударил Илью в голову.

Тот, ойкнув, упал за борт и сразу же исчез в темноте.

– Да, я специально вас сюда завёз! – закричал Рувим. – Вы не люди! И Сони вам не видать!

Не дав опомниться остальным, Рувим прыгнул в воду.

– Гребите вёслами! догоняй! – командовал клюкастый.

Загалдели, повеселели люди – погоня! Когда через некоторое время у правого борта показалась голова плывущего Рувима, клюкастый выдернул одно весло из уключины и страшным ударом рассёк ему голову.

– Назад, к берегу! – коротко приказал Березин.

– В лодке вода! – клюкастый тыкал в дно веслом. – смотри, прибывает!

– Сволочь! Лодка была дырявая!

– Семя паршивое! Ну ничего, не будет по-твоему! – всё более веселился клюкастый, крича в темноту.

Словно бы в ответ, сильная волна ударила о лодку, затем ещё одна полностью накрыла её. И тухлявая лодка под крики и проклятия пошла ко дну.

Изя видел, как стая мокрых волков выплыла из реки на берег и быстро устремилась к пылавшей рядом с ивой сосне. Волки сели кружком вокруг огня, который уже охватил всю прибрежную полосу деревьев. Волки грелись у огня и подвывали. Между ними бродил с безумной улыбкой Женя Николаев.

Всё это отчётливо видел Изя и продолжал водить смычком по струнам, хотя уже давно его скрипка не издавала никаких звуков. Это нисколько не удивляло. Он слышал музыку, наполнявшую всё его существо восторженным ознобом.

Музыка, свет, огонь, – что ещё надо в жизни? Высота? Любовь? Сколько лишних слов ... Пламя перекинулось на иву и со всем испепеляющим жаром надвинулось на скрипача. Но

он всё ещё не понимал, что это конец. Не помнил он и об отце, Инне, о похищении Сони, ни о ком ... Задыхаясь, во-дил по обеззвученным струнам и жаждал растворения в этом почти уже тлевшем безмолвии. Невыносимый жар охватывал всё вокруг. Руки Изи выпустили скрипку, но звуки музыки он ещё продолжал слышать. И, задыхаясь в чистейших белых пассажах, он полетел на землю, чтобы ощутить под ослабевшими пальцами жёсткий волчий загровок и понестись куда-то со всей стаей, верхом на волке ...

Лось и лосиха лежали в ложбине, неподалёку от стоявшей в одиночестве берёзы. Сил идти дальше не было. Обступившая темнота заставляла их настороженно прислушиваться. В ночном лесу опасность подстерегала на каждом шагу.

Треснула ветка, и они увидели человека. Арон Горелик присел на пенёк совсем близко от них, затем вздохнул и, обратив лицо к небу, то ли заговорил, то ли запел. Время от времени доносились обрывки фраз:

... к Богу – вопль мой, и я воззову, к Богу ... в день скорби моей Господа я взыщу ... душа моя! ... помыслию я о Боге ... и никнет дух мой ... иль вовек отринул Господь и не станет более благоволить иль ... и сказал я: «Вот боль моя ...» ... поразмыслию о свершённом Тобой ... О, Боже! Свята стезя твоя; кто есть Бог, что велик как Бог! Ты – Бог! ... Ты вызволил дланью народ Твой – Иакова, Иосифа сынов. Видели воды, Боже, Тебя, видели воды, и взял их страх, и бездны объяла дрожь ... В пучине – пути Твои, в водах великих – стезя Твоя, и следы Твои не испытать ... как стадо, вёл Ты народ Твой – Моисея, Аарона рукой ...

Долго молчал потом Арон. Боялись шелохнуться и притаившиеся лоси. Но вот он встал и направился в глубь леса. Лосиха проводила его взглядом, полным сострадания.

У лося вздрогнули ноздри, он втянул воздух – откуда-то

несло гарью. Лосиха встала на ноги и повела головой. Следом поднялся и лось, прислонившись к ней тёплым боком. Она доверчиво потёрлась о него и только теперь со всей ясностью поняла, что отныне она навек связана с этим горделивым красавцем. Они осторожно двинулись вперёд. Их неудержимо тянуло в сторону реки.

Выйдя на высокий косогор, они увидели полыхавшее зарево пожара у реки. Вздрагивая от пробиравшего их озноба, они, не отрываясь, смотрели на далёкие всполохи пламени.

Внезапно ночную тишину прорезал надрывный рёв машин. Они увидели несущийся по асфальтовой дороге «Запорожец». Вслед мчались «Жигули», они быстро настигли шатавшийся от бешеной скорости маленький «Запорожец», обошли его сбоку и прижали к обочине. Из обеих машин выскочили волки.

Лосиха издала сдавленный клокочущий звук. Это гортанное клокотанье, только на более высокой ноте, повторил лось.

Этого оказалось достаточно, чтобы волки их заметили и дружно, как по команде устремились вверх по косогору. Обессиленные за день, лось и лосиха, повернулись друг к другу спиной и приготовились к схватке.

1984/1988

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Урок Фортепиано	9
Лес	16
Однажды Весной	37
Второй Тур	42
Очередь	50
Руки	67
Круг	84
Камень	114
Ограда	131
Кащей	142

Повести

Жрец И Жертва	161
Скрябиниана	197

Роман

Лестница К Чёрной Туче	231
------------------------	-----

Семён Гурарий – музыкант, писатель, педагог. Высшее музыкальное и литературное образование в Казани и Москве. Концертная и педагогическая деятельность в России и за рубежом.

Автор многочисленных публикаций и театральных постановок в разных странах. Инициатор и художественный руководитель фестивалей искусств и музыкальных конкурсов. Редактор литературно-художественного альманаха «Доминанта». Живёт в Мюнхене.

Simon Gourari – Musiker, Schriftsteller, Pädagoge. Studierte Klavier und Literatur in Kazan und Moskau. Konzerte und pädagogische Tätigkeit in verschiedenen Ländern. Zahlreiche Veröffentlichungen in internationalen Anthologien und Zeitschriften; gespielte Theaterstücke. Gründer und künstlerischer Leiter von Kunstfestivals und Musikwettbewerben. Chefredakteur des Almanach für Literatur und Kunst «Dominante». Lebt in München.

«Ему стало ясно, что он полжизни провёл отвернувшись от всех. Даже от близких. Стремился всегда быть незаметным, этакой деталью пространства. Волею ли обстоятельств, или по природе своей натуры. Но не из-за отсутствия любви. Её то как раз было всегда в избытке. Просто ранее только в нише своей незаметности (только там) он и мог растопляться в любовной теплоте ко всякой жизненной подробности. Теперь же своё призвание растворяться до исчезновения он воспринимал как потребность быть – многими. А если говорить начистоту – всеми, без исключения и без разбора.»

Семён Гурарий не только очень талантливый музыкант, но ещё и интереснейший литератор. Его рассказы, эссе, пьесы, выказывают недюжинный дар умелого рассказчика, мыслителя, полемиста и остроглазого свидетеля нашей жизни и её каждодневных парадоксов. Читать его увлекательно.

Родион Щедрин

„Ihm ist klar geworden, sein halbes Leben damit verbracht zu haben, sich von allem abzuwenden, wegzuschauen. Sogar von den ihm Nahestehenden. Und immer versuchte er, unbemerkt zu bleiben, nur ein Detail im Lebensraum. Gemäß seiner Natur und dem Willen der Umstände. Aber nicht aus Mangel an Liebe. Sie war im Überfluss vorhanden. In der Nische seiner Unbemertheit – und nur da – konnte er voll liebender Wärme zu jeder Lebenskleinigkeit einfach verschmelzen. Jetzt hat er seine Hingabe, bis zum Verschwinden zu verschmelzen, wie ein Bedürfnis wahrgenommen, dem Bedürfnis mehrere zu sein. Und ganz offen gesagt – ausnahmslos alle.“

Simon Gourari ist nicht nur ein sehr talentierter Musiker. Er ist auch ein interessanter Schriftsteller: Seine Essays, Erzählungen und Dramen offenbaren die hervorragende Erzählergabe eines Denkers, Polemikers und scharfsichtigen Zeugen unseres Lebens mit all seinen alltäglichen Paradoxa. Das Lesen seiner Texte fesselt.

Rodion Shchedrin